ГРАНИ

GRANI

113

1979

Verlagsort: Frankfurt/M, Juli-September

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

к литературной молодежи, к писателям и поэтам, к деятелям культуры — ко всей российской интеллигенции

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

Possev- Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»

Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее, ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек – часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть – совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову – Слову Правды.

Е.Романов
Грани № 1, 1946

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXIV **№** 113 **1979**

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Георгий БЕЛЯКОВ – **Иванова топь.** Повесть 5
Ростислав ВОГАК – **Время странствий** (двойной венок) 76
Альберт ОПУЛЬСКИЙ – **Болгарский поэт Веселин Ханчев** 95
Веселин ХАНЧЕВ – **Стихи.** Перевод с болгарского А. Опульского 100
В. АНДРЮШИН – **Стихи** 111

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Григорий РЫСКИН – **Педагогическая комедия.** Записки советского учителя 114

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Митрополит АНАСТАСИЙ – **Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви** 154

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Вадим НЕЧАЕВ – **Предисловие к статьям Б.Иванова и Е. Пазухина** 230
Борис ИВАНОВ – **Современное христианство.** Из доклада 232
Е. ПАЗУХИН – **Неохристианство** 244
Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ – **Судебная ошибка?** К 100-летию „дела Засулич" 257

О РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

П. А. СТОЛЫПИН – **Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности** 274
А. АВТОРХАНОВ – **У истоков ленинской деспотии** 290
Ек. БРЕЙТБАРТ – **О русском марксизме.** К статье А. Авторханова „У истоков ленинской деспотии" 296

БИБЛИОГРАФИЯ

И. Ефимов-Московит. Новые записки о Московии. – **Юрий Иофе.** – Исповедь соучастника. — **В.Флеров.** Дух, душа, тело. 299

Обложка работы художника Н. Мишаткина

© 1979 by Possev-Verlag
V. Gorachek K.G., Frankfurt am Main
Издательство «Посев»

Георгий БЕЛЯКОВ

Иванова топь

Повесть

О ПОВЕСТИ „ИВАНОВА ТОПЬ" И ЕЕ АВТОРЕ

Автор повести „Иванова топь" Георгий Беляков пришел к разладу с советской действительностью, будучи студентом V курса Московского литературного института им. Горького. Собственно, институт был уже за спиной: дипломная работа (в качестве которой и была представлена „Иванова топь") успешно защищена, впереди заманчиво рисовалось обещанное место литературного сотрудника в журнале „Огонек"...

Георгий Беляков распорядился собственной судьбой по-иному. В декабре 1966 года, будучи кандидатом в члены КПСС, он подал заявление о выходе из партии по убеждениям, изложив в нем все, что он думает об этой организации, о так называемом социализме, отказавшись от всякого личного участия в повсеместной партийной и государственной лжи.

Спустя три месяца Беляков был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. О нет, заявление в ЦК КПСС, хотя оно и было истинной причиной ареста, ему не инкриминировалось. Основой обвинения стала только что написанная пьеса „Круше-

---

Рукопись получена из Самиздата. – Ред.

ние". Белякова поместили во Владимирскую тюрьму, была сделана попытка психиатрической репрессии (разве не аномалия – литератор, отказывающийся от диплома и карьеры!).

В августе 1967 года Владимирский областной суд приговорил Георгия Белякова к пяти годам лагерей. „Дело", однако, выглядело настолько несостоятельно, что кассационный суд переквалифицировал обвинение со ст. 70 на только что введенную тогда ст. 190-1, определив Белякову максимальный срок по ней – три года лагерей общего режима.

После отбытия срока Георгий Беляков в государственную литературу не вернулся. В настоящее время он живет и работает в Коврове.

Повесть „Иванова топь" разделила судьбу многих талантливых книг современной русской литературы.

В свое время произведение было одобрено журналом „Новый мир". Однако, даже в ту „либеральную" пору журнал не решился его опубликовать. „Больше никуда не носите, – сказали автору в редакции. – Если где и может быть опубликована повесть, то у нас. Но сейчас и мы не напечатаем".

Представленная в качестве дипломной работы, повесть получила отличную оценку аттестационной комиссии. Однако после ареста Белякова состоялось новое заседание комиссии (под председательством Вл. Лидина), на котором работу признали „недействительной".

„Иванова топь" была арестована с автором вместе. Правда, не включена в обвинение, хотя „литературоведы" из владимирского КГБ и установили, что призыв к свержению советской власти содержится... на последней странице.

Это, конечно, неверно. В повести нет и не было никакого призыва к свержению. Однако каждый, кто прочтет это небольшое произведение, увидит, что оно не может быть напечатано в Советском Союзе.

Сюжет повести прост. Все ее действие, охватывающее по времени один день, обыденный и бестолковый день советского колхоза, вращается вокруг провалившейся в болотную топь колхозной коровы. Однако за аллегорическим образом несчастной Мильки, которую пытаются вытащить из трясины криушинские мужики (увы, безуспешно!), перед читателем невольно встает другой, высокий и трагический образ.

В этом и заключен главный „криминал" повести, который уловил даже следователь владимирского КГБ, – в сердоболии за измученную, увязшую в безвременьи Россию.

Виктор Некипелов

1978 г.

I. СТЕПАН

Милька была где-то здесь.

Степан ринулся напрямик, сквозь кустарник, в лесную темь. Негнущиеся ноги заспотыкались, заскользили. Продирался не воротя лица, оскаленными зубами хватая стегающие ветки. На мгновение останавливаясь, вслушивался, сдавливая дыхание, торопливо шаря взглядом. И нырял снова. Пока не ухнул вдруг выше колен в затаившуюся колдобину. Широкие голенища обрадованно хлебнули болотной воды.

Задохнувшись, застонав, сдерживая отчаянные слезы, выбрался на сухое место, припал к дереву. Больше не мог.

Корова опять, словно из-под земли, подала голос. Степан вскинулся – в какой стороне? Костистое лицо, заросшее редким волосом, дрогнуло в недоброй ухмылке.

– Гху-у-у! – резко выдохнул он всей грудью, толкнул от себя дерево. Зачавкала, запузырилась вода. Заскользили в разбухших сапогах по осклизлой стельке пастушьи ступни. Земля под ногами пошла ходуном. Начиналась Иванова топь.

Лес шумел уже по-ночному, с прижутью. Каждый куст подымался медведем. Но Иванова топь, небольшая поляна, заросшая по краям осокой, безобидно светилась. Лишь в самой середке зияла черной лужей ненасытная пройма.

Шел слух, будто в старину стояла здесь дивная церква, и за неведомую провинность сгинула она как раз на Иванов день, провалившись с колокольней, поповским домом и кладбищем. А на месте церкви появилась пучина. Старухи до сих пор шептали, что по праздникам доносится из пучины колокольный звон.

Была и еще байка. Жил будто когда-то в Криухе дурень Иван. Ходил по избам, хлебал, где хотел, молоко и щи, зимой и летом ходил раздетый. Почитали его за блаженного. Заспорили как-то раз мужики – перейдет или не перейдет Иван гиблое место. „Бог и перенесет и перевезет, – сказали заулыбавшемуся опасливо Ивану, – ступай смело!" Но Бог Ивана не перенес, а взял будто бы к Себе за его кротость. И названивал с тех пор по праздникам Иванушка в колокола, бередил души криушинских богомолов зовущим малиновым зовом. А гиблое место так и прозвали – Иванова топь.

– Гху-у-у! – выдохнул Степан, словно выплюнул из груди всю ярость, съедавшую его нутро. Смотрел – не верил своим глазам. Из самой пучины, подняв белую голову, подрагивая вислыми ушами, глядела на него безрогая корова Милька.

Узнав пастуха, корова издала долгий звук, похожий на стон.

Пошатываясь, по-собачьи хватая воздух, Степан медленно приходил в себя. Отплевывался тугими шмотками. Смахивал горячий, едучий пот. Битых четыре ча-

са рыскал он по ухоже, искал корову. Вот куда ее занесло... Та же недобрая ухмылка загорелась вновь на ощеренном лице пастуха. Медленно, нарочито медленно принялся он раскручивать обернутый несколько раз через плечо, прижатый культышкой бывшей левой руки к телу кожаный кнут. Распустив, широко ставя ноги, пошел по качающейся трясине. Ременное тело кнута, шипя по осоке, вытянулось в одну линию. Дальше идти было опасно. Прощупав ногой податливый, словно пуховый матрас, торфяной настил, Степан все же на свой риск сделал еще несколько опасных шагов к полынье.

– Гху-у-у! – снова вытолкнул он из груди воздух и, отведя назад правую руку, хищно пригнувшись, с силой метнул кнут вперед. Тоненькая змеиная головка, увязанная каменными узлами, со свистом полетела в корову.

– Н-на-а-а, сука! – взвизгнул он пронзительно, обжигая горло, не узнавая своего голоса.

Корова вскинула голову, запрокинула ее себе за спину. Бессильно задергалась.

Кнут не доставал. Не спуская с коровы глаз, Степан продвинулся немного вперед. В протертые голенища свежей струей стрельнула вода. Уперся в кочку. Другую ногу укрепил на торчащей коряжине. Вывертывая из ключиц руку, размахнулся. Левая рука, обрезанная выше локтя, тоже откинулась.

– Нны-а!

Свистящий кончик тупо чмокнул. Корова хрипло взревела. Кнут взвился снова. Пригнув к воде голову, выставив шишковатую маковку, корова в страхе жмурила глаза, ждала удара.

Коряжина тихо хрустнула, Степан повалился было на спину, вьюном извернулся и, выкинув руку с зажатым в кулаке кнутовищем, уперся в грязь. Левая, как обрубленное крыло, стараясь помочь, бессильно билась, хлопая по ребрам.

Степан выполз на четвереньках из трясины, навалил-

ся спиной на ивовый куст. Под сердцем неутекающей лужей стоял холодок пережитого страха.

– Ну дак... чего мне теперь делать с тобой, а? – задыхаясь и обливаясь потом, выговорил Степан, глядя на болото и почти уже не видя белого пятна. – Нашла, значит, поторочину... Ну и ладно. Туды-т тебе и дорога...

Корова несмело ответила.

Степан комом вывалил на грудь папиросы, как умирающий начал глотать едкий дым. Над головой – серая хмарь. Ни звездинки... Обидчиво скуля, наседали комары, наспех ядовито жалили. Степан лениво отмахивался.

Накурившись, с трудом поднялся с куста. С непереломленной злобой шлепал он по краю болота, из мати на мать ругая корову, высматривая – откуда же поудобнее будет к ней подойти.

Услышав, что человек уходит, Милька отчаянно забилась грузным, связанным телом, протяжно взмыкивая, упрашивая человека остаться. Долго слушала чавканье под его ногами, треск сучьев. В ответ человек грозно кричал. Голос у него был такой же злой, такой же резкий, каким он обычно бывал, когда Милька, взвесив боль кнута и сладость налившегося молоком овсяного поля, вытянув голову и распустив хвост, кидалась туда, где так было вкусно, где так пахло, и рвала, рвала на бегу, мотая головой, роняя слюну, торопливо пропихивая ароматные комья себе внутрь...

Сегодня Милька не замышляла ничего запретного. Прислушиваясь к голосам коров и пастуха, она лишь совсем немного отбилась от стада, шла стороной, искала в траве терпкие листья, на которые однажды здесь, в болотине, натолкнулась и до сих пор помнила их ни с чем несравнимый вяжущий вкус. Листья она не нашла, повернула к стаду, и тут случилось непонятное. Из-под самых губ с грохотом вырвалось что-то пестрое, кинулось в глаза, затрепетало на шее. Не помня се-

бя, Милька махнула через кусты, ободрала вымя, прыгнула еще раз, еще... Впереди была поляна, там было спасение. И Милька прыгнула туда. И тут кто-то неведомый крепко схватил ее за ноги. Она рванулась что было сил – и все тело ее погрузло во что-то липкое и холодное. Сколько она ни билась, как ни напрягала сильные свои ноги – ничто не помогало. Вонючая грязь держала цепко.

Августовская ночь принялась устилать болото туманом. Передвигаясь ощупью, Степан собирал валежник, таскал поближе к трясине. Но добраться до коровы – нечего было и думать. Темная жижа, лопаясь пузырями, глотала валежник, страшила молчаливой выжидающей угрозой. Надо было идти в деревню, звать народ.

Выбравшись на дорогу, Степан разбито захлопал по тверди.

Перво-наперво к Сысоичу. „Лежишь, старый хрен! С бабой возишься? Дурака, думаешь, нашел?.. Это со всей деревни подпаска не найтить? Все лето, думаешь, ишачить на тебя буду? Ни хрена-а-а! Один я корячься! И им, понимаешь, надой повысь, и им коров напитай, и им, вишь, не по нутру, что телка яловая осталась! Я виноват, коли бык на нее глядеть не желает? Степан Воробьев! Я те покажу Степана! Думаешь, сел и поехал. Ты у меня теперь за корову ответ держи! А кто будет держать? Может, Степан Воробьев? На-кось вот!"

И в темноте в воображаемую морду Сысоича Степан протянул увесистый кукиш.

Перво-наперво Степан зашел все же не к Сысоичу, а к себе домой. Нутро ныло от голода. Деревня давно спала. Электродвижок не работал, и жена зажгла коптилку. На стол подала кринку молока, высыпала из чугунка остывшую картошку. Картошка была нонешняя, почти без шкурки. Ел ее Степан с наслаждением, прихлебывая молоко прямо из кринки.

– Чо поздно-то так? – спросила жена, зевая и скребясь. Она стояла возле печки сонная, растрепанная, широкая в полотняной рубахе и безучастная ко всему.

Степан не ответил. Месил зубами сладкую картошку. Спокойно говорить не мог. Сонная жена его раздражала. Поужинав, переобулся. Намотал сухие портянки, и сразу же вчетверо стало легче.

– Уходишь? – спросила жена.

– Улетаю, тить твою мать! – крикнул Степан из сеней. В темноте отыскал топор, накинул на плечи дождевик.

Сысоичу побрякал по стеклу. Немного познабливало. Не от холода. От предстоящего разговора.

В избе было тихо. Побренькал еще. Потом слышно зашаркало. За стеклом обозначилось едва различимое обличье. Окошко отошло.

– Ну? – спросил Сысоич, будто все время ждал разговора.

– Чего „ну-то?" – сказал зло Степан.

– Нашлась? – спрашиваю.

– Нашлась...

– Нашлась, дак чего будишь?

– Нашлась да утоплая! – крикнул ему в лицо Степан.

Сысоич ударил по другой половине рамы. По пояс вылез на улицу.

– В Ивановой топи?

– В ей самой, – хмуро сказал Степан.

– Ай-яй-яй, ай-яй-яй! – застонал Сысоич. – Ай беда-то! Породистая телка-то. Яловая, а оставили себе на шею, не прирезали. Что будет? Градобоеву на глаза не попадайся. На днях как раз об ней справлялся. Купленная-то она, знаешь, за какие деньги?!

– Была еще, вроде, жива, – буркнул Степан.

– А ты не прирезал?

– Сам поди прирежь, коли такой ловкий да умный!

– В таком случае спасать надо!

— А я зачем пришел? — закричал, не сдерживаясь, Степан. — Затем к тебе и иду, чтобы спасать! Подмога нужна, а не ахи твои да вздохи! А ты хватит на печи лежать! Мужиков эвон, баб бы, сам бы, падсанов!.. Корова все-таки, животина!

Сысоич смолк. Перебирал в памяти, кого можно поднять. Понимал — в такой час никого не подымешь. Скотницы лишь час как отдоились, остальных и трогать не затевай.

— Что буде к утру, — пожал голыми плечами Сысоич. — Сам понимаешь.

— Руководитель! — крикнул ехидно Степан, гулко захлопал сапогами прочь. Снова забежал в свою избу. Долго рылся в чулане, перебирая на ощупь хламье. Потом вспомнил: финка как воткнута летом в стену, так и торчит. Захватил и мешок. Все может сгодиться.

По пути завернул в конюшню. Сторожа не было. Степан выбил подпорку, ворота разошлись. Лошади паслись в поле. Лишь старый мерин-тяжеловоз затопал в темноте ногами. Был он когда-то героем, оставил в районе рекорды, таскал больше грузовика. Но однажды тот же Сысоич отправил мерина на трелевку леса. Мужики были в угаре, с хохотом навалили в сани десятиметровые хлысты, огрели мерина кнутом, и тот, наливая кровью глаза, утопая по брюхо в снегу, попер. Один догадливый вскочил на воз. Чего зря тонуть в снегу. За ним другой, третий. Когда мерин заупрямился — вытянули через брюхо кнутом. Мерин рванулся, пошел. Но тешились мужички недолго. На взгорке мерин поскользнулся, храпя пошел взапятки и рухнул... Потом его кое-как выходили, но был он теперь худым работягой. Лишь былая слава спасла его от районного мясокомбината.

Степан вывел мерина из конюшни. Опершись сапогом о его мосластую ногу, неловко взгромоздился на широкую, как печь, спину. Едва угадывая дорогу, выехал.

Ночь была тихая, увешанная теплыми облаками. Мерин гулко бил копытами по земле. Огромные его лопатки послушно, словно механические, ходили взад-вперед. Широкий круп колыхался равномерно... С тех пор как мерина надсадили, был он послушен и неприхотлив. В его большой голове вряд ли сейчас теплилась мысль: куда в такую пору на нем едут? Мерин мог бы предположить, что его гонят в ночное, но бесстрастная поступь его не говорила о том, что ему хочется поскорее прийти в поле, опустить голову и нарвать увядающей августовской травы. Мерину было теперь все равно. Велели двигать всеми лопатками, вот он и двигал, пока не прикажут остановиться.

Болото дымилось туманом. Степана передернуло от холода. Из молочной тьмы подала голос Милька. Мерин поднял уши и чем дальше входил в болото, тем двигался осторожнее. А когда закачалась, запузырилась земля, он и вовсе стал. Степан соскочил с его теплой спины, поежился.

– Ну где ты тут, греховодница? Жива ли? – крикнул он в сторону проймы.

– Ме-е-е, – радостно крикнула корова.

Мерин стоял, высоко задрав голову, недоуменно глядя в сторону коровы. Уши его торчали, как у собаки.

– Ме-е-е, – жалобно повторила корова.

– Я те вот мекну. Эва счас финкой в горло – и делу конец.

Все так же топорща уши, мерин недоуменно глядел в темноту.

Потом его ноги задвигались. Земля взбугрилась. Заурчали лопающиеся пузыри. И лишь когда стало совсем опасно, ноги остановились. И вдруг протяжно, нежно, как подзывает к себе кобылица детеныша, мерин заржал.

Степан развертывал закатанный в мешок топор и, как был в наклонке, так и застыл. По спине рябью ки-

нулся холод. Ободрал до поджилок. Степан уронил мешок, улыбаясь и моргая повлажневшими глазами, подошел к мерину.

– Ну чего ты, дуралей, чего? Завязла глупая коровенка. Попробуй теперь вызволи.

Мерин наклонил голову, шумно, как бы о чем-то спрашивая, дохнул в лицо Степану жеваной травой.

„Эва еще защитник сыскался!" – хотел рассмеяться Степан, но осекся и промолчал. Немного сделалось жутко. „Уж не оборотень ли ты?" Болото, мокрая темь... Степан оглянулся на лес, молчаливо стоявший рядом. Потом поборол себя, рассмеялся. Взойдет ли такое в голову! Похлопал мерина по теплой спине, толкнул рукой:

– Иди, иди, покормись малость. Повыбирай травки.

И все равно глядел теперь Степан на мерина так, как ежели был бы это человек. Казалось Степану, что мерин догадался, зачем он привез на своей спине однорукого пастуха.

Степан нарубил сухостою, свалил его в кучу. Левой руки у него не было с фронта, он наловчился работать одной, и все у него получалось ладно, хотя давалось тяжелей, чем мужикам двуруким.

Костер заполыхал, пронизывая светом туман. Свет уходил вверх, рассеивался, и от этого становилось светлее и по бокам. Стало видно белолобую Мильку, засосанную топью еще больше. Глаза ее нет-нет да и вспыхнут голубыми звездами.

Исходя потом, скинув пиджак, Степан подряд стягивал опившиеся болотной водой сосенки, гибкие прутья ивы. Таскал их к огню. Левой рукой, под мышкой, крепко держал топорище. Обронишь – до утра проищешь. По-хозяйски перевязывал нарубленные колья ивовым прутом, от самого костра мостил качающуюся дорогу. Вел разговоры с Милькой:

– Комары, поди, заели, а? А ты их хвостом. Аль и хвост увяз? И хвост и нос? Во как сумела?

Было уже близко утро, когда Степан проложил, наконец, дорогу к Мильке. Спина ее почти вся ушла под воду. Голова была неестественно вздернута. Возле коровы Степан насвязывал и набросал особенно много березовых и сосновых кольев, скрепил их прутьями. Под ногами урчало, фонтанчики грязи резво прыгали вверх, но пучина, будто подавившись, больше не глотала, не просила пищи. Удивляла Степана и коровья плавучесть. „Да ты, никак, резиновая? Воздуху наглоталась, что ли? – спрашивал он корову. – Не тонет, и кончено! Аль на крыше поповского дома устроилась? Коли так, то мы живем, будем живы – не помрем!"

Опасаясь, как бы самому не угодить в пучину, Степан подобрался к коровьей морде, присел на корточки. Корова заглядывала ему в глаза, выведывала, что будет дальше.

– Горе ты горькое, – вздохнул Степан, нащупал в кармане кусок хлеба, припасенный себе на утро, разломил пополам и по очереди отдал корове. Корова смахивала хлеб длинным языком. Ждала не хлеба – просила помощи.

– Ну да чё мне с тобой делать-то, а?

Степан потрогал наборную ручку ножа, выглядывавшую из-за голенища. Обернулся. На берегу, освещенный костром, топтался мерин. Глядел на Степана. „Ну и дьявол!" Степан рассмеялся. Долго удивленно качал головой. Хмыкал. Снова поглядывал на мерина... Над коровой стоял монотонный комариный писк. Корова мотала мордой, дрожала всей кожей – не помогало. Тогда Степан намотал веток, стал сильно стегать ее по шее, по спине.

– И коровенка-то ты в данный момент, можно сказать, пустяшная, вот ведь какое дело. Ну ладно бы гуллива. Была б гуллива да молоком оправдывалась – выправили бы тебе прощенье. А то и гуллива и яловая вдобавок. Бегаешь, трясешь пустым вымем – только и

всего... Ноне-то обошлась ли? Видел, терлась окол быка. Взяла, поди, свое сразу за два года, а? Хе-хе-хе-хе! Может, нарочно икономила, а? Может, сама себе на уме? Это, знаешь, как в армии бывало, на фронте. Дадут сто грамм – не пьешь, отливаешь в склянку. Дадут еще сто – опять отольешь. Дадут третий раз – у тебя уж праздник. Веселись, солдат! Так, может, и ты, а? Или другой тут счет? Проморгал – не вернешь. Жись колесиком катит под гору... Взять баб наших. Эти с умом. Работы от такой бабы не жди, зато с приплодом лишь поспевай. Эти яловые не ходят. То и дело не одна, так другая к бригадиру: „Пусти на базар". А какой тут базар – в больницу опрастываться рвутся.

Степан вернулся к костру, затолкал под брючный ремень мешок и, неловко хватаясь за лошадиную гриву, полез на могучую спину мерина.

Милька с тревогой слушала: как уходят тяжелые ноги лошади. Вот не стало слышно совсем. Холодно. Страшно. Снизу едко сосет кожу гнилая вода, щиплет вымя, кусает недвижимые, крепко схваченные ноги. Над спиной звенящей качающейся тучей висит комарье. Пей, сколько хочешь – все равно пропащая корова!

Снова послышались лошадиные шаги. Боясь, что пройдут мимо, Милька несколько раз протяжно мыкнула, позвала их к себе. Потом гукнул человечий голос. И снова Милька радостно отозвалась.

Степан спрыгнул с лошади. Следом на землю мякнулся мешок, туго набитый травой. Взвалив мешок на себя, Степан двинулся по зыбкому мосту, корячась для равновесия, откидывая в сторону обломок руки. Перед коровьей мордой вытряхнул траву из мешка. Ударило в нос молодыми гороховыми стручками, шибануло сладким овсяным духом. И встало перед коровьими глазами большое, зеленое под солнышком поле...

– Лопай, глупая, – сказал Степан, улыбаясь, и поче-

сал жесткую шерсть на лбу, на крепких замозоленных буграх, откуда должны были выйти рога, да так почему-то и не вышли. – Хрупай, коротай время. А вот уже засветлеет, придут мужики из деревни. „Зарезать, – скажи, – Сысоич, никогда не поздно. А из меня, – скажи, – может, еще настоящая корова вымахает". Как маманя! Ешь, ешь... Твое любимое кушанье. Ешь знай, чего остановилась? О чем задумалась?..

Наговорившись с коровой вдоволь, Степан набросил на спину ей мешок, а сам пошел к огню. Там на ветках, укрывшись дождевиком, он и уснул, спрятав, как птица, худое свое заросшее лицо.

На востоке быстро затевался рассвет. Ветерок потряхивал на деревьях листья, шевелил осоку. Дым от затухающего костра клонился к земле, перемешивался с туманом. Комары чередой садились на заросшую Степанову щеку, злились, путаясь в жесткой щетине, жадно тянули горячую кровь и, в мгновение захмелев, с большой неохотой отваливались, сытые улетали в лес неровным, шарахающимся летом.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Председатель колхоза, Василий Корнеевич Градобоев, чуть свет хорошо выбритый, в белой рубашке с галстуком, в сером плаще, в начищенных ботинках торопливо шел в правление колхоза. Весь этот наряд сильно его злил. С редкими встречными не здоровался – буркал. Галстук давил – хотелось его сорвать, швырнуть в канаву.

Наряд на председателе был не случаен. Вчера вечером позвонили: едет из области корреспондент. Узнав об этом, председательша решила лечь костьми, но привести мужа в надлежащий вид. Весь вчерашний вечер и все сегодняшнее утро не отходила от него ни на шаг. Все это вывело в конце концов председателя из себя.

Был он мужик крупный, деревенский, любил одеваться просто.

Председателево настроение окончательно было испорчено бригадиром Солодовым: одно другого не легче – в болотине утонула корова. Перед колхозом план, из района кричат: давай, давай... Два дня подряд Градобоев с зоотехником отбирали молодняк, решая непосильную задачу: и мяса сдать побольше, и на племя молодняк оставить покрепче. А тут – целая корова!

– И без того спим по вопросу животноводства! Как получилось? Кто виноват? – допрашивал председатель бригадира, глядя на его высоко вознесенную голову снизу вверх, чувствуя себя при этом маленьким крикуном, кусая бригадира жгуче-черными требовательными зрачками.

Федор Солодов стоял, нервно переминаясь. Был он на две головы выше Градобоева: длинноногий, долгорукий, сухопарый. Улыбка почти никогда не сходила с маленького его птичьего лица, укрепленного, как скворешня, на длинной шее. Внешность у бригадира была никудышная, дураковатая. Но ни простецкую улыбку, ни длинную шею никто в деревне словно не замечал. Федора уважали. Бригадиром он был много лет, криушинская бригада при нем ходила в передовых.

На этот раз Федор опростоволосился. Не знал толком, как утонула корова. Председателю лгал. Уверял, что помочь было нельзя. Иванова топь – она и есть Иванова топь. Года три так же вот угодил в нее теленок и – поминай, как звали.

Из проулка неожиданно вывернулся Сысоич. Завидев начальство, хотел было юркнуть в первую калитку, но Градобоев его резко окрикнул, и завфермой, растерянно улыбаясь, готовя нужные мысли, нес свое исправное личико навстречу председателю, семенил коротенькими, в резиновых сапожках, ножками.

– Что с коровой? – спросил председатель, глядя на Сысоича как-то одним глазом, искоса.

Сысоич вскинул голову и, собираясь с мыслями, значительно помолчал. Председатель, все так же глядя искоса, ждал.

– Пришлось прирезать, – вымолвил, наконец, Сысоич.

– Как так прирезать? – Председатель круто развернулся, впился в него глазами. – Кто разрешил?

Сысоич съежился. Снова вскинул голову. Эта привычка проявлялась у него лишь в разговоре с начальством. Откидывая голову, Сысоич умудрялся изображать на лице такое глубокомыслие, что любое начальство, даже областное, умолкая на полуслове, ожидало: что же такое собрался сказать колхозник? Но ничего особого колхозник не говорил. За много лет заведывания зерновым складом, птицефермой, молочной фермой Сысоич выработал привычку разговаривать с руководителями по-особому, значительно.

– Кто, спрашиваю, разрешил?

– Я разрешил... – мгновенно утратив весь свой вид, ответил Сысоич, съежившись.

– Значит, можно было спасти? – загремел председатель, перекидывая гневные катыши глаз с Сысоича на бригадира. Сысоич вскинул голову, собрался объяснить, как было, но председатель раздраженно махнул рукой, приказал написать докладную, резко отвернулся и пошел в контору. Немного помедлив, за ним отправился бригадир. Сысоич, оставшись на дороге один, вольготно поморгал глазами, внимательно посмотрел в спину председателя, хотел о чем-то поразмыслить, но быстренько расхотел и коротенькими шажками посеменил домой. Ночью, после ухода Степана, он так и не уснул. От мыслей, что великие хлопоты предстоят с утонувшей коровой, к утру сильно разболелась бедренная кость, расколотая немецкой пулей. Сысоич чуть свет побывал на ферме, сказал, чтоб доили без него.

Собирался полежать на печке, погреть ногу, но после встречи с председателем лежать было некогда. Живую ли, мертвую, а тащить корову надо.

К девяти часам Василий Корнеевич сидел за своим столом. За это время успел побывать в жарковской и смолинской бригадах. С Федором Солодовым и агрономом Гусевым смотрели рожь, шелушили колос. Решили: еще день-два и – с Богом – жать...

На стульях вдоль стен сидят несколько человек. С жалобами, с крестьянскими своими нуждами.

Зажурчал телефон.

– Василий Корнеич, приветствую! – неестественно веселым голосом кричал инструктор райкома Сомов. – Как на сегодня с молочком? Даешь понемногу?

– Коровы дают. Я только за титьки дергаю.

Инструктор захохотал.

– Гляди, Корнеич, не подведи. На тебя других равняем. Так что жми в том же духе. Да... ведь у тебя гость сегодня. Уже знаешь? Жаль, а я хотел удивить. Парень вроде ничего. Я тебя изобразил как одного из наших... Тебя, конечно, больше некого.

Председатель на одном конце провода, инструктор – на другом положили телефонные трубки. Наморщившись, председатель смотрел на телефон, как на своего врага.

Инструктор довольный, усмехаясь, подошел к окну. Корреспондент – здоровенный парень, увешанный фотоаппаратурой, стоял возле газика. Несмотря на молодость, лет тридцать, не более, был он полным, толстым даже. Мясистое румяное лицо, мягкие руки. На круглом девичьем лице – веселые глаза. Улыбка расплывчатая, доброжелательная. Внешне – ничего опасного. Но именно эта простоватость и нравилась больше всего Сомову. Он был уверен, что, побывав в колхозе, насмотревшись, назаписывав, корреспондент уедет домой, а там из овечьей шкуры вывернется таким волчугой, что у Градобоева шапка на голове подскочит.

Вошла машинистка. Положила на стол кипу газет.

Сомов уселся за стол, радостно почесал безволосую маковку. Материалы Евгения Капусткина стояли на самых видных местах, под жирными, броскими шапками: „Учись руководить по-новому", „Копейка – рубль бережет", „День упустишь – в год не наверстаешь".

Потирая руки, инструктор принялся читать. Не жалел, что в правильном направлении поднакачал корреспондента. Намекнул, между прочим, что Градобоев – мужик себе на уме. Что хоть и слывет хорошим руководителем, многое в его поступках очень и очень сомнительно и требует внимательного критического взгляда... Сомов умолчал о том, что на последнем пленарном заседании между первым секретарем и Градобоевым произошла неприятная стычка, что Градобоев демонстративно хлопнул дверью. И даже стула не поднял. Уронил и не изволил поднять... Умолчал инструктор и о том, что когда решался вопрос, куда поехать корреспонденту, у него был разговор с „первым". Бархатным голосом телефонная трубка сказала: „Я думаю, неплохо бы послать товарища к Василию Корнеичу. Пусть походит, посмотрит. Сделает выводы. А вы вкратце ознакомьте товарища корреспондента". В словах „первого" прозрачно звучала недоговоренность. И Сомов хорошо понимал ее смысл.

Правда, Сомову казалось несколько странным, что секретарь ставит под удар именно Градобоева. Строптивый председатель – как ни кинь – гордость района, по молоку из года в год впереди, в отчетах района – лучший козырь, и ставить его под удар вряд ли стоило. Хотя был и другой вариант: корреспондент мог еще выше вознести Градобоева. Кто же тогда выигрывал? Ах, сложно... Многого и Сомов не знал. Не знал, что „первому" тоже был звонок из области. Голосом, в котором явственно рокотали волевые нотки, „первому" было велено пользы ради отдать один из лучших колхозов корреспонденту, который в хорошем якобы

хозяйстве найдет массу прорех и тем самым обнажит в ярком свете тьму неиспользованных возможностей, укажет путь роста колхоза.

Градобоев сдернул галстук, скомкал его, сунул в карман. Дышать стало легче. Взглянул на колхозников, кивнул с суровой улыбкой:

– Начинай с этой стенки!

Чернобровая, краснолицая женщина затараторила. Заявление было такое: „Прошу дать мне воз соломы, так как надо мне покрыть крышу. Убедительно прошу не отказать". В устной речи повела издалека. Рассказала, как три года назад дед Василий сломал ногу. Что ногу лечили в городе. Что дед сначала жил у сестры, потом переехал к брату Михаилу в Иваньково, а с нонешнего года живет у нее, в Криуше.

Из рассказа колхозницы председатель уловил одно – дед покроет крышу. Косо написал на заявлении: „Разрешаю". Соломы осталось в скирдах много. Жалеть было нечего.

В дверь просунул голову заведующий молочной фермой Сысоич.

– Что у тебя? – спросил председатель.

Сысоич проплюснил мелкими шажками к столу, вскинул голову, но председатель нетерпеливо кивнул Федору Солодову, тот вскочил, взял Сысоича под руку, повел из кабинета. Сысоич несколько раз обиженно оглянулся. Градобоев, нахмурив брови, слушал уже другую женщину.

3. ГЕНКА

Тремя часами раньше происходило следующее.

Дойка заканчивалась. Опростанные коровы бродили по загону, взмыкивая, просились скорей в ухожу. Большие коровьи животы требовали травы, травы.

Степан только что вернулся с болота, поставил в ко-

нюшню мерина и теперь злой, мрачный, стоял у выгона, не зная, что делать: то ли гнать стадо, то ли побежать к Сысоичу, отматерить, а может, и доскочить до правления, до самого Градобоева. За ночь он осунулся, постарел. Сапоги, брюки, пиджак – все было в болотной грязи. Грязь лежала даже на серой щетине, но умыться пастуху не приходило в голову. Было не до того.

– Не прислал, чёрт низкозадый, людей. Уж я те дам! Мое дело известить. А там – как хошь.

Степан зашел на двор, где доярки додаивали коров. Завел разговор о Мильке. Бабы заахали, засочувствовали. Но ни одна в болото идти не хотела.

– У нас делов и без иё по горло. Мужиков слаживай. Мужики в конторе, мужики в бригадирах. А кто на работе – онне бабы!

– Нам бы хоть все оне до одной подохли, перекрестились бы! Скока будем с ими мучаться, рученьки ломать!? Это ведь расскажи кому – не поверят. Цельный день на работе. Встанешь ни свет, ни заря, и ложишься – тёмно...

– Зови эвон председателя. Загривок эвон какой отъел. Идет, этта, по улице, шея красная, как у борова, хоть от иё прикуривай.

Степан плюнул, злобно выматерился, вышел на воздух. Сзади, в спину, летела хлесткая бабья ругань.

Солнце вывернулось из-за леса. Пора гнаться. И без того припозднились... Не терял Степан надежду на Сысоича. Верил: бегает старик по деревне, тормошит народ.

В прогоне стоял Генка-студент. В резиновых сапогах, в рваной телогрейке, с котомкой через плечо. Ни дать, ни взять – подпасок.

– Дядь Степ, я к тебе. Сысоич снарядил.

– Но-о? – просиял Степан. – Ай да студент. Ну и молодчага!

Генка два года назад окончил восьмилетку, каждое

лето поступал в техникум, на первом же экзамене заваливался, вертался в деревню, но нигде не работал, хлынял по деревне, уверяя, что вот, мол, из города придет вызов и он поедет учиться. Второй год звали Генку студентом.

– Сысоич-то дома, поди? – спросил Степан, вспомнив, что Генка приходится Сысоичу свояком. – Дано заданье мужиков собрать, а по сию пору никого не видно. Где он пропадает?

– Раненая кость у него заныла.

– Я ему покажу кость! – побелел от злости Степан. – Кость заныла! Кот старый! А коровенка ни в чем не повинная подыхай? А ну выгоняй коров, я пойду накостыляю ему!

Студенческая Генкина голова мигом сработала:

– Может, я сбегаю, дядь Степ? Жива корова-то? Чего сказать-то надо?

– А то и скажи: мол, рука у пастуха не поднялась на корову. Пусть народ созывает. Проходину я там устлал. Человек пять управятся. Топоры да веревки пусть захватят. Беги, а я погонюсь. Солнце-то, гляди-ка... Да заскочи к нам, скажи бабе – котомку пусть сладит, поись чего-нибудь.

Генка побежал. Сказал Степановой бабе, чтоб приготовила котомку. Передал Степановы слова Сысоичу. Тот слезал с печки, кряхтел. Боялся старик, что грех падет на его голову. А ну да как не спишут корову, да заставят его, завфермой, расплачиваться. По дороге думал: „Нажалюсь на бригадира, евонный народ, не мой. Кто меня станет слушать...” Самые лучшие слова подобрал, запомнил в ладном порядке. Убедительно выходило – виноват Федор Солодов.

Не хотелось Генке коров пасти, комарье кормить. Медленно, как уж медленнее нельзя, нога за ногу плелся он мимо просыпающихся изб. В голове звон, как в радиоприемнике. Не выспался. Чего там – часа три подремал. Всю ночь гулял с Галинкой Викуловой.

Глуповатая, озорная улыбка наплыла вдруг на Генкино непроспавшееся лицо. А ноги сами уже заворачивали, сами вели в прогончик. Раздвинул Генка частокол, протиснулся и оказался посреди росистой картофельной тины. Пригнулся. Совсем рядом – бревенчатая сараюшка. Пахнет из сарая душистым пойменным сеном. Но не это влечет сейчас к нему Генкину душу. Подобрался к сараю, к дощатой стене припал ухом. Тихо. Неужели Галинка в избу ушла? Вчера говорила, мол, до самого Покрова в сарае спать буду... Подергал. Закрыто изнутри. Крючок хлябает. Генка поискал взглядом, нашел длинную щепку. Просунул, поводил взад-вперед. Крючок соскочил, дощатая дверь сама отворилась. Генка юркнул в сарай, захлопнул дверь. Привык к темноте. В марлевом пологе, растрепавшись, позакинув голову, спала Галинка. С остановившимся, а потом вдруг забарабанившим сердцем Генка смотрел на девчонку, такую сейчас беззащитную, близкую...

Не зная, как быть, пощекотал соломиной острую коленку, высунувшуюся из-под одеяла. Коленка спряталась. Генка скинул телогрейку, присел сбочка на кровать. Наклонился над Галинкиным посапывающим лицом.

– Га-аль... Галина! – шепнул ей в самое ухо, и губами проскользил по щеке до приоткрытых губ.

Галинка сонно прочмокала, снова задышала ровно, спокойно. Деревенея от решимости, Генка откинул с ее груди одеяло, прижался щекой к ее щеке, грудью – к груди. Она открыла глаза, тихо ахнув, уперлась руками Генке в лицо. Потом проснулась совсем, взвизгнув, скрылась под одеяло.

– Ну чего ты? Чего испугалась? Это же я, Генка, – зашептал Генка сквозь одеяло.

– Как ты сюда попал? – проговорила она удивленно и вместе с тем уже без испуга, насмешливо.

– Знаю как.

– Ты что, не спал, что ли?

– Поспал немного. Сысоич не дал. Иди, говорит, практикуйся в ухоже с коровами.

– Так тебе и надо, – рассмеялась Галинка.

Генка тоже захохотал, потащил с нее одеяло, но стащил только с головы, и хоть мог сдернуть все, не решился. Сердце и без того гулко молотило в груди.

– Лучше не пытайся, Геночка, – сказала Галинка строго, но не смогла удержать на лице строгость, из глаз улыбка кинулась по щекам... Галинка спохватилась, но поздно. Ладонями закрыла свое лицо.

Генка и не хотел пытаться. Но увидев улыбку, весь осветился сам. Властно выговорил:

– А вот и попытаюсь!

Он отодрал от ее лица ладошки, засмеялся, увидев ее ожидающие глаза, и, будто падая в пропасть – решился. Ткнулся в губы, в щеку, зарылся лицом в волосы. Она обхватила его шею, прижала обеими руками, не давая подняться. Генка с трудом вырвался, скинул сапоги, в брюках влез под одеяло. Обжигая руки о ее горячее тело, стал раздеваться, путаясь, боясь отпустить ее от себя.

– Генушка... миленький... прошу тебя!..

Генка властно дернул ее к себе. Над головой что-то треснуло. Полог повалился, паутиной сел на лица.

– Что ты наделал! Слышишь? Прекрати! Слышишь, Генка!

Она вырвалась из его рук, забилась в угол, потащила на себя одеяло. Генка одеяло не давал, боясь открыться.

– Балда! Думаешь своей башкой, что делаешь?

– Что я делаю? – вымученным голосом произнес Генка, приподнимая над собой прозрачное полотнище.

– Что, что! Не видишь, что ли, – полог. Мне же влетит от мамки.

Генка приподнял полог, увидел Галинку в углу, у своих ног, кутающуюся в одеяло, и вдруг захохотал.

– Нет, нет... Ха-ха-ха-ха! Ну до чего же вы, бабы, ду-

ры! От мамки влетит... за полог! Только и всего? Полог... А за себя ты не испугалась?

– Да тише ты, балда, услышат... – Она пробралась вдоль стены, легла на подушку, прижала одеяло к груди.

– Не бойся, – сказал Генка, – а то и вправду влетит тебе от мамки.

Она отняла руки, легла поближе.

– Кроме того, уеду я скоро. – Генка привстал, отбросил с себя и с нее полог. Сквозь щели сарая лилось алыми полосами солнце.

– Куда, Гена?

– Куда-нибудь. На стройку, например.

– Оставался бы здесь, Гена, – сказала она робко.

– Не-е, – хмыкнул Генка, – чего я здесь позабыл?

Галинка глубоко вздохнула, будто хотела что-то сказать, и не решилась.

– В Сибирь, пожалуй, махну.

– Тебе семнадцать-то есть ли?

– Будет скоро... Ничего, на стройку и моложе возьмут. Руки везде нужны.

– А как же Криуша? Все уедут – что будет? – Галинка поднялась на локоть. Поправила волосы, любовно взглянула на обиженное Генкино лицо. Красивый был парень Генка. Губы плотно сжаты. Глаза строгие. На щеках алый огонь. А в уголках красивых губ мужественные ямки.

– Все уедут. Кто-нибудь да останется... В деревню хорошо приезжать в отпуск. А жить культурному человеку здесь невозможно. С ума сойдешь.

Галинка заливисто засмеялась:

– Ой, не могу!.. Это ты-то культурный? Развалился на кровати в штанищах. Уходи давай!

Генка насупился.

– Пока, может, не культурный. А потом, погоди, буду... Выучусь, приеду в гости, увижу тебя, скажу:

„Здравствуй, передовая доярка! Видел твой портрет в газете. А на груди орден".

– Дурак!

– Ты зато умнее!

Галинка обидчиво задышала.

– В доярки вовсе не собираюсь.

– Кто же будет коров доить? Старухи скоро поумирают. Вот тебе и придется.

– Ну и пускай...

Всем своим ничтожно малым опытом любовным понимал Генка, как на глазах, прямо из рук, уходит Галинка. Сказать бы теперь что-нибудь смешное. Чтоб все стало проще. Но смех упорно не садился на Генкин язык.

– Будешь здесь сидеть – вот и придется доить. Кто же будет?

И, потянувшись к Галинке, неловко ткнулся ей в щеку, страдальчески зашептал:

– Галь, слышь, давай... давай махнем вместе! Соберем вещи, совсем немного, чтоб не хватились и – на поезд. До города на товарняке. А там – на пригородной электричке опять бесплатно. Я ездил...

– Мне нельзя, – сказала Галинка, равнодушно отстраняясь от Генкиного лица, – мамка у меня хворая. Кто за хозяйством смотреть будет? Я, видать, и вправду доярхой стану... Приедешь в отпуск, встретишь и не узнаешь. Маленькая, толстенькая, как Верка Воробьева. А руки, как у мужика...

Голос ее задрожал. Генка тяжело вздохнул, поправил под одеялом брюки. Скинул одеяло совсем. Лежал отдыхая. Был зол неизвестно на кого.

– Вот и поедем. Будешь здесь слезы лить.

– Не уезжай, Гена... – В голосе ее была растапливающая сердце жалобная нотка. Но Генка уже заледенел. И он имел право на обиду. К тому же вспомнил о деле. Степан, поди, икру мечет, убегался в одиночку... Но уходить никак не хотелось. Обида таким больным ко-

мом уперлась в горло, что он и сам почувствовал желание захныкать. Собравшись с решимостью, мало веря в успех, Генка кинулся к Галинке, зашептал: „Галь, Галина...", но она будто ждала – больно торкнула кулаком в грудь, и он, словно удовлетворившись ее ударом, осекся, лег на подушку.

– Пойду, – сказал он через некоторое время и посмотрел на Галинку. Глаза у нее были совсем чужие.

– Иди, Гена, – сказала она спокойно. И Генка в который раз подивился тому, как женщины умеют быстро меняться.

Он полежал еще немного, для достоинства, и встал. Неторопливо обулся. Натянул рваную телогрейку. Стыдно было. Только комок еще туже подпер горло.

Генка вышел и, жмурясь от плавящегося солнца, севшего на крышу Викуловой избы, не спеша, не прячась, зашагал через весь огород. И не через частокол пролез, а прошагал двором, мимо Викуловых окошек, через калитку. И даже вертушку не забыл повернуть: что хотят, то и пусть думают.

4. ОБЕД

В бригадировом доме собирались обедать. Ждали отца. За столом, и вообще по хозяйству, верховодила *сама* – юркая, расторопная бабенка, о каких шутят: отыми у нее работу, гребенку закинет и начнет по всей избе шарить...

Федор звал жену ласково – Лизоня, хотя и не слышал от нее со дня свадьбы ровно сказанного слова. Зато порядок в избе держался только на ней. Отца ребятня не боялась. И не будь сейчас матери за столом, давно бы вертелась, убывая, буханка хлеба, звякали ложки. При Лизоне сидели смирно. Тоскующе ждали.

Федор пришел возбужденный, задумчивый. Долго, будто забывшись, чиркал умывальником, сгибая под

лоханью непомерно длинную спину с проступившими сквозь рубаху сухими позвонками.

Васька, Нюшка и Колька и сама Лизоня сидели за столом перед большим блюдом деревенской окрошки. Ребятня мечтала об одном: натолочься и до вечера удрать из дому.

Наконец, Федор утерся, маяча длинной фигурой, прошел к столу, сложился как бы вдвое, сел на отдельный стул со спинкой. Стул был батькин. У ребятишек – лавка. У Лизони – табуретка. На ней легче поворачиваться к печке.

Васька, Нюшка и Колька, как по команде, заныряли ложками в блюдо. В мутном домашнем квасе с толчеными луковыми перьями и толченой картошкой плавали ломтики свежего огурца. За ними и началась охота, лето выдалось холодное, огурцы только начали созревать. Пять ртов усердно заработали. Застучали ложки о край блюда. Задвигались руки по давно выверенной линии: блюдо – рот.

Старшему, Ваське, было десять. Остальные – на полтора-два года моложе. Самое горькое было то, что даже Нюшка пошла в отца: и костью, и характером. Не говоря уж о мужиках. Эти – вылитые. Долгоруки, тонкошеи, доверчивы. Федорово отродье.

За столом шел обычный отрывчатый разговор.

– В Смолине был? – спросила Лизоня.

Федор кивнул.

– Тоже доярок опрашивал?

Федор снова кивнул.

– Чудно́й какой-то. Скока ему лет? Зад, как у хорошей бабы.

Федор лишь усмехнулся. Желваки на усталом, пересушенном ветром его лице усердно двигались. Речь шла о корреспонденте, о котором знала уже вся деревня.

– В Жарки поедете? – допытывалась жена.

– Угу.

— А чего долго не приходил? Машина уж с час как приехала. Мы сидим за столом, ждем...

Федор прожевал.

— Всю деревню оббегал. Корову-то надо тащить. Степан подпаска из болота прислал: жива покуда. Будто, говорит, стоит на чем-то: ни вылазит, ни тонет. А тут еще этот газетчик. Председатель пригрозил — молчать...

— Нашел кого?

Федор крутнул головой.

— У Васьки Авдеева был?

— В РТС уехал.

— А Серега Баклушин?

— Серегу нельзя. Скотный двор кроет.

— Кроет... — засмеялась Лизоня. — У меня спроси, как он кроет.

— К завтрему Градобоев велел кончить.

— Плевал он на твоего Градобоева. С утра уж налопавшись. На сене валяется твой Серега. Да такого лодыря и не сыщешь. Я, говорит, ованец получил, могу и выпить. Мы ему: да ты бы вечером. А я, говорит, вечером еще поспею.

Во время разговора ребятня молча таскала целехонькие, с краями, ложки, стараясь не укапывать по столу дорогу от себя к блюду. Когда заговорили о Сереге, самый младший, Колька, весь белый, обгоревший и облупившийся на ветру и солнце, собираясь что-то сказать веселое отцу, забылся и опрокинул ложку себе на колени.

— Эва как мызну, полоротый! — замахнулась мать. Колька съежился, но улыбаться не перестал. Улыбка у него была отцовская, простодушная.

— Папка, а дядя Серега когда вот... на крышу залез, а Васька наш как подбежит... да лестницу как пихнет, она и повалилась.

Тут он не сдержал рвущегося смеха и затрясся.

— Ешь! — крикнула мать. — Отдельно наливать не стану!

Васька, подстриженный ежиком, тоже белесый и особенно верно вышедший в отца, вел себя сдержанно. Побаивался, как бы отец не заругал за такое баловство. Но отец был занят думами.

Нюшка, нескладная, долгошеяя, с бледным болезненным личиком, с тонкими косицами за спиной, с тонкими, как мутовки, руками, старалась усерднее всех. Дорога от нее к блюду была самая широкая.

Блюдо старательно вычерпали. Когда на дне осталось совсем немного квасу и осевшей картошки, блюдо принялись по очереди склонять каждый на себя. Остальные, пока склонял один, ждали очереди.

Нельзя сказать, чтобы бригадирова семья жила так уж впроголодь. Держали они трех овец. В загородке хрюкал поросенок. Само собой – корова. Так что зиму жили с мясом, молока наотвал. Другое дело, что, несмотря на криушинскую поговорку, мол, молочко да курочка – состряпает и дурочка, Лизоня, как, впрочем, и все население деревни, по какой-то врожденной косности не заботилась ни о вкусе, ни о разнообразии пищи. Суп или щи – мутные, с напрыгавшими в чугун угольками, с пеленой серой золы. Вкуса никто не спрашивал. Было бы подано на стол. На второе, как правило, толченая картошка на молоке. Называют картошку „яишницей", варят ее в горшке или на сковороде. Для виду толкут в нее яичко.

Лизоня подала картошку. Зажарившаяся сверху, она и вправду была похожа на яичницу. Перед каждым едоком поставила по стакану молока. Федор ножом разделил „яишницу" на пять равных частей. Запивая молоком, принялись.

– К Володьке Сизову зашел бы...

– Был. Отказался. Мне, говорит, некогда.

– Чего ему, кобелю поганому, некогда? За бабами бегать находит время. Эва Палашку Фокину замучил. Проходу не дает. Та, бедная, под коровой сидит, мает-

ся, а он, кобелина, рядом толчется... Ты бы посуровее с ним. Мол, корова, общественное.

– Чего ему общественное? Волка что ни корми, – все в лес смотрит. Так и Сизов. Год как из армии, а для колхоза делины не сделал. Счас опять в леспромхоз наладил. Дело к осени. Сбирает пока ягоды да грибы. А к зиме – в бригаду, лес валить.

– Кого же еще? – задумчиво сказала Лизоня.

– Кого? Я вот пойду. Сысоич, Степан, Генка-подпасок. Боле некого. Баб, что ли? Перетопнут – потом не ответишь.

– Бабы не пойдут. Эвон забирай Градобоева да этого, что приехал. Пусть вот и насфотографировает, как общественной скотине живется. Это надо – цельную ночь в болоте. Да и еще полдня. У ней уж весь низ, поди, опрел. А может, и вовсе утопла.

– Нека... – сказала Нюшка, отрываясь от молока.

– Чего „нека"? – спросила мать.

– Не утопла еще.

– Откуда ты знаешь? – насторожилась мать.

Нюшка взглянула на братьев.

– А мы туда бегали.

Федор приостановил челюсти.

– Все трое? – спросила мать спокойно, с улыбочкой.

– Все...

– И Колька? И ты?

– Все... – пролепетала Нюшка, с ужасом глядя на мать, лицо которой напрягалось и багровело.

Лизоня вдруг резко встала, картинно всплеснула руками и зарыдала так громко, что в соседних избах в растворенные окна высунулись удивленные лица.

– А родимые-то, а ба-тюшки!.. Да и что в нашем доме творится-то! Да и что у меня за непутевые детушки-то!

Прервав причитания, Лизоня заметалась по избе. Замершие дети во все глаза следили за каждым ее движе-

нием. В любое мгновение были готовы выскочить из-за стола. Ни веревки, ни отцовского ремня под рукой не оказалось. Все было спрятано Нюшкой. Трясущаяся, с растрепанными, как подтеки смолы, волосами, Лизоня остановилась перед Федором.

– Да что это распрочерт с тобой-то, есть в нашем доме отец или нет?.. Мужик он или баба распоследняя? Евонные это дети или совсем чужие? Наплевать ему на них или еще хоть немного жалко?.. Или он так и ждет, чтобы они один за другим как щенята перетопли? Вот уж будет у него радости-то.

Федор швырнул ложку. Скользя по столу, ложка ударилась о блюдо и слетела на пол.

– Заткнись! – резанул по столу кулаком. – А вы! – длинным сухим пальцем замотал перед испуганными лицами ребятишек. Пальца не стало даже видно. – Услышу про болото – уши пообрываю!

– Да разве это отец? – взвизгнула Лизоня.

Федор выпрямился. Лицо дернулось. Ноздри раздулись. Лизоня в испуге попятилась к печке. Федор рывком схватил с лавки пиджак, сложившись вдвое, нырнул в дверь. За ним, колотя босыми пятками, вылетел Васька. Следом – Колька. Колька по-овечьи вякнул – Лизоня сумела достать его кулаком.

Не удалось выскочить только Нюшке. Лизоня сгребла ее за волосы, жилистой рукой хоботила по спине, выискивая глазами, что бы схватить.

– Отец с матерью с утра до вечера!.. ради вас, выродков, спину не разгибают... А оне!.. Вот тебе, вот! Девка называется. Куда мужики, т-туда и она! Убью-у!.. Убью-у!

Васька с Колькой, тяжело дыша, в согнутых позах, словно и им тоже было больно, стояли на улице, под окнами. Нюшки, казалось, в избе не было. Только х-хыкало что-то. Лизоня дралась будто сама с собой. Будто выколачивала матрас.

5. ЖЕНЯ КАПУСТКИН

Двое колхозников, мужчина и женщина, остановились у председателева дома. Из окон бил яркий свет. Слышался шум застолицы.

– Приезжего обмывают, – сказал мужчина.

– Угощенья, поди, цельный стол, – тоскливо сказала женщина. И оба пошли дальше.

Василий Корнеевич, пьяный, багровый, наваливаясь на стол, топорща клеенку, хрипло басил, мелькая масляными губами перед лицом Жени Капусткина.

– Ну, предположим, напишешь статью. Обругаешь Градобоева. И то, понимаешь, у него плохо, и это, понимаешь, не ладится. Одним словом, спит Градобоев по всем вопросам. Снять сукина сына!.. А дальше что? Снять Градобоева не сымут. Народ за него горой, колхознички. Сам Камаев по этой причине боится с ним вступать в единоборство. Опять, значит, Градобоев останется в председателях. Где же смысл? После твоей бы статьи да денег мне дали, чтоб я за два месяца рассчитался с колхозниками, я бы тебя, дорогой, каждый месяц телеграммой вызывал. Приезжай, мол, товарищ Капусткин, опиши наши беспорядки. Помоги на ноги встать! А-а?

Председатель, заваливаясь назад, обидно хохочет. Корреспондент Женя Капусткин жидко улыбнулся, хотел возразить, но вместо этого ткнул вилкой в свежесоленую волнушку. Вертел ее, целенькую, с бахромчатыми краешками, с маленькой ножкой, с невыцветшими еще оранжевыми кругами на шляпке. Девичье лицо Жени Капусткина пылало.

– Спим, понимаешь, по денежному вопросу! – гремел председатель. – Почему зарплату не выдаю? Банк не отпускает. Почему не отпускает? Колхоз за технику государству задолжал. Почему задолжал? Техника стоит дорого. Себя не окупает. Сезон проходила – ставь в капиталку. Одних запчастей достать – дешевле

новый трактор купить... По молоку, говоришь, мы первые? Верно. А знаешь, кто молочко наше пьет? Трактор да комбайн – вот кто. Техника пьет. На эти бы деньги завести лошадей да вернуть народ, который с колхоза убег, был бы я первым богачом. Знаю, знаю, что колесо истории не вернешь вспять. А сам рассуди: купил я трактор, уйму денег ухлопал, а он вышел в поле и стал. Кто виноват – трактор или тракторист? И тот и другой. Оба, понимаешь, спят... И трактор не руками сделан, и тракторист... хрен его знает, чем он сделан...

По правую руку от председателя сидит длинный мужик. Рот полуоткрыт, глаза веселые. Серый матерчатый пиджак на нем, клетчатая блеклая рубаха. Через весь стол хватает закуску. Все пытается что-то сказать, взмахивает по-журавлиному руками, но председатель дундит и дундит, не дает бригадиру слова вымолвить.

Стол у председателя раздвижной, овальный. Шестеро мужиков уместились да еще и баба. Черные брови ее сдвинуты. Глаза, как у председателя, такие же строгие. Мужа слушает внимательно и настороженно. Посидит минутку и – на кухню. На ходу закуску готовит. Боится – не брякнул бы лишнего.

Дом у председателя просторный. Скроен не по-деревенски, с умом. Русской печищи и нет, и есть она. Маленькая, в уголку. Она же и паровой котел для отопления, и духовка, и плита. Вдоль стен батареи, по-городскому. Дом состоит из трех комнат и кухни. Гости сидят в самой большой. В остальных комнатах стены обоями оклеены, а здесь голые. Сделано с умыслом, со вкусом. Пазы тщательно пропаклены. Бревна обтесаны гладко. Не то чтобы отшлифованы, а топориком. Умелым, мастерским, но топориком. Зарубки мелкие. Запах в избе чистый, лесной. Хорошо в председателевом доме.

– Был ты в избах? Что видел? Койка, стул, лавка... Ребятишки рваные, сопливые. Ношеное-переношеное

таскают. Бабке купят платок – разговоров у ней на два года. Рада старуха... Сеятель наш и хранитель, чудо-русский мужик. Кормилец!.. Сколько с колхозами бьемся? К лучшему или худшему дело идет? Как быть дальше? Чем Россию кормить будем? Из-за границы хлеб повезем? Это мы-то? Держава-то на полземли? Стыдно... Русский мужик с сохой да лошаденкой Европу содержал, а теперь нас полмира кормит. Стыд! По-зо-ор!

Председателев кулак бухается на стол. Бренькает посуда. Женя Капусткин подхватывает падающую бутылку.

– Василий! – жена вырастает, словно из-под земли. – Ты дашь человеку поесть?

– Что бы сделал я? – продолжает Градобоев, глазами, как щипчиками, покусывая мягкое лицо корреспондента. – Распускаю колхоз – вот что делаю! Езжай, кто куда хочет. Получай паспорта. Делайся гражданином. Никого не держу... Кто желает остаться – пиши заявление. Заново создается артель. Не бойсь, все не убегут. Десятка полтора для начала останется, и прекрасно. Чтоб костяк у меня был настоящий. Крестьяне! Жадные до работы! Мастеровые! Ты понял?.. Дальше. Бьем челом государству. Так, мол, и так. Мы, такие-сякие, Ваньки да Петьки, обращаемся к тебе за ссудой. Дай на ноги встать. С рассрочкой лет этак на пять. Что, государство не найдет денег? Знаю, знаю, что хочешь сказать. Ну так вот, дорогой товарищ, государство эти денежки найдет! Слышишь, найдет! Царь-Николай тоже руками разводил: как, мол, я наделю крестьян землей, где ее взять? А пришли товарищи большевики и нашли. Ну, о том, как они ею распорядились и что из этого вышло – разговор другой. Сейчас разговор о том, как расхлебать эту кашу... Ну так вот, о деньгах. Начнем подыхать с голоду – раскошелится и государство. А день этот недалек. Имеются уже весьма ощутимые симптомы... А где оно возьмет день-

ги – не нам размышлять. Разговор не об этом. Речь об артели. Дураков и лодырей, даже если он подал заявление, – по шапке! На кой хрен мне нужен. У меня не колхоз, у меня – сельскохозяйственное предприятие! Старикам дам землю – пусть ковыряются, сами себя кормят. А главное – переманю кого надо из города. Тракториста, механика. Головастого, чтоб дело знал... Еще нужен мне человек, чтоб разбирался в финансах, в экономике. Торговлю чтоб мог вести не хуже заморского купца, изворотливый, смекалистый, зажимистый... И такого переманю. Думаешь, не пойдет? лучших спецов увезу в деревню. Дам зарплату вдвое выше городской. Мало – втрое! Не бойся, не прогорю. За один год настоящий-то мужик, с умелинкой-то в руках, с мозгой-то в башке – в десять раз себя окупит и перекупит. И трактор у него будет ходить как надо, и погода на него научится работать. Хозяин мне нужен! И я чтоб хозяином был! На выстрел не подпущу ни одного краснобая. Хватит! Наелся ваших речей да ваших указаний. Прочь, не отрывай от дела!..

В три года выкуплюсь. Завалю государство хлебом. Крестьянину со временем настоящие хоромы отгрохаю, чтоб городским не завидовал. А годков этак через семь-восемь проложу в город дорогу. И поедет, понимаешь, мой Федор Солодов на легковушке в город, симфонию слушать...

Федор Солодов расплылся в улыбке. Доверчивые глаза смотрели куда-то вдаль. Видел, наверно, себя с ребятишками, с женой в автомобиле... Очнулся. Тряхнул головой. Заулыбался сконфуженно. Жил в Федоре деревенский большой ребенок.

– Разрисовал ты, Василь Корнеич, эх разрисовал! Твои бы слова да большому начальству в уши. А пока все у нас вчерне.

На другом конце стола – агроном, бухгалтер, секретарь парторганизации. Вся интеллигенция в сборе. Не было только Любы Гусевой, зоотехника. За нее отду-

вался муж ее, Николай Гусев, агроном. Оба молодые специалисты. В Криуше познакомились, здесь и сошлись. Градобоев молодежь привечает. Потихоньку стягивает к себе специалистов.

Из трех мужиков на том краю стола лишь один Гусев – и ходок и ездок. Остальные – войной к стульям конторским приторочены. Костыли в обнимку в углу прижались. То-то пригодятся хозяевам по пути к дому.

Все трое охотники. Двое давно отохотились. Один Гусев порох изводит. И дичи уж не стало, а нет-нет и принесет зайца или куропатку на жарево. Все трое досыта горячих председательских речей наслушались. Мимо ушей теперь пропускают. Разговор у них особый, охотничий.

– Встретились, значит, дружки-приятели, охотнички. – Толстые губы Гусева подрагивают. Серые глаза так и ныряют от лица к лицу. – Рассказывают охотнички от нечего делать байки. Один и говорит: „Был, братцы, в моей жизни один диковинный случай. Хотите верьте, хотите нет. Провалиться мне, если совру. Иду я как-то с ружьишком. Вдруг – три утки. Вскидываю ружье – хлесь! Всех трех прошил одной пулей!" Ну, покачали головами охотники. Всяко, говорят, бывает. Могло и такое быть. Могло. А почему не могло? Конечно, могло. Другой охотник рассказывает: „Послали меня, братцы, в командировку, в Сибирь. Ружье не взял. А зайцев в этой Сибири видимо-невидимо. Что делать? Думал-думал и надумал. На заячьей тропке кладу камень. На камень – махры. Бежит зайчик – что такое, чем пахнет? Дай, мол, нюхну. Нюхнул – апчхи! – да носом-то об камень. И лапки кверху... Таким макаром за одну ночь насобирал я мешок зайцев". Ну, послушали охотнички, покачали головами. Что ж, всякое бывает. Могло и такое случиться. А почему бы и нет? Могло. Доходит очередь до третьего. „Произошел, – говорит, – со мной и моими друзьями однажды диковинный случай. Собрались мы выпить. Набрали

водки, закуски. Сидим в лесочке, выпиваем. Тарыбары, то-се, глядь! Мать моя родная: водка стоит, а закуска съедена!" – Гусев захохотал. Остальные только заулыбались. – „Услышали о таком случае охотники – ушам своим не поверили. „Врешь!" – кричит один. „Врешь!" – кричит другой. „Сроду быть такого не могло и не может! – кричит третий. – Чтоб закуску съели, а водка осталась? Не верю! Не охотники это были! Не русские люди!"

И уже трое охотников, сидящих за председателевым столом, откидываясь на спинки стульев, хлопая себя по ляжкам, дружно загрохотали:

– Солгал, окаянный!

– Брешет, как сивый мерин!

– Это чтоб водка осталась? Вот уж загнул так загнул!

В доказательство того, что ни за одним русским столом водка остаться не может, было предложено выпить. Тост поддержали все. Даже председателева жена. Налила себе в граненый стакашек и ловко, единым махом, бесстрашно выпила. И лишь потом заморщилась, замахала отчаянно руками.

С каждой минутой хорошеет на душе Жени Капусткина, корреспондента областной газеты „Красная правда". Но усилием воли давит он проступающую наружу веселость. Обдумывает ответ председателю. Ни на одну минуту нельзя забывать корреспонденту, что он – представитель партийного органа, что за спиной его незримо стоит не только газета, но и нечто большее. Целая область. А может, и вся страна даже. А сама газета есть рупор народных дум.

– Земле нужен кто? Хозяин! – заново горяча себя, начинает Градобоев. – И не в том смысле, что я, мол, владелец, а ты подчиненный. А чтобы каждый: и тракторист, и животновод, и я, руководитель, в одинаковой мере чувствовали себя хозяевами земли.

Председатель улыбается, крякает. Чешет затылок. Лицо его становится приветливым.

– Эх, и ценю же я старика Толстого! Других хоть не будь. Во где голова-то! В самую суть умел заглянуть. Да в такую суть, которая и через сотню лет будет жить в человеке... Читаю, понимаешь, „Анну Каренину", дохожу до того местечка, где барин Левин решает перестроить хозяйство по-своему. Чтобы разумно крестьянин работал на земле. И ничего-то из этой затеи у барина не выходит. Он и так толкует крестьянину, и с этого боку к нему забегает. Нет, не ладится. Барин как глянет – все беспорядки как на ладони. А мужик – будто слепой. Носом его ткнешь – сделает. Не ткнешь – двадцать раз о камень споткнется, все ноги обобьет, а поднять – не поднимет... Ходит барин хмурый, не может взять в толк, почему крестьянин делает все через пень-колоду? И тут дает нам старик ответ, да какой ответище-то. Пока мужик на земле не хозяин, так и будет спотыкаться. Временный он на земле человек. А земля ничего временного не терпит. Хозяин ей нужен.

Прочитал я, дрожь кинулась по телу. Вот где спим-то, понимаешь, по всему крестьянскому вопросу. И не отстает от меня эта мысль. Левин я на свой манер. А колхозники – вроде моих крестьян. И земля им не принадлежит. Чья она – неизвестно. А и не мужичья, и не бабья. Посадили меня, велели командовать. С горячки-то, с охотки-то, с недомыслия-то вбил я себе в голову: сворочу, мол, эту гору. А гора возьми да и насядь на меня. Кряхчу, а поделать ничего не могу. Жизнь задавила. Против нее пошел...

– Василий, ну-ка довольно! Снова ты за свое. Замучил он вас, ему бы лишь собеседника. А вы меньше слушайте его, а больше закусывайте.

Женя с завистью смотрел на жену председателя. Да, с такой женой можно мечтать о чем угодно. Тыл надежный.

Воспользовавшись передышкой, Женя смело налил себе и председателю по половине рюмки. Требовался какой-то жест с его стороны. Молчать дальше было неловко.

– Ваши тревоги я понимаю, – сказал он председателю и сильно смутился. Градобоев смотрел на него в упор жестким взглядом, в глазах чуть заметно стояла ироническая усмешка.

– Земле, безусловно, нужен хозяин, – сказал Женя девичьим голосом и покраснел. Глаза председателя мешали ему жевать, двигать руками, говорить своим голосом. А самое главное – слагать мысли. Их не было. Их словно выдуло ветром.

– А ты напиши о Градобоеве, какой он есть в жизни. Возьми его с натуры и выстави для обозрения. И весь разговор мой, и все мои планы. Пусть народ посмотрит. Подумает. Может, я и есть тот самый герой современности, а? Или побоишься написать-то. Напишешь, а тебе клизьму и поставят, а?

Председатель смотрел на Женю в упор, и насмешливая ухмылка все откровеннее садилась на его губы.

Женя Капусткин широко, обезоруживающе улыбнулся. Лицо его стало идеально круглым. Насмешка с председателевых губ мгновенно соскочила. Женя знал цену своей улыбке. За ее доверчивой простотой всем виделось нечто затаенное, ловко замаскированное.

– И напишу, – сказал Женя, снова обезоруживающе улыбаясь. Как бы давая возможность председателю самому понять, что будет, если он возьмет да и напишет Градобоева таким, как он есть.

И в тот же миг Жене увиделось: Градобоев получает свежий номер газеты. „Ага-а!" – кричит он, с тайным ожиданием, обнаружив в газете статью Е. Капусткина.

Статьей заранее гордилась вся редакция областной газеты. Статья была коллективным детищем. Замысел ее рождался в муках в кабинете редактора. Затем он был обсужден советом трех лиц: редактора, зама и

секретаря. О ней шла речь на летучке. Наконец, проект статьи лег на письменный стол секретаря обкома. После индивидуальных раздумий главы области и совещаний со специалистами замысел был санкционирован. Редакция ликовала. Тема была нова и даже страшновата. Газета смело вторгалась в жизнь, шевелила нешевеленное, затрагивала неприкасаемое. Страшно даже подумать: взять один из лучших колхозов и – развенчать!

Писать доверили Евгению Капусткину, влившему свою свежую кровь два года назад в кровь коллектива и обратившего на свое злободневное перо внимание вышестоящих товарищей. Женя пылал. Собираясь в дорогу, он уже заносил возможные реплики в блокнот, он уже видел этакого хозяйчика-председателя, наперечет знал все его хитрости. Но Женю не проведешь. Он знает, где копнуть, где невзначай спросить. Статья выливалась на бумагу сама. Интересная, острая – она открывала читателям и хлеборобам такие просторы, что по прочтении ее всем станет ясно: источник неразберихи и бесхозяйственности найден и уничтожен. Пожинай плоды, государство!

В жизни, однако, получилось не так, как мечталось. Вместо того, чтобы таить недостатки и выпячивать на передний план успехи, Градобоев, словно нарочно, будто смакуя, целый день со всех сторон бросал черные тени на свою артель „Верный путь". Это Женю обескуражило. Председатель сам открывал корреспонденту глаза, указывал, откуда идет бесхозяйственность. Из рук Жени был вырван лучший козырь. Теперь Женя не мог энергично призвать руководителей колхоза „взяться за дело, засучив рукава", „покончить с бесхозяйственностью", „полнее использовать имеющиеся резервы" и таким образом направить весь коллектив, от председателя до пастуха, на путь истины. Более того, сам Градобоев требовал от Жени ответа: как жить дальше? Чем кормить государство? Вопросы были ошеломля-

ющими. Ни Женя, ни его коллеги по газете никогда над ними по-настоящему не задумывались.

Женя видит, как председатель раздраженно отбрасывает газету прочь. „Сукин сын!" – слышится Жене. И Женя согласно кивает головой. Конечно, сукин сын. Пересказал факты, о которых председатель знает в двадцать раз лучше, да еще вдобавок призвал председателя „пока не поздно, наверстать упущенное". Сукин сын и есть!

Но Женя – это не просто окончивший два года назад факультет журналистики в Москве Евгений Капусткин (женат, имеет ребенка), Женя – человек, не принадлежащий себе. Вернее, в Жене два человека. Один может быть пьян, другой пьян быть не может... Он должен четко мыслить... нести за пьяного Женьку ответственность. Быть сторожем. Стор-ро-жить!..

– Что же делать? – вопрошает настойчиво Женя-сторож. Женька-пьяный тычет вилкой в грибок, такой малюсенький, что проглотить его нежеванным – одно неслыханное удовольствие. Женьке-пьяному наплевать на все дурацкие вопросы: „Как быть?" да „Что делать?" Он хочет жить независимо и бездумно. Главное в его жизни на данном историческом отрезке – съесть этот малюсенький грибок. Прог-лот-тить!

„Как же все-таки быть? – думает Женя. – Кто же спит – председатель или я? А если Градобоев прав? В самом деле, заходишь в избу: стол, лавка, кровать... Огромная печь. Вся утварь, накопленная крестьянином... за сколько же лет? За сорок или пятьдесят? Будем считать – за сорок. До колхозов, говорят, жили еще хуже. Как же тогда жили? Хуже некуда! Как это сказала бабка: голь перекатная. Почему перекатная? С одного на другого перекатывается, что ли? Неважно. Самое главное – голь. Так и напишу: перекатная голь!"

Голова сильно кружится. Градобоев то выплывает из тумана, то исчезает. Когда выплывает, голова его,

смачно облизываясь, гудит что-то однообразное: ду-ду-ду...

Появляется лицо редактора. Под глазами мешочки. На скулах худого лица тоже мешочки. Глаза не свои. Глаза государственного человека. Они не могут быть снисходительны или пристрастны. Их долг направлять. Газета – это вам не оберточная бумага. Это – зеркало жизни... под необходимым углом отражения. Редактор держит в бесстрастных руках листки. Под ними подпись: *„Е. Капусткин"*. Бесстрастные руки редактора мелко дрожат. В государственных глазах растерянность. Но Женя не собирается развеивать досадное недоразумение. Впервые в жизни он тверд. Он слышит, как сердце отчаянно пробарабанивает сквозь нежно-розовую толщу его упитанного тела. Сердце истошно вопит: „Женька, не выдержу!" Но Женя непоколебим. Ему трудно расслышать, что кричат бледные губы редактора, еще труднее вообразить, что отвечает он, и вообще, что у него впереди, что он намерен делать в жизни. За спиной у него нет по-солдатски подтянутой жены, жена у него такая же мягкая и упитанная, как он сам. Хилый, с истрепанными нервами ребенок.

Потом происходит совершенно ужасное. Женя не выдерживает. Женя берет из дрожащих редакторских рук злосчастные листки и предает их корзине. И вот в спокойных редакторских руках то, что всем жизненно необходимо: редактору, газете, читающему люду... А между тем Градобоев, обозвав Женю сукиным сыном, с утроенной энергией берется за дело и добивается неслыханного успеха. Эксперимент Градобоева! О нем гремит слава. Газеты захлебываются. Молчит лишь „Красная правда". Ей стыдно. Она боролась с Градобоевым. Насмерть била Женькиными словами. Она ошиблась. И надо теперь исправиться. Кто это сделает? Конечно, Женя Капусткин. С угодливой и виноватой улыбкой он предстает перед Градобоевым. Вслушивается в каждое слово. За каждое слово благодарит. И

пишет. Да, это здорово! Это – ключ к изобилию. Раньше все было плохо. Теперь все стало хорошо.

Жене становится нечем дышать. Хочется разорвать на себе рубаху. Дергает ее за воротник. Пуговица отскакивает. Катится по столу. Спрыгивает на пол. Длиннорукий бригадир ищет, шарит, как помелом, смотрит смеющимися глазами на Женю из-под стола.

Женя забывает о пуговице. Натыкается глазами на черные катыши глаз председателя. Слушает его рокот.

– Земледелец должен знать... да! Когда солдат... в атаку идет, он тоже должен знать, зачем, понимаешь, нужна ему, скажем, высота номер сто. Ув-веряю! Солдат не желает спать по этому вопросу. Да... З-земледелец и руководитель равны. Мы оба знаем, для чего пашем землю. И плата нам пополам. Нет, Градобоев, врешь! Не пополам. Ему – вдвое больше. Ты без него – ничто, пустое место. Научись ценить человеческий пот. Это наши умные головы навыдумывали: чтоб, мол, я плодотворно думал, надо мне обязательно пятьсот рублей в месяц. А работяга – звено не решающее. Ему и ста хватит.

Женя-сторож заколебался. Шагнул к Женьке-пьяному, обнял, прижал к себе и... Жени-сторожа не стало. Он целиком влился в единого Женьку Капусткина. Женька шагнул к председателю, обнял его горячую шею. Потом Женька обнял бригадира. Шея у него была тонкая, но тоже горячая. И встала внезапно перед проясненными Женькиными глазами дивная страна Расеюшка, шумящая колосьями, мычащая коровами...

6. ТОПЬ

На краю Ивановой топи костер. Возле костра трое: Степан, Сысоич и Генка. Заслоняя от огня лица, сушатся. Все трое с ног до головы в липкой жиже. Последнее усилие вытащить корову закончилось неудачей. Не по-

падая зуб на зуб, дрожит Сысоич. Он пострадал больше всех. Переусердствовал старикан. Так тянул корову, что когда сорвались руки, ухнул в омут, насилу вытащили.

Дымит одежда, исходит гнилью. Степан, осунувшийся, сгорбившийся, смотрит на огонь стеклянными глазами. Как припадочный, начинает вдруг крутить головой. Из груди рвется клокочущий звук. Мучается пастух. Когда в последний раз не удалось подвести под корову веревку, навернулись на глаза обидные от бессилия слезы, не сдержался, носком сапога саданул корове в опавшую боковину. Екнуло у коровы внутри и – ни звука. Будто понимала свою вину... Всей изболевшей грудью жалко ему корову. И оттого, что ни у кого этой жалости нет, хочется ему расплеваться: и с работой своей неблагодарной, и с домом постылым, и с колхозом несчастным.

Вертится Степан вокруг огня. То бок сушит, то перед, то зад сухоляхий обжигает от зуда. Кипит у Степана внутри. Не знает, на ком злость сорвать. На Сысоиче? Вот он рядом. На поганом народе? Дело трудное. У каждого свои заботы. Не до коровы. Опять, значит, виноватого нету. Что за жизнь разбещастная пошла – горя уйма, а виноватых нет!?

Побаивается Степан председателя, теряется под его кусачим взглядом, да делать нечего, все отчаяннее настраивает себя Степан на крутую встречу с Градобоевым. Явится – заставит сыграть подъем всей деревне. Ведь и не в корове уж дело. Крестьянский вопрос решается: есть крестьянин или его уж нету. Корова – половина крестьянской жизни. Куда ж без коровы?

– Ее бы вертолетом... – говорит Генка. – Только у нее вот рогов нету. – Он и сам не понимает – шутит или говорит всерьез. Корову ему ничуть не жаль. Зачем она ему? С самого обеда просится Генка домой. Но Степан и слушать не хочет. Пригрозил даже на ночь

оставить. Ума у него хватит. Сам подохнет около коровы и других уморит.

Недосушившись, Степан собирается. Охая и прихрамывая, за ним увязывается Сысоич. Быстро сбылись Генкины опасения: оставили его на ночь в болоте огонь в костре поддерживать.

По дороге молчали. Степан от непроходящей злости. Сысоич от обиды. Боялся, что и вправду подымет Степан деревню. Придется тогда заново толочь дорогу. „Подь, подь к Градобоеву, он те даст корову, – шепчет про себя Сысоич. – Мороки с этой коровой – сама того не стоит. Утром прибегает Генка: собирай народ, жива еще твоя корова. Туда, сюда, к председателю, к бригадиру. К мужикам, к бабам... Отмахиваются, как один. У бригадира дел по горло. Сенокос не кончен, хлеб поспевает. На Никитинском хуторе зерно потекло, место там высокое, вот и вызрело, а комбайны не отремонтированы... Тут тебе еще товарищ из области в галстуке свалился. Паратом щелкает, карандашиком пишет, внимания к себе требует. Бригадиру разорваться, что ли? Поди, гыт, Сысоич, ко всем хренам. Не видишь, без коровы запарка. А все равно не удержался, полдеревни оббегал. Да рази пойдут? Делов у каждого хоть отбавляй. Летечко..."

Сомкнулась ночь над Ивановой топью, над горячим костром. Повисла огромной птицей. Вот-вот сгребет в когти, унесет в поднебесье. Чтобы не так бояться, Генка усердно ломал валежник, натасканный к огню с вечера, подбрасывал в огонь, сушился. Ревела Генкина душа надрывным голосом, вспоминая сегодняшнее утро. Днем все в другом свете предстало. Получилось, что шляпа он деревенская. Девка сама в руки шла. Эх, Геша, Геша. А еще в город собрался! Город таких полоротых только и ждет... Целый день роем стояли в голове горячие мысли. Мир становился доступней, проще. Имей решимость – и все будет в жизни ладно... На обеде, уминая картошку со свежим огурцом, проду-

мал Генка планчик. Позовет вечером ее погулять. О колхозе да коровах вспоминать не станет. Ну их! О том, о сем поболтает. Девку надо брать шуткой. Или небылицу какую-нибудь рассказать. Сама не заметит, как обмякнет...

А Степан уже крупно шагал к председателеву дому. Сысоич незаметно отстал. Ну что ж, один так один. Издали услышал разговор. По папироскам догадался – не один Градобоев. От такого оборота Степан вдруг оробел. Причина ему показалась маленькой, никчемной. С глазу на глаз хотел пошуметь с Градобоевым. Весь жар Степанов разбежался, словно залили его холодной водой... И вместо того, чтобы налететь на председателя, Степан торопливо, боясь, что окликнут, прошагал журавлиным шагом мимо, промахал единственной рукой. А там уж и край деревни. Остановился. Собакой изгрыз трусливое свое нутро, круто поворотил назад. Смелым шагом вышел на свет. Крикнул председателя.

– К-кому я потребовался?

Градобоев, тяжело сопя, сошел с крыльца. Обдавая винным запахом, качнулся, не видя, кто перед ним.

– К тебе, председатель, с болота. Взгляни, вот, мокрехонек весь. Спасай, Василь Корнеич, колхозное добро.

Степан помялся. Не получилась у него ругань. Повысил, как мог, голос.

– Как же это у вас получается в вашем колхозе? Бригадиру не надо, завфермой не надо. Кому надо? Одному пастуху? Подохнет корова-то! Ведь животина. Живая! Помогай, Василь Корнеич! Как же так?..

Председатель поднял голову. Долго всматривался в лицо Степана.

– Ко-орова? – председатель мрачно захохотал. – Шабаш корове! Спит корова, понимаешь, по самому главному политическому вопросу – по молоку... Н-не желает догонять Америку и точка. Совсем отказалась.

Харч, говорит, не тот... И мы спим, п-понимаешь? Спим... по всем вопросам! Все спим!

Председатель, пошатнувшись, обвел вокруг рукой.

– Вижу! – оглушил себя криком Степан, рванулся прочь, удерживая единственную руку, боясь – хряснет, не спросясь, председателя.

Догнал его Федор Солодов. Повисал на Степане, дышал пьяным смрадом, орал в слепые окна:

– Да рази это народ? Человек будет сдыхать, думашь, подойдут? Сволочи! Пойдем, Степа, двое. Справимся!.. Т-ты меня прости, Степа. Думаешь, я почему напился? Почему, скажи? От стыда нажрался!

– Дай мне ружье, – сказал Степан, остановившись, цепко схватив бригадира за рубаху.

– Постой, зачем тебе?

– Дай мне, Федя, ружье!

Ввалились в спящую избу. Федор с порога заорал похабную песню. Ребятишки подняли сонные головы. Лизоня в незапахнутом халате метнулась к мужу, схватилась за ружье, отчаянно завопила:

– Отыми, Степынька, убьет!

Степан выдернул из рук Федора одностволку, схватил со стены патронтаж, быстро вышел.

Лизоня, что-то поняв, завизжала, кинулась в сени, загородила полуголым телом дорогу. Степан молча кряхтел, освобождаясь от бабы.

И зрела в нем решимость.

7. КРИУША

Черная ночь стоит над бедной моей Криушей. Лишь кое-где радующие душу огоньки. Остальные избы темны. Люди спят. Не спят тараканы. Шуршат по стенам, по пожелтевшим обоям. Особенно густо их на печке и на столе. Пробираясь в щели комода, грызут черствые буханки хлеба, купленные неделю назад в магазине.

В Криуше давно не пекут деревенский хлеб. Нет своей муки. Хлеб едят городской. Раз в неделю из районной пекарни гнедая лошадь привозит синий фургон, сладко пахнущий солодовой коркой. В тот же день деревня растаскивает хлеб по избам. Иная баба целый мешок на спине тащит. Сзади за ней – целая вереница немытых ребятишек.

Что их ждет? Станут ли они пахать и сеять? Ведь вскорости им отойдет вся эта земля с лугами, лесами и пашней. Почувствуют ли они ее своей? Вряд ли.

Ходит над Криушей горячее солнце. Чередуется день с ночью. Орут заливисто петухи. Пахнет из огорода горьковатой брюквой. Гомонят над полевыми цветами сосредоточенные пчелы. Посмотришь: летний день стоит над Криушей. Но не день это. Над Криушей висит топкая болотистая ночь. А солнечный день встал над лесом, над яблоней, над рыжей пчелой. И солнце, напрасно мучаясь чудовищными схватками, рождает свет и тепло, чтобы облить ими Криушу. Свет и тепло с благодарностью ловят пчелы, шершавые листья яблонь. И живут они так, как велело им солнце. Лишь человек не хочет быть человеком, каким быть повелел ему Бог.

8. ГАЛИНКА

Со скотного двора шли бабы. Шаркая усталыми ногами. Галдя.

Ночь стояла теплая, пасмурная. Бабьи голоса, шарканье клубком катились к деревне. Бабы умаялись. И шли они цепочкой, не в силах поспеть одна за другой, а еще больше от равнодушия, от нежелания видеть обрыдлевшие, испорченные работой тела и лица. Шли позевывая. Лениво шутили.

– О-ох, скорей бы утро да на работу.

От самого двора летел сиплый голос Ириши Мокшеевой:

– Бабка Яшиха! А, бабка Яшиха! Да погоди ты, чо-орт старый! Эво хлещет. Ноги-то уж тороплю, тороплю, а быстрины все нет. Погоди маненько.

Бабка Яшиха, шестидесятилетняя старуха, приземистая, как боченок, обернулась.

– Да чео те надо-то, орясина нескладная?

– Боится, что к ейному мужику вперед поспеешь! – крикнула самая молодая из них Любка Шипицына.

– Чео деревню-то будишь, – не останавливаясь, ответила бабка Яшиха. – Навздогонишь. Чай, помоложе меня.

Наконец, Ириша догнала, задыхаясь заговорила:

– Дедка, этта, велел спросить – к Успенью будете пиво варить аль нет? А то бы ходовик одолжили. Наш-то совсем потек. Прогнил, окаянный.

Яшиха шумно двигала толстые ноги. Была она плотна, большеголова, с добрым мясистым лицом.

– Куды без пива-то. Успенье да без пива. Надо варить, да солод еще не пророщен. И муки маловато. А так не жалко, ходовик у нас новый. Летось бондарь ходил по избам, дак сколотил. Ить до чего дожили: хлеб сеем, а хватись – и фунта муки по всей деревне не сыщешь. У тя не будет ли с полпудика, Ириша?

– Полпуда не обещаю, а фунтов десять, может, найду.

– Ну и ладно. Так и договорились.

Ноги передних баб гулко затопали по мосту. Затопали и остановились. Бабы увидели девичью фигурку, боязливо прижавшуюся к перилам.

– Аоиньки, кто это такая? – прозвенел Любкин голос. – Никак Галька Викулова. Ну-ка поворотись.

Отставшие бабы топали по мосту, подходили к передним.

– Кого это ты поджидаешь? – притворно-ласково спрашивала Любка.

– Генку, поди. Кого ей теперь дожидаться.

– Тьфу, и правда она! – остановилась бабка Яшиха. – Да ты чео, из дому выгнанная, что ли?

Подошли остальные. Окружили кольцом.

– От дожили. Скоро сопливые дети начнут по ночам гулять! Ты чего не идешь домой? Али нашкодила?

Галинка стояла перед наступающими бабами с перехваченным от страха горлом. Первый раз вышла девчонка на свидание. Никто ее не звал, решила и пошла. Не знала, как это стыдно – прокрадываться деревней. Во всех окошках, казалось, смеялись. Гляньте: девка на позор идет. И то была правда. Без приглашения, сама она шла к парню.

Днем с матерью окучивали картошку. Разгибая ломящую спину, закидывала голову в небо, хотелось ей, чтобы был Бог, чтобы увидел ее муки. День был неяркий, душный. Солнце за облаками томилось горячим мутным клубком. Хотелось ветерка. Прилетел бы, охладил бы изнывшую душу. Пить бы и пить студеный воздух, вливать бы его в грудь, как воду, утолить бы им сердце. И подумала Галинка свое. Все равно жизнь пропадает. Будь, что будет!

В Генкиной избе окна мертво чернели. Галинка набралась смелости, стукнула по окошку, и тут увидела: глядит на нее из окошка Генкина мать. Кинулась она, что было духу, по прогону, на мосту припала к перилам. И словно окаменела. Навстречу шли бабы.

– Генушку своего поджидает! – победно заорала Любка. – Ой, не могу! Дети и дети, а туда уж!

Бабы подходили, узнавали и ахали. А она стояла как неживая. Не умея ни шелохнуться, ни вымолвить полслова. Это было как во сне, когда на тебя движется поезд, ты на рельсах, и нет в тебе сил сдвинуться с места.

– Ну чео, кобылица, чео пристала к ребенку? Отодь, бесстыжая. Уйди, уйди прочь! – Бабка Яшиха плечом отодвинула Любку, наклонилась к Галинке. – Чео с тобой, доченька? Парень, сказывают, обидел?

И тут прорвалось. Все, что было стыдного – кинулось в грудь и вылилось из нее страшным душераздирающим криком. Мост дернулся, стал вертикальным... ударилась головой о что-то твердое... обрадовалась, поняв, что именно это ей и нужно: твердое, острое. Ударилась еще раз. Пока все куда-то не рухнуло.

Ее под руки привели домой. На шум в сенях выскочила мать. Косяк света упал на запрокинутое лицо дочери.

– До-чень-ка! – разводя, как крылья, длинные руки, выкрикнув единственное слово, она повалилась через порог. Ее тут же подхватили, оторвали от Галинки. Галинку уложили на кровать.

– А кровинушка-то моя роди-имая! – рвалась мать.

Бабка Яшиха широкой спиной загородила Галинку.

– Уберите ее, бабы! Не подпущайте! Воды подайте, утирку! – командовала она басовитым голосом. – А ты, Марья, не мешай, ради Бога. Успокойся. Падучая с ней случилась. Не трожь ее. Отойди! – И уже обращаясь к Галинке, ласково, с пришепетыванием: – Вот ты и дома. Лежи тихо, милая... Отойди прочь, бабы. Натворили греха. Уймите хоть Марью-то...

Бабы отошли подальше, расселись по лавкам. Отмахивались от жара, прущего из-под рубах. С испугом глядели.

Бабка Яшиха в ковшике намочила полотенце, обтерла Галинкино лицо. Расправила спутавшиеся волосы.

Марья, худая, долголицая, освободившись от бабьих рук, осторожно подошла к кровати, с застывшей маской сострадания смотрела на дочь, растирая слезы. Боясь рассерженного лица бабки Яшихи, присела в ногах у дочери на кровать.

– Чего молчите-то, бабы. Расскажите, Христа ради...

– Ошибка, Марьюшка, вышла, вот что... И не было бы ничего, кабы не ошибка. Обознались мы... Идем счас с работы, глядим – кто это на мосту к перилам

прижался. Как вроде от нас хоронится. Ну и подумалось нам сослепу, дескать, Настенька Соколкина Серегу Иванова ждет. Ну и порешили проучить: не крути хвостом, не отбивай чужого мужика. Накинулись сдуру-то, а она – вишь Галинка твоя. Ей, конечно, в обиду взошло. Да и кому не взойдет, когда понапрасну-то...

Галинка приподняла голову.

– Мама, врет она. Знали, что я!

Марья выбежала на середину избы, оскаленно, с ужасом огляделась.

– Ба-абы, за что? За что-о, ба-абы! – И зашлась долгим тоскливым воем. Повалилась на скамейку, схватилась за волосы, раскачиваясь из стороны в сторону.

Бабы умолкли. Сидели, повесив головы. Шмыгали носами.

– За хорошее поведение! – крикнула вдруг Любка.

– Замолчи! – кинулась к ней бабка Яшиха.

– А чего молчать? Чего слышу, то и говорю. Это чего получится, когда такие сопляки блядовать начнут?!

– За собой следи! – крикнула Ириша Мокшеева. – Не слушай ее, Марья!

Марья, перестав раскачиваться, поднялась. Руки над ее головой, как кривые сучья, начали угрожающе расти.

– Ба-абы, ну ба-абы! – и с кулаками Марья кинулась на Любку.

Бабка Яшиха ступила ей навстречу, сгребла в охапку, повалила на скамейку.

– Ба-абы! – выкрикивала Марья, вырываясь из железных объятий бабки Яшихи.

– Марьюшка, аоиньки, да ты-то чео? Вот малое еще дите! Да приди ты в себя, очнись маненько! Нюрка, дай хоть воды-то! Да чео вы сидите-то все, черти! Чео я, молоденькая вам? Ой, родимые, да чео происходит-то?

Марью прижали к стене, побрызгали ей в лицо водой.

– Мы чего слышим, чего видим... – начала Любка.

– Да ты заткнешься али нет! – замахнулась на нее бабка Яшиха. И обернулась к Марье. – Ты, Марьюшка, выслушай, ну тя тоже к Богу, выслушай тихо. Не воюй с нами. Мы и без того за день-то с коровами навоевались. Слушай, чео скажу... Не хотела я тебе душу бередить, потому и солгала. Зла мы твоей дочке не хотим. Девка у тебя хорошая. А что слух прошел, так это еще ничего не значит. Да сиди ты, ради Бога!.. Сбрехнули, вот и пошло. Прибегает на двор... бабы, кто прибег-то? Да кто – соседка твоя Клавия Миронова. В обед это было. Ну, мол, молодежь пошла охальная. Молоко, гыт, материно на губах не обсохло, а они уж по углам шнорят... „Да о ком ты?" – спрашиваем. А она: „Сама, гыт, видела, как Генка этот вошел крадучись в сарай, побыл, гыт, скока надо, а погодя выходит. Морда, гыт, красная, довольный... И мотню, гыт, проклятый, забыл запахнуть..."

– О-ох, смерточка, – заголосила, забилась об стену Марья.

Бабы повскакивали, обступили Марью. Трясли ее, закатившуюся в крике, задохнувшуюся, сползающую со скамейки. Никто и не заметил, как поднялась с кровати Галинка, подошла к матери, присела рядом. Марья обеими руками прижала к себе дочку.

– Не верю никому. Врут они, доченька, врут...

Галинка сняла с себя материны руки, шагнула к Любке, уперла руки в едва означившиеся бедра. Та испуганно вздернула голову, большие навыкате глаза тревожно ждали.

Галинка засмеялась неприятным, притворным смехом.

– Муж он мне будущий, поняла? Будущий. Сегодня как раз обо всем и решили. Осенью поженимся. Законно! Не то, что ты: сегодня с одним валяешься, завтра – с другим! Уходи, видеть тебя не могу!

Ногой она толкнула дверь.

– Уходи!

Любка ничуть не обиделась. Лишь заулыбалась насильно. В дверях обернулась.

– А я что говорила...

Бабы зашумели, затопали у порога. Глядели на Марью. Ждали чего-то еще. Но с Марьей от дочериных слов худо не стало. Отделившись от баб, она прошла через всю избу, села к столу, подперла голову рукой. Сказала спокойно, будто самой себе:

– Ну и с Богом, коли так решили. Чего вас держать. Теперь все едут. А я ничего, и одна перебьюсь. Перебью-юсь как-нибудь.

Вытерла слезы полотенцем, в него же и высморкалась.

– Лишь бы все по-хорошему, по сердцу, – и обратилась к бабам. – Ступайте, бабы, ступайте. Бог уж с вами...

9. СТАРИК И СТАРУХА

Женя Капусткин рубил канаты, связывающие его с прежней жизнью. Рубил окончательно, бесповоротно. Взмах! – и государственное лицо редактора, недоумевая, поехало прочь. Взмах! – и двести рублей, которые так прочно удерживали его в неровной колее жизни, отброшены в сторону. Взмах!.. Рука остановилась. Надо было отбросить семью, иначе этот опасный канатик спружинит и выдернет Женю из новой жизни в прежнюю. Рука не рубила. Перед глазами стояли расширенные глаза ребенка и жены.

– Прочь! – закричал Женя и ударил ребром ладони о что-то твердое. Руке стало больно, но ребенок с женой остались на прежнем месте. Мягкотелые, растерянные, они молили его о пощаде.

Женя рассвирепел. Еще резче ударил рукой.

– Прочь! – закричал он, топая ногами. – Не мешайте быть человеком!

Видение исчезло. Женя сузил зрачки и в темноте различил длинную жердь. Опершись о нее, он и стоял. И ладонью колотил по ней. Присмотревшись, понял, что жердь служит воротами во двор избы. Окна в избе посвечивали.

– А-а, – воскликнул Женя обрадованно, – то, что мне нужно! хочу крестьянствовать. О-прощенья жажду! В служители земли... А вы... – он погрозил пальцем в темноту, предназначая этот жест своей семье, – удерживать меня н-не сметь!

Женя перешагнул жердь, поднялся на узенькое, из трех ступенек крылечко, поблуждал в сенях, шаря скобку и, по деревенскому обычаю, не стучась, влез в избу. А влезши, не забыл просиять широким и румяным лицом.

Изба была маленькая, без перегородок. Справа – печь. Перед печью у окошка – стол. Слева от двери – кровать. Вдоль стен – лавки. На подоконнике – горшок с геранью. В углу – тусклые иконки. На голых стенах – рамки с фотокарточками, и еще больше рамок с почетными грамотами. Немало грамот и без рамок, наклеенных прямо на стену. Алеют на них флаги, золотится пшеница, по зеленым лугам гуляют упитанные коровы и свиньи. У самого потолка разбрызгивает свет лампочка, серебря кудри старику. Он сидит прямо под ней, зажав коленями желтоватую плаху. Стругает ее ножом. На коленях, на полу – мелкими и крупными перьями валяются стружки.

На кровати под выцветшим лоскутным одеялом лежит старуха. Из-под сощуренных желтых век удивленно смотрят глаза, нестарые, голубые. Руки – поверх одеяла. Вытянуты, как деревяшки. Сквозь желтую кожу продавились все до единого суставы, все до единой жилки.

Запах в избе тяжелый, щиплет глаза.

– Ну так здравствуйте! – весело сказал Женя и, стараясь не шататься, прошел к передней лавке. Вытащил дорогие сигареты, протянул старику. Старик выбрал одну, поразмял.

– Здорово, коль не шутишь, – ответил старик.

– Будь гостем! – сказала старуха еле слышно.

На старой, будто изжеванной шее сидела крупная стариковская голова в серебристых кудлах, в пушистых бровях. Под бровями, будто собаки перед дракой, сидели серые свирепые глаза. Лицо старика было на удивление чисто выбрито. Старик сунул сигарету в рот, поднял плашку, которая уже наметила определенный переход в топорище, и поднес одним концом к глазам. Сощурился – прямо ли выходит.

– Ночевать будешь? – спросила старуха, невидная отсюда из-за подушек. Видны были лишь вытянутые руки.

– Не прогоните – заночую, – ответил Женя тем же обыденным тоном, каким спросила старуха.

– У нас места хватит, – сказал старик, и глаза его рванулись из-под бровей на Женю. Но старик вовремя хлопнул веками, склонился над топорищем.

Женя еще раз оглядел избу. Пока никакого места для ночлега он не находил.

– Я, пожалуй, на печке...

Старуха за подушками тоненько засмеялась. Но руки ее не двигались – лежали мертвыми полешками.

– На печке летом не спят.

– Постель принесу, – сказал старик. – На пол ляжешь. Старуха помирает. Ей на пол нельзя.

– Да что вы! – воскликнул Женя. – Зачем кровать? И на полу прекрасно.

Плотно смыкая ступни босых ног, изображая меж колен прореху величиной со сплющенное тележное колесо, старик покатился в сени. Не закрывая дверь, пошуршал соломой, побрякал ведрами и, с трудом протискивая впереди себя полосатый матрас, набитый со-

ломой, вошел в избу, раскинул прямо на стружках посреди пола. Для ровности порастряс. Потом выдернул из-под головы старухи одну из подушек, покомкал. С печки метнулось байковое одеяло.

– Спать будешь, что барин.

Поспешность происходившего смутила Женю. Заходя в избу, он и не собирался останавливаться на ночлег. В доме председателя его ждала мягкая просторная кровать.

– Спасибо, дед. Сразу-то я не лягу, посижу немного, – сказал Женя, с силой узя зрачки, потому что наплывшая качающая волна задернула вдруг занавеской и старуху, и печь, и бабкины руки. Сузив глаза, Женя вернул себе предметы избы, уперся взглядом в склоненное лицо старика и вспомнил – старика сегодня он уже видел. Обхватив кривыми ногами бревно, тщательно выбритый, старик сердито махал посверкивающим топориком. Градобоев представил его как лучшего плотника, и Женя, не столько для дела, сколько для видимости, несколько раз щелкнул аппаратом, даже не записав фамилии плотника.

– С председателем-то, поди, поцапались? – спросил старик, показывая из-под бровей по половине свирепых зрачков.

Женя не понял. Глаза его поразили. Кроме свирепости, была в них откровенная насмешка.

– Поцапался, аль как? – переспросил старик.

– Почему поцапался. Намотались за день. Выпили немного...

– А то у него недолго. Горячий мужик. Особенно к приезжим – чуть не по нем – катись к ядреной матери!

– У нас с ним – порядок. Я людьми интересуюсь. Кто как живет. На огонек зашел к вам.

– Это надо. Интересуйся. Я те скажу, как живем – никудышно, хреново.

– Почему? – заморгал пушистыми ресницами Женя.

– Не мели, пустомеля, – сказала старуха сердито, –

чего те надо? Живем, как люди. Добренно живем-то. Это приведись по раннему-то, дак не сравнить. А тебе все худо. Чего те надо? Раньше-то, вспомни, – до пятнадцати годов без порток по деревне бегали, а первые сапоги-то к свадьбе шили. Идут, бывало, бабы в церкву, сапоги на веревочке за спиной, а на ногах-то лапти. Как в село войти – сядут, переобуются, на сапоги-то не наглядятся. Худо ли теперь житье? Эво родится вздутень, ему еще и года нет, а уж и ботинки ему куплены, и костюмчики разные. Да худо ли житье?

– Ладно, ангел небесный. Тебе бы лишь хвалить. Всю жизь живет – не нахвалится.

– Хорошо живем...

Старик не ответил. Докурил сигарету. Задавил каблуком окурок.

– Уживаетесь с председателем? – спросил Женя. – Характер-то у него не из мягких.

– Градобоев у нас – мужи-ик! Наш человек. Скока раз приезжали из района перебирать. Мы не-е, уперлись, ни с места. До него тут председателев перебывало, как у худой бабы кобелей. Один за другим колхоз-то как горох лущили. Разобидели народ. Побег кто куда. Градобоев-то, что порох, да рази нас теперь подпалишь? Поздно. Нету нам впереди просвету. Мы-то, старики, на своем огороде доживем. А уж как оно обчественное будет дальше продвигаться – никто не знает. Градобоев – и тот не знает. Наревелся он с нами. Первый год дак ревмя ревел. Сам видел слезы на ём. Иду раз ночью из Жарков. Что тако темнеет? А у меня фонарик с собой. Вижу – газик председателев. Первоначально он без шофера обходился, сам правил. Вижу, как вроде заметался кто в машине. С бабой, думаю... А в то время сердились мы на него. Зажал он нас дисциплиной. А мы к ней не привыкли. С палкой по избам бегал – вот как было... Ну, думаю, с бабой попался. Подбегаю, а он один. По карманам шарит, ищет, носовик,

как я понял, ищет. Я – хвать светом по лицу. А он весь в слезах, машет рукой, закрывается...

– Отчего же он плакал? – спросил Женя тихо, как бы боясь сорвать старика с доверчивой ноты.

– Тут заревишь. – Старик поднял глаза, повел ими вокруг, как бы предлагая Жене взглянуть самому. – Тут еще не так заревишь!

Старик плюнул на пол, в стружку. Злее, резче заработал острым ножом, с легким шорохом снимая стружку. Помолчав, начал негромко, с гордостью за председателя.

– Тут из району тоже наехал какой-то, уж к вечеру. Начал, значит, Градобоева поучать, как руководить надо. Тот заупрямился. Слово за слово, и пошло. Вылетает этот гость из председателевой избы, ровно из бани. А председатель вслед ему кричит, ногами по крыльцу топочет. Так и выкурил на ночь глядя. Не знаю, в чем не поладили, не стал расспрашивать. У меня ночевал. Пожилой уже такой, представительный... У меня часто ночуют. Свет жжем долго. Старуха хворая, спать не может. И я сижу около ей, топоришши строгаю. Лучше занятия для меня нету. Мои топоришши тут любят. Считай, деревень пятнадцать моим товаром обходятся. Мастером за это величают. И верно, с детства к этому делу приучен. Кажись, чего особенного: обтесал полено – вот тебе и топоришше. А хошь, чтоб десять лет прослужило? Чтоб мозоль не набивалась? Чтоб топор сидел мертво? Во-во... Вытешу да выскоблю, топориком-то не работать – играть станешь. Оттого мой товар и идет нарасхват. Вечером двое заходили: из Анькова бабка да парень из Мощанихи. По рублю оставили, – только сделай. Дорого беру, а все равно идут заказывать, будто у них в деревне некому вытесать. Да, по правде говоря, и работа того стоит. На иное вечера два ухлопаешь, пока сделаешь, как надо.

Старик покрутил головой, усмехнулся.

– На меня года три назад сельповская продавщица

нажалилась, бумагу в райфо послала. Мол, частный промысел. Никто в магазине топоришши не берет. А кто их станет брать? Как топором обтесаны, так и пущены в продажу... Ну вот, приезжает по ейному письму, как вот ты, молодой такой мужчина. Показывай, гыт, промысел свой. Не скрывай, гыт, ничего, мне все об тебе известно. Веду его к поленнице. Вот, мол, строительный материал. Томится он здесь, крепь набирает... Рассердился на меня. Не дури, говорит, показывай мастерскую! Вот камедь дак камедь. А у меня все в избе: и мастерская, и чего хочешь. Осмотрел он мою келью, неловко ему стало. Ладно, гыт, показывай свое мастерство, только не стесняйся. Поплевал я на ладони и взялся. Сперва руку евонную примерил. „Зачем?" – спрашивает. – „Надо". И пошел я щепу лущить. Сам себе надивился. Давненько так не старался. Старуха уж на что привычна, и та голову поднимает, знаки мне подает: не усердствуй, мол, на свою шею. А я в азарт взошел: пан или пропал! Знай гоню стружку. Смотри, мол, товарищ инспектор, как она красота деется. Она труд любит. Вот инспектор ты, а я тебя не боюсь. Сначала ты человек, а инспектор потом. Верю я в тебя, потому что красоту делаю. Как тут не верить. А сам на свое топорище дивлюсь. Шейка ладна, да уж ладная. Прям на лебедя похожа. Или, как это в сказке, – конек-горбунок. Грива на ём, спинка с выгибом, хвостик на отлете. Ну хоть на выставку отправляй. Часа четыре без продыху горблю. Гляжу, у инспектора глаза засмеялись. Ага, мол, просить станешь – не дам. У себя под иконой повешу, пусть висит самому на память. А он уж с покупкой: скока за топоришше возьмешь? Я уши, как кобель, наставил; с чистой совестью спрашивает аль с подвохом? Назови ему цену, а он из кармана бумажку: распишись, дескать, старичок, будешь налог государству за свое умение поплачивать. Подумал я, подумал – а будь, что будет. Умел сработать, умей и слово молвить. Рупь, мол, цена моя, а за такую работу

и на маленькую не грех спросить. Схватил он топоришше, покидал из руки в руку. Сразу видно – человеком когда-то был, тоже тюкал. Снова покидал. И так примерился, и эдак. „Два рубля!" – кричит. Не стал я торговаться, два дак два – забирай! Так и укатил инспектор с моим топоришшем. На прощанье снес я эти два рубля в магазин, свой еще один добавил и принес бутылку. Оммыли топоришше, чтоб дольше служило. Да-а...

– Хороший попался человек, – сказал Женя, как журналист оценивший поступок инспектора.

– Хоро-оший, – насмешливо произнес старик и, приподняв веки, зырнул на Женю страшными глазами. – Зовет этак через неделю меня к себе Градобоев. Захожу, ґлядь – а инспектор этот у председателя сидит. Я к нему, руку протягиваю. Мол, как мое изделие служит? Пожал он мне руку, а сам молчком и в глаза не смотрит. И Градобоев, вижу, злой, аж темный весь. На столе какая-то бумажка с печатью. „За скока, – спрашивает, – топорище этому товарищу продал?" Ну, я чего – сказал, как было дело. „Дак вот, дурья башка, – говорит, – будешь теперь топоришши в сельпо сдавать по тридцати копеек за штуку..." У меня в штанах жарко стало. Гляжу на его, на Василия Корнеича, а сам глазищи свои ворочаю: спасай дурака. Другой бы на моем месте обрадовался: тридцать копеек. Это какие там на прилавке лежат – за день десятка три можно вытесать. Да как ведь – тяп-ляп... А я так работать не могу. Вот ведь какая оказия... Видно, понял меня Градобоев, свернул эту бумажку, разорвал и в корзинку бросил. Инспектор аж побелел. И молчит. Ни слова сказать не может... Ну, чего теперь буде! Тут председатель на меня осырнулся. Такой-сякой, скока раз говорено – не бери денег! Для колхоза заказали – сделал. Соседи если попросят – сделай. Да деньгами не бери – водкой, аль молоком!.. Я тут и смекни. Я, мол, с этого товарища тоже водкой взял. Как он тут привскочит.

„Врешь!" – кричит. Я ему: „Сам врешь!" Ну и пошло. Председатель, спасибо ему, послушал-послушал – и ко мне: садись за стол, пиши, как было. Стал я писать. Описываю, слова вслух шепчу. Тут инспектор – хвать у меня бумагу! И тоже в лоскутья!.. Тут оба оне, как петухи. Из мати на мать. Я тихонько, тихонько и – за дверь...

Старик помолчал. Со вздохом добавил:

– Раньше в нашей Криуше через избу жил мастер. И валенцы скатать, и сапоги сшить, и печку сбить, да чего хошь, тока позови. Теперь ничего не стало. Гляжу на народ – будто руки в брюхе у матери поставляли. Ничего не умеют. Тока водку жрать. Тут оне мастера. Особенно молодые. Уж в чем молодцы, дак молодцы.

– Он у меня и по плотничьему делу и по столярному – первый мастер в деревне, – подхватила старуха.

– Лежи! Ты у меня ударница-то. Вот и доударялась. Лежишь, никому не нужная.

Старик помрачнел. Еще ниже склонился над топорищем.

– Свое отмытарила. Дай Бог кажному.

– Сказала бы – не приведи Господь...

– Мне моей жисти не жалко. Работала, пока сила была.

– Во-во...

Женя поднялся. Приблизил лицо к коричневой рамке. Все грамоты принадлежали Полине Михайловне Сорокиной, свинарке колхоза „Верный путь".

– У ей и медаль есть, – сказал старик насмешливо.

– Есь медаль-то, есь, – обрадованно откликнулась старуха. – Немного до ордена не дотянулась. Обещали уж. Да болезнь скрутила, лихорадка ее возьми. Рученьки-ноженьки отнялись.

– Большой у вас трудовой путь, – сказал Женя.

– Большой, – подтвердил старик. – Горшки эвон за ней выношу опосля этого большого пути.

– Постыдись.

– Чего стыдиться? Выношу и выношу. Чего с тобой поделаешь. Колькой год лежишь.

– Потерпи немного, дурной.

– Терплю уж.

– Отмаешься скоро...

Не замечая чужого человека, они долго переругивались. Старик винил старуху в излишнем радении. У старика жизнь получалась черной. У старухи она была окрашена радужными красками.

– Чего у тя было, когда сошлись-то? – ворчал старик. – Корова без хвоста да блюдо с отбитым краем.

– И все-то было. И справы цельный сундук. И корова добренная.

Голоса у стариков были не злые, мирные.

– И дети уродились хорошие. Добренные были дети, – тихо говорила старуха.

– Никудышные были дети, – ровным голосом отвечал старик. – Были б добренные, не помирали бы.

– Охрестись! Отчего помирали-то. Настя в окопах-то под Ленин-то-градом простудилась. Маруська-то померла, так у всех тот год помирали. Мор из избы в избу ходил. Добренные были дети. Да ласковые, да обходительные.

– Трудно вам живется, – сказал Женя.

– Добренно жили. Поись-попить было.

– Значит, хорошо жили?

– В войну было худо. А перед войной-то добренно жили. Да и теперь чего нам надо. Все есь...

– Лежи! – крикнул старик. – Добренно ей. Весь век такая. За что ни возьмись: добренно-добренно. Помирать станет – тоже скажет: добренно.

– Помирать-то худо, – сказала старуха.

– Эво? – удивился старик и зорко глянул на кровать, на старухины руки.

Жене хотелось пить. Вода оказалась в кадке, под деревянной крышкой. Он зачерпнул ковшом. Вода была теплая, затхлая.

— С председателем-то, значит, не поладил? — в который раз спросил старик Женю.

— Я с собой не поладил, — сказал Женя просто.

— Это как понимать?

— С совестью не поладил, — ответил Женя, чувствуя, что говорит неестественно легко, а значит, фальшиво.

Старик чернем ножа почесал на маковке, усмехнулся.

— Совесть ноне, говорят, к луне полетела да и забыла вернуться. А без нее-то чем худо?

— Сейчас многих совесть беспокоит, — сказал Женя, начиная сердиться на старика.

Старик умолк. Ждал. Сидел смирно, будто боясь спугнуть подвыпившего корреспондента. Стружка с чуть слышным шорохом накручивалась на лезвие ножа.

— Один мой знакомый триста рублей в месяц получал, — начал Женя зло, отчеканивая каждое слово. — Пока его совесть не заела.

— Триста? — Глаза старика расширились, пусто уставились на Женю. — Это мне чтобы стока — триста топоришшев зашибить надо. По десять в день.

— Нада же, триста! И ходит, поди, чистый да теплый, — мечтательно произнесла старуха.

— А чего ему? Сидит, командует. Чем он замарается? Конечно, чистый.

— Ну, работа и у него не из легких, — сказал Женя.

— Да хоть тут как, а триста не за что! — крикнул старик. — Эвон героиня всю жизнь свиней растила. А скока ей отвалили за труды-то ейные — хрен с добавкой!

— Ну так вот... — Женя сделал значительную паузу, энергично закончил. — Бросил он свою работу.

— Но-о? — удивился старик. — Может, поболе нашел?

— И не хочет искать, — сказал Женя, следя за каждым движением стариковского лица, за его неверящи-

ми, по-ребячьи удивленными глазами. – Все бросил: жену, дом. Наймусь, говорит, в лесорубы, чтобы честный хлеб есть. Заработанный своими руками.

– Н-ну и дурак! – захохотал старик.

– Ну почему... почему дурак?

– Как же не дурак, раз от таких денег ушел?

Бабка молчала. Женя с надеждой смотрел на ее восковые руки и ждал.

– Совесть важнее денег, – сказал Женя негромко, не спуская глаз с бабкиных рук.

Старик отложил в сторону почти готовое изящное топорище, попросил у Жени закурить. Курил усмехаясь, покручивая опущенной головой. Неверяще смотрел на стружки.

– Уйтить от таки-их денег! – изумленно произнесла старуха.

Женя вздрогнул и нахмурился. Не ожидал этих слов от старухи.

– Дурак и есь, – продолжала она. – Думашь, плотнику сладко? Спроси-ка дедку. Был он на промысле-то, на Печору ездил. Уж стока лесу повалил, а денег чего привез? Ничего. Хоть сам-то живой приехал, и на том слава Богу.

– Пойми, бабушка, стыдно ему стало. Рядом с его фамилией в ведомости стояла фамилия уборщицы. Она из кожи лезет, а получать нечего. На хлеб да квас.

– Так и живем, – сказал старик.

– Неправильно живем!

– А то правильно.

– Так почему же он дурак?

– Дурак и есь...

Женя вскочил, пробежался до порога. Крупная тень его заметалась по стенам, остановился возле бабки. Лицо у нее было спокойное, застывшее. Живы были одни лишь глаза.

– Прежде чем уйти с работы, он, может быть, не один год думал об этом. Не мог он больше, понимаете?

Возьмите барина русского. Ведь и тот, во всяком случае передовые дворяне, и те мучались, что находятся в привилегированном положении. А у нас есть люди, в десятки раз живущие лучше колхозника или, скажем, рабочего. И совесть спокойна.

– Сядь, ишь разбегался, сядь, – мирно заговорил старик. – Чего он один-то. Это кабы все ушли, кабы всех совесть ись начала. А один человек – чего? Ничего... Ты-то, к примеру, не хочешь меньше получать, а?

– Я?

Женя взглянул на старика и обмер. Свирепые глаза его, будто некормленные собаки, кинулись Жене в лицо. Они рычали и клацали зубами. От них не было спасения.

Жене хотелось оттолкнуть страшное лицо старика, закричать: „Я-то и хочу меньше, я-то и бросаю жену с ребенком, я-то и хочу в лесорубы!" Но вдруг на кратчайшее мгновение весь хмель оставил Женину голову, и реальный, грубый мир открылся его глазам. И с ужасом увидел он себя на краю бездны. Ему показалось вдруг, что он уже осуществил это страшное. Оно сбылось. Женя Капусткин вовсе уже не корреспондент – он просто плотник... или лесоруб! Вот он едет в прокуренном грязном вагоне на север. Он в телогрейке, сапогах и грязной рубахе. Он посреди мужицкой ругани, посреди пота и мерзких плевков. Вот он валит лес. Он, Женя Капусткин! Мокрый, промерзший, с заскорузлыми руками, с непохожим лицом. Зарабатывает честные рубли. Клянет жизнь...

– Мне нельзя, – шепотом произносит Женя, – да и зарабатываю я, думаете, много? Сто пятьдесят, двести... В городе, сами знаете, – это не деньги.

– Сто пиисят, это, конечно, мало, – с усмешкой согласился старик.

– Конечно, мало, – подтвердил Женя.

– Это мне сто пиисят топоришшев надо. – Вскинув

голову, старик обратился к старухе. – Как думаешь, бабка, смогу сто пиисят-то за месяц-то?

– И поболе сможешь, – ответила весело старуха.

И оба они, понимая друг друга, рассмеялись. Они смеялись над Женей Капусткиным. Потом умолкли, и в избе стало тихо, тихо не по-хорошему.

Женя увидел на полу матрас, выпирающую в дырья солому, несвежую старухину подушку. Вспомнил о приготовленной ему постели у председателя. Ведь они с женой, наверно, его ищут, волнуются.

– Ты, может, поись хочешь? – спросила старуха.

– Спасибо, не хочу.

– Счас я кончу, будем укладываться, – сказал старик и зашаркал по топорищу наждачной бумагой. В воздухе повисла мелкая пыль.

Женя взглянул на часы. Скоро полночь. Скоро погаснет свет. Нетерпение им овладевало все больше. Что делается у председателя? Отсюда надо как-то уйти. Но как? Что сказать старику? Что придумать? Стыдно...

– Пойду покурю, – сказал Женя и в несколько шагов оказался у двери. Потом в сенях. Потом на крыльце. Потом на воздухе, без старика и старухи. Больше всего он теперь боялся, что его окликнут и ему придется вернуться назад.

Перепрыгнув через жердь, он остановился. Со страхом смотрел на два маленьких светящихся оконца. Вхлебывал в себя воздух... Из огорода тянуло брюквой. Черная тишь висела над спящей деревней. И Женя почувствовал вдруг себя счастливым. С плеч свалилось что-то непомерно тяжелое. Казалось, он побыл в каком-то ином мире, до последнего вздоха изнемог и теперь радовался нормальной, привычной жизни. Она тянула к нему теплые руки, улыбалась, как напроказившему. Она прощала ему маленькую эту шалость.

10. ВЫСТРЕЛ

Тяжело быть коровой. Быть человеком, наверно, легче всего. На двух ногах, тонкий и легкий, человек может пройти в самом густом лесу. Человек может ухватиться руками за ветки и влезть на дерево, увидеть оттуда другие леса и поляны. Чтобы отмахиваться от комаров, человек может наломать веток, может повязать на голову платок или закрыть одеждой все тело.

Быть человеком хорошо. Ему ничего не стоит вынуть из кармана кусок хлеба и протянуть корове. Ему нетрудно принести ведро теплой воды, вкусно пахнущее мукой и растертой картошкой. Все, что трудно или совсем невозможно корове, очень легко человеку.

Человек может идти по траве и красивым голосом петь песню. Когда человек разговаривает, слова у него во рту все похожи. И кажется, он нарочно, словно журавль, курлычет одно и то же. Но когда человек сердится, голос его становится страшным. Чтобы слова понимали коровы, человек делает горло трубой. Слова его летят далеко, и тогда коровам понятно: человека надо слушаться.

Коровой быть тяжело, но тоже неплохо. Хорошо утром прийти в поле, когда вся трава мокрая и холодная и светится негорячими искрами. Хорошо срывать такую траву. Ощупывать ее языком, понимать, как она вкусна, глотать большими комками. А когда солнце встанет над головой, хорошо войти в воду, бегущую с тихим шелестом, притронуться губами к этой ровной воде и пить, пить до тех пор, пока не покажется, что больше пить никогда не захочешь.

Хорошо быть коровой. Когда у нее появляется теленок, ей становится за себя совсем не страшно. Ей кажется, что теленок — это она сама. И ей не боязно волка. Ведь если теленок жив и если волк прыгнет корове на спину, это хоть и страшно, но не так страш-

но, как если бы у коровы не было живого теленка. Ведь теленок в точности, как она. И если теленок остался жив, жива и она.

Но быть человеком – все же лучше. Человек может быть таким добрым, таким сильным, как никто. Он первым кидается на волка, кричит жутким голосом, и волк убегает с пустым брюхом. Когда с коровой беда, она не зовет на помощь других коров. Чем они ей помогут? Она зовет человека. Он умеет делать все.

Милька любила этого человека. Она узнавала его издали. Когда он шел, качалась только одна рука. Правда, человек часто на Мильку кричал и больно обжигал кнутом, все равно она его не боялась и любила. Он был добрый. Когда он сидел на траве, Милька смело подходила, нюхала его сумку. Человек доставал из сумки кусочки хлеба, отдавал понемножку и приятно чесал ее мокотышки, крепкие бугорки на лбу, откуда так почему-то и не вышли рога, как у других коров.

Весь сегодняшний день Милька звала к себе человека. Но он был далеко. Человек пас коров, которые ходили копытами по траве, ели ее, а потом долго пили из ручья воду. Поднимали головы, отдыхали и пили снова. Если бы Милька могла прийти к ручью, она бы выпила всю его воду.

Когда стало темнеть, а коровы, громко мыча, пошли в деревню, глаза у Мильки закрывались от слабости. Звать человека не было сил. И она его уже не звала. Она думала – он ее бросил и забыл. Но человек пришел. И пришли с ним еще люди. Милька собрала все силы, стала выпрыгивать, люди вытаскивали ее веревкой, но внизу так сильно что-то ее держало, что ничего из этого не получилось. И люди ушли. Остался лишь один маленький человечек. Голос у него был тонкий, сам он был несильный, очень боялся волка, оглядывался по сторонам и бегал в испуге вокруг огня.

Была уже ночь. Мильку трясло от холода. Голова никла вниз. Милька умирала. И вдруг снова послыша-

лись знакомые шаги. Милька подняла голову и, стараясь ее не ронять, держала прямо, слушала, навострив уши. Шаги подходили. И тогда Милька закричала – громко, тоскующе, обрадованно.

Человек подошел к огню. И оба они, большой и маленький, замурлыкали часто, шевеля губами. Потом долго смотрели на Мильку. Потом маленький остался у огня, а большой высокими ногами пошел по грязным прутьям. В руке у него было что-то тяжелое. Человек шел осторожно, боясь оступиться. Он остановился и громко что-то сказал. Милька вытянула голову и приветливо мыкнула. Он стоял на одном месте и дальше не шел. Рука у него была вытянута. Когда Милька поняла, что этого надо бояться, было уже поздно. В глазах вспыхнула слепящая молния...

Набычив голову, Степан вернулся к костру. Тряхнул ружье. Тупо уставился на вылезший из ствола дымящийся бумажный патрон. В уголку искривленного, подрагивающего рта копилась слюна. Перевесившись, гирькой слетела вниз.

– Спи-и-ите!? – завизжал вдруг пронзительно, завертелся волчком, сунулся на колени, зажал приклад между ног, затолкал патрон, выпрямился, вскинул за собой ружье.

– Бба-ба-ах-бах-бах! Ру-ту-ту-ту-ту...

Снова присел. Выкинул гильзу. Сунул новый патрон.

– Ббаа-ба-ах-бах-бах!

Генка с ревом подлетел, схватился за ружье.

– Про-очь! – захрипел Степан, прикладом отшвыривая Генкино легкое тело.

Генка упал, на четвереньках пополз в сторону, в сторону, за кусты...

Тем же ловким приемом Степан перезарядил ружье. Вскинул в небо длинную руку.

И снова над лесом, будоража спящую птицу, леденя

кровь зверя, понеслось страшное, неслыханное все лето:

– Ба-ба-ах-бах! Ру-ру-ру...

Закричали удивленно, вспорхнули сонные кулички. Захлопали крыльями и закружились в темноте ошеломленные утки. Заныряла меж кустов остроносая лисица.

– Бу-у-ум, бум-бум... – донеслось до Криуши.

Завозились на ветках в гнездах колхозные грачи. Испуганно и недоуменно заорали сиплыми голосами в темноту, спрашивая: в чем дело, что случилось в мире?

Ростислав ВОГАК

Время странствий

(двойной венок)

А я товаром редкостным торгую –
Твою любовь и нежность продаю.
А. Ахматова

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
А. Блок

1

„Россия. Родина. Разбои и расстрелы.
Костры. Отчаянье. И храмы у реки.
О, что мне делать, друг? Здесь холодно и бело,
А Петербург далек – не протянуть руки.

Вернуться? Видишь ли... Судеб водоразделы
Прошли по площадям – забвения полки.
Минувшее почти как сердце постарело,
А новой юности не светят маяки..."

И мне в ответ мораль летит бескрылой птицей:
Мол, мышцу заменить легко теперь в больнице,
Где сами мы врачи. И, прежней не чета,

Рукопись получена из Самиздата. – Ред.

Едва ль не каждая исправно будет биться.
...Но как мне объяснить, что возрастет сторицей
О прошлом память и о будущем мечта?

2

Целебней нет самим себе удара,
Когда рука изменит или глаз,
Но что нам делать с предающим нас
Комочком сердца? – Для него нет пары.

Остаться с прежним – взять себе огарок
Свечи чадящей. Лучше бы погас!
Взять новое – солгать себе на час:
Чужая плоть – обманчивый подарок.

Так, может, зря то, что в груди болит,
Ножом хирурга друг отсечь велит
На операции по пересадке?

Из двух путей нам выбрать предстоит
Порою третий, чтоб избегнуть схватки:
Отрадней нет забвения обид.

3

О прошлом память и о будущем мечта
Бывают двух родов, как все почти на свете.
И не двуликостью ль издревле проклята
В любом из наших дней судьба тысячелетий?

Так парами живут взгляд вглубь и слепота,
Любовь и просто похоть – решето и сети.
Хоть сумерек обоих сходна темнота,
Их сродство призрачно в закате и в рассвете.

Спор мужа с женщиной такая же тщета:
Он страждет вечного, она ж... она земная.
Все чуждо! И тогда мы говорим: „не та...",

И рвемся прочь из бездны, и взыскуем рая,
И плачем о былом, в утратах открывая
Смиренномудрие природы и скита.

4

Отрадней нет забвения обид.
Ведь это роскошь одаренных силой.
А слабого, как мотовство, страшит
Риск получить награду за могилой.

Наоборот. Духовный инвалид,
Кого-нибудь случайно ранив с тыла,
Ему ж за это отомстить спешит,
Лишь признаваться чтоб не надо было.

Пустяк причиной. Кажется: ну, что ж!
Ведь каяться актерам невтерпеж.
Пусть совесть станет двойственней муара.

Познать себя? – Как к горлу острый нож!
И счастье, если вовремя поймешь:
Вина сама достаточная кара.

5

Смиренномудрие природы и скита
Редчайших снадобий становится чудесней.
Оно звучит почти евангельским „Воскресни
Нам, позабывшим вкус покоя и поста.

Но если мир в борьбе, то бегством без щита
Его назвал бы я. Ведь наше, как известно,
Лишь то, что отдаем, о чем в высокой песне
Правдивый некий месх поведал нам, Шота.

И здесь, на Севере, где царствуют метели,
Еще опаснее монашество без цели:
Спасаясь без отдачи, можно и пропасть.

Но в медных трубах ли, во льду ли, на костре ли,
Над петербуржцами спасительную власть
Таит торжественно стремительный Растрелли.

6

Вина сама достаточная кара.
Друг, в нашей жизни счастлив только тот,
Кто никого за беды не клянет,
Не ведая ни холода, ни жара.

А я сейчас сижу в балке на нарах,
Встречаю Новый беспощадный год,
И наших судеб кажется разлет
Мне выходом из Арктики в Сахару.

И пусть в пургу из-под дверей сквозит.
Моя печурка знай себе горит:
Сгорает горечь наших расставаний.

И нет душе от памяти защит,
И нет неодолимых расстояний,
И все на свете искупает стыд.

7

Таит торжественно стремительный Растрелли
От крестников свой пыл. И бег его колонн,
Как метроном сердец, как ритм шагов, как сон,
В воспоминаниях бродяг и менестрелей.

Играли ль мы тогда, когда с мороза грели
Вино с приправами и, словно кто влюблен,
Молчали празднично (наградой – связь времен
И в снежной кутерьме роскошный Руставели)?

Душа твердит: „О, нет. Ведь и Полярный круг
Не скроет от тебя – не столь ты близорук! –
Ни Зимний, ни Неву, ни духа их, ни тела...

Ты злишься? – Перестань. Ведь жизни метр упруг.
Не уступай тоске – припомни Тариэла.
И пусть здесь пролегли проспекты, словно стрелы!

8

И все на свете искупает стыд...
Как деньги покупают все на свете!
О первом знают мудрецы и дети,
А большинство закон последний чтит.

Но вспомним мы темнеющий гранит
И молодой, беспутно нищий ветер,
И через годы снова станет светел
Тот день, тот час, что продан и забыт.

Как предан и убит... Слов этих пары –
Что приговор. И душит перегаром
Похмелье от кровавого вина.

И смертным нет мучительнее дара,
Чем свалку совести поджечь со дна.
Но в душах есть заслонки от пожара.

9

И пусть здесь пролегли проспекты, словно стрелы,
Душа – потемки, где б ни ждал ее ночлег.
И в поисках чудес мы рыщем неумело
В чулане сказочном – такой уж нынче век!

Но в сундуках не клад, а хлама запах прелый,
Отбросы, грязь и сор – архив шутов-калек.
Улики налицо – как в тире, под прицелом,
Но страшен сердцу суд домашних и коллег.

Все, все гнилье – в костер! Безжалостно и грозно
Пусть все пожрет огонь, пока еще не поздно.
Да не останется ни тряпки, ни листа!

Блажен, кто эту казнь смог выдержать бесслезно...
А за стеной зима. Темнеет. Чуть морозно.
Слепит глаза неон, воззваний суета.

10

Но в душах есть заслонки от пожара,
Чтоб на щеках закат не пламенел
Осенним листопадом наших тел,
Чтоб не бросать позор на тротуары.

Молчи, храни бумажный ком помарок,
Копи обноски мыслей, чувств и дел –
В чужих глазах ты будешь здрав и цел,
Но берегись огня: он слишком ярок.

Он тайников в груди не пощадит,
Найдет и перед всеми осветит
То, что язык порой назвать не смеет.

Чернее антрацита свалки вид.
Пусть лучше все в ней медленно истлеет...
А если уголь в сердце не сгорит?

11

Слепит глаза неон, воззваний суета.
Во благо – ложь и блажь. Презрение и жалость
С любовью смешаны. А в празднествах – усталость,
И речи дымные, и пьяные уста.

А надо всем звездой мерцает чистота
Рождений и смертей – как то, что нам осталось,
Как свежесть вод и вер, как нашей крови алость,
Как быт и бытие разъявшая черта.

Но здесь причастны все и гибели и жизни:
Нам в жилы с юности отрава налита.
И души не внимают больше укоризне:

Ни жара в них, ни льда – одна лишь духота.
Мы уж без мужества. Мы мертвецы на тризне.
Лишь пристальней взгляни: ведь Петербург – плита.

12

А если уголь в сердце не сгорит,
И пыль смешается с гремучим газом,
Подземным взрывом всякий миг грозит,
И крахом будет искры гнев наказан.

Иудин грех виновному что щит,
В отмщении – покой. И раз за разом
Свое же зло он обелить спешит
Предательством того, к кому привязан.

А после... После начинает ночь,
Как воду в ступе, кровь в висках толочь.
И мало для стыда земного шара.

И жар терпеть становится невмочь.
И если дыму выйти не помочь,
Раскаянью не миновать угара.

13

Лишь пристальней взгляни: ведь Петербург – плита
Могильная для угоревших в дымном слове,
Как в камере с циклоном, ибо грудь пуста,
И водянистые чернила вместо крови.

И ходят упыри, вещая про Христа,
Скопцы бесстрастные с призывами к любови.
По морде б дать – да нет, не выйдет ни черта.
У бесхребетных душ защита наготове:

„Мол, слабость – сила, а в насилии одно
Бессилие, как некий червь, заключено".
И зло берет и смех от хитрой этой трели.

Но, как ни странно, мы союзники давно:
Мы в склепе ищем дверь, ведь меж теней темно,
А там, за ней, страна все в той же карусели.

14

Раскаянью не миновать угара,
Когда оно – предлог, чтоб сохранить
Уже не Ариадны – просто нить,
Подгнившую слегка в житейских сварах.

Веревочка седа, как от сигары
Оставленной дымок. Кого винить!
Лишь потяни – уже остановить
Клубок нельзя. Витками сходят чары.

Связует нас не то, что веселит,
А хоть печальный, но святой синклит
Ума, любви, надежд, предчувствий, веры.

Разбей звено – и сердце замолчит.
Распад не остановят полумеры.
Болезнь страшна, когда причиной быт.

15

А там, за ней, страна все в той же карусели –
За болью быта и за стенами квартир,
За снежной стройностью пропахших смертью елей,
За мудростью страстей, стремящихся в эфир, –

Россия! мы тебя бесславно просмотрели.
Живем как бы во сне, у входа в горький мир
Экстазов и истерик. Ты же еле-еле
Способна претворять вседневный хлеб и жир

В толику малую духовного волненья.
Но раболепство называли мы смиреньем,
И музыкой стихий – восторги дикарей.

Чего ж мы ждем теперь? какого обновленья?
Из недр Аида Персефоны возрожденья?
Винить ли, и кого, за плахи площадей?

16

Болезнь страшна, когда причиной быт.
Любовь моя! И ты не устояла!
Тот день, тот час тобою позабыт,
Когда для нас окончилось начало,

Когда словесных слава пирамид
Нас тяжестью предвечною венчала,
И я оттачивал меж невских плит
Стихов своих серебряные жала.

Все в памяти стирает перезвон
Тарелок и часов, к грехам Манон
Леско невольная и злая тяга...

Слезой единой смыть бы тяжкий сон!
Но вновь зовет куда-то телефон,
Еще в ресницах не просохнет влага.

17

Винить ли, и кого, за плахи площадей,
Когда я сам увяз в двойном венке маразма?
Ведь каждая строка в плену у плеоназма,
И вот – фиглярничаю, грустный лицедей.

Смеясь, тяну я нить асбестовых идей
Из формы каменной и, наживая астму,
Курю без отдыха, чтоб в творческом оргазме
Сей кружевной кирпич родить, как Асмодей.

Есть опьянение в веселии жонглера,
В трюкачествах с огнем, в глотании гвоздей,
Как в плясках смерти на пиру во время мора...

Мой разум – шут, а цирк – поселок Варандей
В Ненецком округе... Но вспомню слишком скоро
Вечерний пар болот и недожизнь людей.

18

Еще в ресницах не просохнет влага,
Еще мираж тех лет передо мной,
Еще как будто голос слышу твой,
А в жилах уже снова бродит брага:

Безумец, и бездельник, и бродяга,
Обвенчанный с полнощной тишиной?
И только-то? Лишь ветер за душой?
Да сказки о дервишах и варягах? –

Все так. Но на путях моих рассвет
Не дня, но века виден столько лет,
Что в сторону нельзя ступить ни шага.

Пусть даже тявканье раздастся вслед –
Не обернусь: лишь отбежит дворняга,
Как вспыхнет вновь трусливая отвага.

19

Вечерний пар болот и недожизнь людей.
Зияющие бездны моего народа.
В любом из нас есть свой собор и мавзолей,
Где век смешал святыню с ликами урода.

И хоры по ночам отверженных теней
Из глубины взывают к небу скорбной одой
С мольбой о выходе из лабиринта дней
На волю вечности и с болью о невзгодах.

И с личным общее, и с горним тьма низин
Слиянны нераздельно, ибо мир един.
Безумна рознь души с речами и делами.

Лишится ль муж, жена ль страстей как гражданин –
Не сможет полюбить ни женщин, ни мужчин:
Отступники всегда себя карали сами.

20

Как вспыхнет вновь трусливая отвага,
Когда отпора не почует тать,
Так обнаглеет утро в пестрых флагах,
Веля полночной памяти молчать.

Вывешивает суета аншлаги.
В театре жизни принято давать
В дневное время многоликий шлягер:
„Сатирикон" плюс горьковская „Мать" –

Дела, политика, любовь как форма
Самозащиты меж порывов шторма
В смешной и страшной будничной игре.

Морские свинки лезут так за кормом...
Но духу эти мелочные нормы –
Азийское распятье на заре.

21

Отступники всегда себя карали сами.
Есть в каждодневности овечий приговор
Для тех, кто променял восторг неясных гор
На вескость трезвых почв под крепкими ногами

Разыгрывать степенность в балаганной драме
Себя мы обрекли – актерка и актер!
Но ведь когда-то нас манил к себе простор,
Где дышится вольней, прямее и упрямей!

А ныне в сырости сценических затей
Мы ловим отблески заоблачных вестей –
Окаменевшие от холода сполохи.

Мертвеет грудь и град... И мерзнем до костей.
А чтобы в старости не стали вовсе плохи,
Горит костер вражды, безумий и страстей.

22

Азийское распятье на заре
Теперь, пожалуй, нагоняет скуку.
Смерть на колу, на дыбе, на костре –
И сложная, и дорогая штука.

Не проще ли налетчиков в каре
Построить перед дверью по науке,
Чтобы, как зверя обложив в норе,
Под утро увезти тебя без звука?

А там хоть плачь, что ты не демократ,
Что блюл закон, что был почти что свят,
Подписывай проклятую бумагу –

Узнаешь, что обиднее стократ,
Когда ты вовсе не был виноват:
Расплатой – казнь. Святому, как и магу.

23

Горит костер вражды, безумий и страстей
В стране моей, свиреп. Так на снегу солярка,
От чужеродности шипя, пылает жарко,
Сзывая копотью непрошенных гостей.

Но звездный край кует законы для детей
Железной строгости, и краше нет подарка,
Чем знать: тебе дана, как волку-переярку,
Свобода в поисках и друга, и путей.

Как, впрочем, и подруги... Если же флажками
Тебя обложат вдруг, то пусть придет на память
Тройной завет: „Не верь, не бойся, не проси".

Ведь суд вершить огнем кровавым, словно знамя,
Над волей повелось издревле на Руси.
А мы, как спичками, бросаемся сердцами...

24

Расплатой – казнь. Святому, как и магу.
Нам оттого любезны вечера,
Чтобы себя до самого нутра
Разглядывать очищенно и наго.

Затворники, поэты и бродяги!
Сегодня или завтра – как вчера.
А горько просветленного утра
Мы все еще не увидали стяги.

И ждем того, чего как будто нет:
Трубы архангела, огня комет
И боя с сатанинскою ватагой.

А пьем измены, скуку и балет –
Прокисшее вино на дне баклаги:
Яд смерти очевидней яви блага.

25

А мы, как спичками, бросаемся сердцами,
И сорок месяцев – две пачки папирос:
От них лишь едкий дым остался между нами.
Но ярок на снегу пожар погибших роз!

В игре его огней бесплотными тенями
Бесплодно мечемся, не зная слезных рос.
И в униженьях остаемся гордецами,
И в торжестве горим в углях своих угроз.

Эпоха же встает бесхитростно и прямо,
Как дровосек проста, и рубит наповал
Сушняк надменных душ, и сваливает в яме.

Но бесом одержим, кто весь в трухе подвал
Решил разжечь костром, чтоб тлел он, дик и ал,
Как будто потушить потом так просто пламя!

26

Яд смерти очевидней яви блага.
Ведь не нектар кровь возмущает нам,
Но горечи отравленный бальзам
Из потаенной и запретной фляги.

Так наслаждался знаменитый скряга,
Придя под вечер к пыльным сундукам,
Как мы – к своим страстишкам-медякам,
Скопив их за дневные передряги.

Но хладен взор и кладом не согрет.
О, как порой нам был бы сладок бред,
Пусть женщиной внушен, пусть водкой, горем, –

Лишь бы не видеть этот лазарет,
Как форт, стоящий под небесным морем!
Но всюду есть тропинка в Назарет.

27

Как будто потушить потом так просто пламя,
Мы раздуваем искры темного огня
И тут же слепнем, в пресыщении звеня
Поддельным золотом, как торгаши во храме.

Но наших чувств завет – что вера в Аврааме:
Тверд самоценностью своею для меня.
Дай зоркость мне, Господь! чтоб я день ото дня
Яснее различал живое меж гробами.

Любовь ли умерла? Да здравствует любовь!
(Когда зовет она, я повторяюсь смело)
К забвению уроков сердце приготовь!

Хоть лихолетье и вершит кривое дело,
И тщатся растоптать людские души вновь
Россия, родина, разбои и расстрелы.

28

Но всюду есть тропинка в Назарет.
Взгляни сквозь петербургский сумрак: властно
На наши встречи отменив запрет,
Звезда воспоминаний светит ясно.

Вот проплывает мимо минарет,
Так гулко и таинственно безгласный,
Что слышно, как скликает Кифаред
Девятку дев на невский брег ненастный.

А там, у равелина, на ступень
Уже легла двойная наша тень,
И ей, ожив, не быть вовеки старой.

В твоих руках росистая сирень...
И пусть мы сами предали тот день –
Целебней нет самим себе удара.

29

Россия. Родина. Разбои и расстрелы.
О прошлом память и о будущем мечта.
Смиренномудрие природы и скита
Таит торжественно стремительный Растрелли.

И пусть здесь пролегли проспекты, словно стрелы,
Слепит глаза неон, воззваний суета –
Лишь пристальней взгляни: ведь Петербург – плита,
А там, за ней, страна все в той же карусели.

Винить ли, и кого, за плахи площадей,
Вечерний пар болот и недожизнь людей?
Отступники всегда себя карали сами.

Горит костер вражды, безумий и страстей,
А мы, как спичками, бросаемся сердцами.
Как будто потушить потом так просто пламя...

30

Целебней нет самим себе удара,
Отрадней нет забвения обид.
Вина сама достаточная кара,
И все на свете искупает стыд.

Но в душах есть заслонки от пожара.
А если уголь в сердце не сгорит,
Раскаянью не миновать угара –
Болезнь страшна, когда причиной быт.

Еще в ресницах не просохнет влага,
Как вспыхнет вновь трусливая отвага –
Азийское распятье на заре.

Расплатой – казнь. Святому, как и магу.
Яд смерти очевидней яви блага.
Но всюду есть тропинка в Назарет!

1978 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Окончен труд. Уже он отделился
От человека и не скажет мне
О чем, упорный, рассказать стремился
И для чего не отпускал во сне.

Он говорил, что это поколенье
Еще не знает будущих тревог,
Он требовал слепого исполненья,
А я приказа выполнить не смог.

Я только помню, что на перекрестке
Ветров судьбы, пространства и времен
Настиг нас век, и что в поземке хлесткой
Стоит мой город, снегом обожжен.

И если нас порою неизбежность
Страшит крушенья зыблемых основ,
То пусть народ спасет мужская нежность
И женской твердости молитвослов.

Ну, что ж! теперь прощай, ночной мой спутник!
Нам разные дороги предстоят.
Твоя пряма, а я – беспутный путник:
Ищу тропу, мгновенье, слово, взгляд.

15 января 1979 г.

Болгарский поэт Веселин Ханчев

После второй мировой войны советские правители построили в Софии, Варшаве, Берлине и других столицах своих новых сателлитов архитектурные комплексы – „дома культуры", „городские центры" и т.д. Похожи они были друг на друга и на своих московских и минских предшественников настолько, что поляк, попавший в Софию, или софиянец в Варшаве без всякого гида знал, когда и кем сооружены эти здания.

Так же одинаковы – одинаковы, как зерна в огурце – были стихи „поэтов стран народной демократии", хлынувшие после войны на страницы многочисленных „подборок в толстых журналах", книжечек „Библиотеки „Огонька", „международных сборников".

Тематика в этих стихах была одинаковой („дружба народов, скрепленная кровью"), тональность – одинаковой (фанфарной), художественность – одинаковой (на уровне „мастерства" тех переводчиков, единственным достоинством которых была „творческая смелость").

Особенно не повезло на русской почве болгарам. Тысячи строк антипоэтической продукции, переведенной с болгарского, создали у русских любителей стихов убеждение, что излюбленные инструменты болгарской музы – топор и пила.

Между тем, мнение это – неверное. И едва ли не лучшим доказательством этому может служить поэзия Веселина Ханчева, звучная и изящная, сердечная и умная, современная и в то же время гармоничная.

Подлинный интеллигент, благородный и неисчерпаемо талантливый, Веселин Ханчев всегда с отвращением смотрел, как его товарищи по профессии суетятся, стараясь попасть в поле зрения чиновников, раздающих этикетки „известный", „выдающийся", „талантливый" и т.д.

„Он не только не выносил никакой саморекламы,

позы или крикливых споров, рассчитанных на аудиторию, – вспоминает один из товарищей В. Ханчева, – но стоило ему лишь прослышать о приближении какой-нибудь парадной шумихи, трескучих фейерверков, барабанного боя, торжественного шествия, в котором ему надлежало участвовать, как его нигде нельзя было разыскать. Он не стремился к славе, ему достаточно было внутренней свободы художника".

Но как трудно было удержать за собой эту свободу художника в стране, вся жизнь которой стремительно мчалась навстречу тотальной несвободе!

Родившись в 1919 году, Веселин Ханчев рос в годы, когда под предлогом сопротивления фашизму коммунисты повсюду развернули активнейшую охоту за душами молодежи. Ему было 25, когда на его родине коммунисты пришли к власти.

На какое-то время слова о „торжестве общества справедливости" увлекли юношу. Но очень скоро он увидел разницу между пропагандой и действительностью. Во всяком случае Веселин Ханчев был едва ли не единственным болгарским поэтом, который не написал ни единой строки ни в честь Сталина, ни в честь болгарских заправил, ни в честь коммунистической партии. Он старается сосредоточиться исключительно на творческих вопросах.

Еще восемнадцатилетним гимназистом выпустив свой первый сборник, Веселин Ханчев устанавливает близкие отношения со многими болгарскими поэтами и даже входит в редакцию еженедельника „Литературен глас". Он становится крестным отцом многих молодых поэтов, которые, к слову сказать, были не моложе его самого, и усиленно публикует свои стихи и литературно-критические статьи.

Многое, что поэт написал в 40-е годы, гораздо выше всего, что тогда писали болгарские поэты, но сам В. Ханчев был собой недоволен: он считал, что нет ни-

какой чести лидировать в такой поэзии, которой „угрожает опасность выродиться в замкнутую, провинциально звучащую поэзию, в поэзию-оперу".

Но что мог сделать поэт в условиях послевоенной Болгарии? И Ханчев замолчал. Сколько бы он молчал, если б в Болгарии ничто не изменилось? Кто знает — другой болгарский поэт, Атанас Далчев, замолчавший раньше, промолчал два десятка лет. Но случилось чудо: в конце 50-х годов политическая оттепель из хрущевской Москвы дошла до Софии. На какое-то время людям показалось, что бесчинствам болгарских догматиков и их советских наставников пришел конец. Не стало слышно их самоуверенных и хриплых голосов и в поэзии. И в стране, и в поэзии наступила напряженная тишина.

И вдруг — в этой выжидательной тишине громко раздался свежий и светлый голос Веселина Ханчева. Вышедший в 1960 году его сборник „Лирика" был свободен от каких бы то ни было следов догматизма, от цепей нормативности. Поэт разорвал ограниченность, шаблон, окостенелость современной ему болгарской литературы и предстал перед читателями со всей своей искренностью, честностью и правдивостью. Он впервые за все годы власти коммунистов говорил не „от имени лирического героя", не „по велению долга", который он будто бы имел перед коммунистической партией, а от своего собственного имени, по велению своих собственных чувств и своим собственным языком.

Именно с этого сборника началось оживление болгарской поэзии, обогащение ее направлений и стилей, раскрытие творческих индивидуальностей. Как первое звено в цепи болгарских поэтических книг, родившихся в процессе обновления литературной атмосферы, „Лирика" стала событием культурной жизни Болгарии. Она расширила духовный кругозор болгарской

поэзии, привнесла в нее новые чувства, глубокие поэтические обобщения и философское осмысление важнейших жизненных проблем. Она привнесла в болгарскую поэзию и новые выразительные средства, существенно изменившие лексику и фразеологию, поэтический синтаксис и строфику, ритмику и рифмы — короче говоря, все то, благодаря чему стих является стихом.

Как и в Советском Союзе, оттепель в Болгарии длилась недолго. Снова страницы журналов заполнились подхалимскими виршами, снова поэты соревновались в безудержных славословиях „великой партии" — только вместо имени Георгия Димитрова и Вылко Червенкова стало мелькать имя Тодора Живкова.

Но все же кое-что изменилось. В мутном потоке казенного стихоплетства нет-нет да и вспыхивают искры подлинной поэзии — это дают себя знать традиции Веселина Ханчева.

Сам поэт до наших дней не дожил — он скончался в 1966 году сорока семи лет.

Между выходом в свет сборника „Лирика" и этой трагической датой прошло всего шесть лет, половина из которых была поглощена борьбой поэта с мучительной болезнью. Но В. Ханчев все же успел написать несколько прекрасных стихотворений, из которых мы видим, что в своем развитии он не остановился. Впрочем, зная стихотворение „Приговор", мы могли быть уверены, что он не остановится. Поэт сумел стряхнуть последние изношенные иллюзии, связанные с коммунизмом (если они у него еще оставались), и ему уже ничто не мешало писать, как он чувствовал. Он не стал антикоммунистом — главным образом потому, что его натуре вообще несвойственно отдавать себя политике: он имел явно философский склад ума и явное тяготение к интимному переживанию окружающего мира. Он стал пацифистом. Об этом свидетельствуют такие сти-

хотворения, как „Пока шел поезд", „Мальчик в тире", „Железо и нежность".

Впрочем, о поэте лучше всего говорят его стихи. Обратимся к ним.

Альберт Опульский

Веселин ХАНЧЕВ

РАССВЕТ

Слезою светится над побережьем
к утру прозрачным ставший диск луны.
И смоква, тронутая ветром свежим,
качает черным силуэтом нежным
у побеленной известью стены.

Смотритель тропкой желтою шагает
гасить маяк: уж небо все светлей.
И в мягком свете ветер развевает,
бесшумно над песком перебирает
каштановые волосы сетей.

На скате крыши стайка птиц горланит,
им перышки ерошит легкий бриз.
А над водой, синеющей в тумане,
чтобы рассвет не упустить, заране
две розовые тучки поднялись.

ЧЕРНЫЙ ВЕТЕР

Небо наполнено ветром, синими вспышками
молний,
Как в лихорадке тяжелой, мечутся черные волны.
Треплются ветви и сети. Колокол стонет, тоскует.
Бешеный ветер поднялся, бешеный ветер бушует.

Все стихи В.Ханчева даны в переводе А.Опульского. – Ред.

Бешеный ветер с востока, что закружился
над лодкой,
что обрывает с причала шлюп вместе с цепью
короткой,
что сотрясает жестоко старенький дом над водою,
что высоко поднимает пену с песком и травою.

Мчит он – и скалы грохочут. Мчит он – и птиц
с собой гонит.
Мчит он – и вынули жены древние наши иконы.
Мчит он – и лодки пустые мечутся, рвутся
с причала.
Буря и там их настигла, буря и там их достала.

Пусто все. Только над пирсом облаком пена
клубится.
Только печально во мраке колокол стонет, томится.
Стукнет и смолкнет внезапно, звякнет и тут же
затихнет,
словно в волне утонул он, словно задушен он
вихрем.

Пусто все. Ветер и ветер. Всюду свистят его струи.
К темным и мокрым окошкам женщины молча
прильнули.
Смотрят, как будто сквозь слезы, в мрак,
где грохочут пучины,
в мрак, где в шальном черном ветре, может быть,
гибнут мужчины.

ТЯНУТ СЕТИ

Десять пар рук – на канате в ряд.
Десять пар ног – на песке в упоре.

Тяни канат. Тяни канат.
Вытяни все море.

Вытяни платье цветастое для меня –
в прошлом году обещано было,
вытяни хлеба, соли, огня,
и ласки вытяни, милый.

Картонную лошадку – глаза вразлет,
белую, черные копытца.

Песню такую, чтоб после нее
губами в губы впиться.

Вытяни табак, для паруса полотно,
рюмку ракии, чтоб горло согрела.
Тишину. Две звезды в окно.
Немного сна для уставшего тела.

Тяни канат. Тяни канат.

Десять пар рук – на канате в ряд.
Десять пар ног – на песке в упоре.

Тяни, тяни, тяни канат.
Вытяни все море.

КОЛЬЦО

За тихий твой приход ко мне, родная,
что до сих пор звучит во мне, как гром,
за все, что ты дала, не отбирая,
за то, что мы вдвоем и не вдвоем,
за слово, что в себе ты удержала,
за ласку, что сдержать ты не могла,
за силу, что всегда в меня вливала,

пусть и сама бессильною была,
за то, что с именем моим жила ты
и в трудные, и в радостные дни,
я пальчик твой сжимаю виновато,
но не кольцом, а лаской губ моих.

ТИШИНА

Потребовало сердце тишины.

Я превратил в морское дно
палату,
ее я в лес безмолвный
превратил,
чтоб меж стенами
трепетало сердце,
как одинокий-одинокий лист.

Я вырвал языки
у штор,
у двери,
у половиц,
у бегающих ветров,
у капель,
у шагов
и у звонков;
я губы на молчанье осудил,
у площадей и улиц отнял крики,
чтоб только наступила тишина.

Но тишины все нет.
О, нет и нет...

Я весь
стальными рельсами рассечен,
пронзен я

и словами,
и штыками,
истерт подошвами,
плугами вспахан,
во мне бьют молоты
и губы шепчут,
и корабли ревут,
и птицы кличут,
и полон я
и песен, и рыданий,
усиленных звучащей тишиной.

О, нет ее,
нет больше тишины...

Чуть виноградный сок
вином забродит,
он, вырваться стремясь,
в сосуде бьется,
и вот опять – движение и звук.
У облака,
плывущего в безмолвье,
набухло
бело-розовое вымя
от молний,
плеска крыльев и дождей.

Нигде нет тишины...
Куда бежать мне
от этих звуков,
этих голосов?

О, сердце,
из тебя они исходят,
из глуби твоей раковины красной,
я их ношу в себе самом
и слышу,

как шум земной рождается во мне
и разрывает плоть,
как убивает
и воскрешает вновь,
как заполняет
собой меня всего,
чтобы второй раз
дать мне этот мир.

У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕ

Все ушли уже.

А я остался.
И со мною этот шкаф без книжек,
эти две багряные гвоздики,
это белое окно напротив,
что кресты отбрасывает на пол,
этот лист больничный,
на котором
бешеная кровь моя чертила
пики гор и бури океанов.

Все ушли уже.
А я остался.
Недвижим и одинок остался,
и под лихорадочными веками
светят две багряные гвоздики.

Я молчу:
ведь у меня здесь все есть.
У меня есть вы,
воспоминания.
Вы,
умерших и живущих лица,
вы,

друзей и недругов улыбки,
вы –
подобно лезвию кинжала –
руки беспощадные и нежные.
Есть
прощания мои
и встречи,
взлеты в небеса
и низверженья,
шрамы есть на теле
от укусов
ядовитых
и от поцелуев,
от оков,
разорванных и новых.
Все со мной.
И я лежу спокойно
с мудростью спокойною деревьев,
что склонились от плодов осенних.

Благодатные воспоминания!
Все ушли.
Но вы не уходите,
вы останьтесь,
чтоб ожить сумел я,
чтоб сумел я
на ноги подняться.
Страшно мне,
когда вы не со мною.
Страшным станет
этот шкаф без книжек,
комната
и белое окошко,
надо мною черный крест подъявшее,
и лицо мое вдруг станет страшным,
если от него вы отойдете.

Все ушли уже.
А я остался.

Комнату наполнили гвоздики.

ПРИГОВОР

Чтоб жить я мог,
должно во мне хоть с болью,
но непрестанно что-то умирать.

Приговорил я к смерти
через неприязнь
приятельства,
продажные в несчастьях,
и вас, знакомства,
что толпой незванной
на трапезу моей души собрались.

Приговорил я к смерти
через равнодушие
обманчивость заманчивых желаний,
большие рабства –
что я сам же создал –
у мелких целей
и людишек мелких.

Приговорил я к смерти
через недоверие
святые лжи,
в которые я верил,
из станиоля сделанные солнца,
что я за подлинные солнца принял.

Приговорил я к смерти,
чтобы жить.

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

Рассвет. И вырвались из ночи,
как из туннеля, шпалы в ряд.
И ты за шторой дымных клочьев
предстала вдруг, в заре горя.

Ко мне, в окно купе, с разбегу
летели искры и ветра,
поля, кончавшиеся небом,
и рощи, черные с утра,
и в лужицах морозных льдинки,
где кровь рассвета вдруг блеснет,
и мирный дым над луговинкой,
где вьют березы хоровод,
летели девичьи ладони,
какой-то желтый грузовик,
с ведром на вымытом перроне
мелькнула женщина на миг,
стена летела заводская,
столбы, солдаты и мосты,
кусочек неба с птичьей стаей...
Да, это ты, да, это ты.

Величественна, ты умела
простой и доброй быть вдвойне,
озерами, искрясь, смотрела,
лесами ты махала мне,
весь край, весь мир навстречу мчался —
попробуй кто, останови,
и пар горячий мне казался
дыханьем радостным твоим.
Мелькнувшим верстам затеряться
не суждено в далекой мгле:
ты шла ко мне, чтобы остаться
навек и полностью во мне.

ЖЕЛЕЗО И НЕЖНОСТЬ

Распят я был
меж нежностью и сталью.

Стальные люди
шли ко мне, давали мне советы:
– Сделайся стальным.
Вставь в свои глазницы две свинцовых
капли.
Язык свой преврати в кинжал.
Не руки людям протяни –
стальные молоты.
Закройся наглухо, как дверца сейфа.
Воздвигни дом железный,
поставь меж стен его
железных птиц,
железные цветы,
железные слова.
Остынь и очерствей,
дави на все вокруг –
и будешь ты всегда неуязвим.

А я был слаб.
Беспомощными были мои руки
в оковах.
С прозрачными мечтами
и невечной плотью,
я был всегда подвержен
ударам,
ласкам,
грабежам,
сомненьям,
состраданью.
Был так несовершенен,
что проходили сквозь меня
и молнии, и солнца,

так открыт,
что никогда железо
не могло достигнуть сердца моего
(конечно, кроме пули).
Был очень слаб.

– Уйдите же, стальные люди, – я шепнул.

Но не ушли они.
Была их мощь огромной.
Спасти меня они хотели
от слабости моей.
Медленно приблизившись ко мне,
ловили мои руки,
любовно переламывали их,
прижав меня к груди,
расплющивали нежно,
доброжелательно топтали,
подмять стараясь
под себя.

Я корчился в объятьях беспощадных,
я леденел от этих ласк железных,
я кричал.
Мне было больно.
И по лицу стекали слезы.
Я не увидел,
как одна слеза
упала на их сталь
и как сверкающий металл
покрылся
ржавчиной.

В. АНДРЮШИН

КСЕНИЯ ГОДУНОВА

В темном, темном тереме
Теплятся лампады,
Теплятся лампады,
Светятся оклады.
У икон старинных
Золотые ризы.
Мамки, няньки Ксении
Молят о спасении,
А царевна Ксения,
Дева синеокая,
Молится о здравии
Государя-батюшки.
В ризнях слышно пение:
Патриарх с боярами,
Со свечами яркими,
Государя скорбного
Облекают схимою.
Смертью все овеяно,
Нет ему спасения.
Причитает Ксения
На коленях с Федором:
– „Вы пустите к батюшке, –
Не пускают вороги
Шуйские и Глинские...
Ах Ты, Боже, Господи,
Тройца многоликая,
Не оставь Ты сирот нас

Рукопись получена из Самиздата. – Ред.

Без отца родимого,
Не сведи с расстригою:
Он зарежет Федора,
Пострижет в монашенки
Меня, деву бедную.
Не хочу увянуть я
Черной черноризкою,
Чтоб над нами тешились
Шуйские и Глинские.
Без любви, без радости
Не хочу я жить,
Чтобы в темных келиях
Весь свой век тужить...”

А народ на площади
Варится, как варево,
Над Москвой кровавое
Распылалось зарево.

И гудят над городом
Звоны колокольные,
И со страхом крестятся
Люди богомольные.
Снова Русь тревожится,
Нищая, разутая,
Снова по распутиям
Бродит время смутное...

ЛЕГЕНДА О КОЛОКОЛЕ

Над бурной Волгой мчался грозный шквал,
Дымились дымы, зори багровели,
На отмелях вскипал вспененный вал,
И ветры над просторами ревели.

На звонницу народными руками
В тот день был поднят медный богатырь,
Чтобы звенел и пел под облаками,
И не дремал властитель высоты.

Звенел и пел над Русью он века.
Был как пророк, великих дел предтеча,
Свободен был, как небо, как река,
Как в Новгороде пламенное вече.

Вблизи он видел полчища Батыя,
И перед ним шли Грозного полки,
Ермак всходил на плёсы золотые,
И Разин плыл по быстрине реки...

На торжество, на битву он сзывал,
Он облегчал страданья и недуги,
Он путнику в дороге помогал,
Был перед смертью утешеньем друга.

Его на медь царь Петр не переплавил,
И в плен Екатерина не взяла,
Но эта ночь последняя без славы
Для колокола роковой была...

Сюда явился человек безвестный
И сонного он сбросил в глубину,
И колокол со стоном мчался в бездну,
Со стоном канул в волжскую волну.

Теперь давно он воздух не колышет,
Неслышимый уже вечерний звон,
Но говорят, его на Волге слышат –
Как много дум наводит он...

Григорий РЫСКИН

Педагогическая комедия

Записки советского учителя

ВСТУПЛЕНИЕ

Я встречал бывших своих учеников на платформах электричек и в очередях, и за рулем автобуса, и за прилавком магазина, и даже в церкви на амвоне, в облачении священнослужителя. В их словах, обращенных ко мне, звучало уважение, порою любовь. Став учителем в неполных двадцать два года (в 1959 году), я не сетовал на судьбу, потому что *школа* – мое призвание, потому что на уроках русской литературы, в общении с моими учениками, я обретал душевное равновесие.

Но шли годы, менялась общественная ситуация, менялись ученики, изменился я. Когда личность моя росла и развивалась, когда были еще иллюзии и надежды, – тогда можно было пребывать в состоянии затяжного компромисса: говорить порой полуправду, четверть правды, осьмушку правды, проповедовать не то, что исповедуешь. Но со временем почувствовал я болезненную, тканевую свою несовместимость с *наробразом*.

„Смири гордыню, – говорил я себе, – ступай в школу, возделывай ниву человеческих сердец".

Но как ни клади руки на плуг, как ни выворачивай лемех, а все плевелами, все чертополохом засевается поле:

роман А.М. Горького „Мать" – произведение соцреализма;

В. Маяковский, поэма „В.И. Ленин";

М. Шолохов, „Поднятая целина";

XXV съезд КПСС о вопросах литературы и искусства;

Брежнев, „Возрождение", „Малая земля".

Все ложь, все бесовщина, – и Павлик Морозов со стены.

А ведь может под сурдину и правда зазвучать. К примеру, на уроках по Толстому, Достоевскому, Щедрину. Но заложенное тобой неизбежно прорвется в сочинении, в устном экзаменационном ответе, в домашнем разговоре с родителями. И навострится ухо недреманное, поворотится в твою сторону недреманное око. И станешь ты изгоем гонимым, как стал гоним я в последние годы моих наробразовских блужданий. Проблуждав двадцать лет по кругам наробраза, я ушел в изгнание.

... В *Вене,* рядом с моей гостиницей, – школа. Когда я однажды проходил мимо, девочки-австрийчки с хохотом окружили меня (они одеваются здесь совсем как взрослые дамы) и протянули раскрытую коробку конфет:

– Угощайтесь. Сегодня мы угощаем всех.

Я взял шоколадку и, разжевывая на ходу, почувствовал нестерпимую горечь. Глаза наполнились слезами: конфета была с перцем.

Нет, я не обиделся на девочек-австрийчек. То был мне *знак свыше.* То была горечь изгнания.

Как смягчить горечь изгнания? *Трудом.* Трудом во имя русской школы. Это скромное мое сочинение – только вступление, только начало.

И я повторяю сегодня вслед за священником о. Дмитрием Дудко:

„Если это дело *Божие,* что я затеял, – пусть устоит, если плод моего сомнения и гордости – пусть рушится".

А я бедняк, я печальный человек, я полон надежд и тоски по свободным людям.
Андрей Платонов.

Он встретил меня у болота:

– Разопрели небось шедши?

Он весь состоял из хрящей: уши – два огромных хряща, нос – длинный, тонкий хрящ. Он напоминал вставшего на хвост осетра. Жена директора тоже напо-

минала рыбину, но широкую, мясистую. Разливая по стаканам чистый, как слеза, первач, спросила:

– А как будет порт во множественном числе: порты́ или по́рты? – Она была учительница начальных классов и, видимо, решила проэкзаменовать нового „русоведа".

После обильного обеда меня уложили на матрасик, под старым, ветхим вязом. Проснувшись, с ужасом обнаружил: лежу на погосте, среди безымянных могил.

В центре села зарастали репейником развалины растащенной на кирпич церквушки, подле догнивала колхозная телега. Село называлось Николо-Пустынь, Погорельского района. Председатель был пенсионер-энтузиаст, приехал из Москвы лечить аденому беготней на свежем воздухе.

Определили меня в избу к громадной молчаливой старухе с бульдожьими щеками. По праздникам, нахлеставшись самогону, старуха матерно ругалась, била смертным боем хилого своего старика:

– У, чудила непрокая, позабыл, чай, как с маткой на пару меня топтали...

Всю зиму кормила щами с солониной; солонина была с сильным душком, – я люто страдал изжогой.

Директор, в прошлом бухгалтер, вел химию и никак не мог отрешиться от бухгалтерского подхода к педагогике: требовал величайшей аккуратности при составлении отчетов, делал мне внушения за скверный почерк, выносил выговоры за небрежные записи в журнале. Надев бухгалтерские нарукавники, аккуратнейшим образом расчерчивал графы ведомостей поклассной успеваемости и вручал нам с тихой улыбкой идиота. Он терзал ребят „химическими диктами". Войдет в класс и диктует: кальций, натрий, хлор...

Ученики должны были обозначать элементы химическими знаками.

Я был чужак. Сельские педагоги жили хозяйством: говорили о стельных коровах, об опоросе. Учительница немецкого сильно смущала меня своим произношением: вместо „артикль", говорила „артикель", языку нигде не училась, приходилась Осетру свояченицей. Немецкий был второй моей специальностью. Поначалу его поручили было мне. Но на первом уроке я сильно перепугал сельских ребятишек, заговорив на иностранном языке. И Осетр возвернул мои часы свояченице. Мне было уже все равно. От пережитых потрясений у меня подскочило кровяное давление.

После первого выпускного экзамена Осетр вручил мне пачку школьных сочинений. Пододвинул авторучку с фиолетовыми чернилами. Я понял многозначительность его жеста.

Осетр: Двоек быть не должно, слышите?

Я: Но ведь у них по двадцать ошибок в каждом третьем сочинении!

Осетр: Выправить до нормы фиолетовыми чернилами, и все тут. Все так делают, будто не знаете.

Я: Не стану жульничать.

Осетр: Плохо работали, товарищ учитель, вот и двойки.

Я: Но ведь тут ликбез нужен. Они правила безударных не знают, черт возьми!

Осетр: Вот и занимались бы с ними дополнительно после уроков.

Я: Вы требуете подвижничества. А я желаю после уроков журнал „Вопросы литературы" почитать.

Осетр: Тогда делайте, как все. Ах, не хотите? Я вызову вас из отпуска и заставлю заниматься с отстающими. Слышите? Заставлю!

Я: Но почему вы их присобачиваете мне? Тут система очковтирательства!

Осетр: Так, значит, говорите – система...

Я: О, Господи, я на все согласен.

Я бежал из Николо-Пустыни на рассвете, сопровождаемый печальной одноглазой дворнягой по кличке Кубырь. На железнодорожной станции она залезла под вагон, видимо, желая покончить с собой...

Через два месяца я приземлился в ашхабадском аэропорту. Вдали вставал фиолетовый Копетдаг.

– Будешь преподавать немецкий в туркменской школе, – сказал зав. гороно Куляев, подставив под прохладу вентилятора лоснящееся самодовольное лицо.

Я знал по-туркменски лишь *йок* и *огур*. Ребята едва понимали по-русски. Туркменские девочки в красных до пят платьях и мальчики в бараньих тельниках ходили по классу, изрыгая в мой адрес проклятья на родном языке.

– Э, ялдаш, смотри, как надо, – сжалился надо мной мой друг Баба́, учитель физкультуры.

Баба́ вызвал к доске шалуна с головой, похожей на дыню гуляби. Размахнувшись, ударил по дыне, как по волейбольному мячу при подаче. Голова оставила вмятину на классной доске. Из антрацитовых глаз хлынули слезы. Слышно было, как шуршат Кара-Кумы за школьными дувалами. Так и не научившись бить по головам, я покинул мекдеп.

Но и в следующей школе я чувствовал себя участником грандиозной комедии под названием *„всеобщее среднее образование"*.

– Поздравляю вас, дорогие товарищи, поздравляю, – говорил на очередном собрании директор, не-

ловко лицедействуя. – По предварительным подсчетам успеваемость за полугодие – 93 процента, худшая в районе...

– Но ведь процент и так значительно завышен.

– Они ж учиться не желают.

– Целые классы паразитируют.

– Уверены: тройку все равно поставят.

– Это ж разврат.

– Процентомания.

– Не подумайте, товарищи, что я оказываю на вас давление, но помните: каждая двойка, поставленная ученику, – это двойка, поставленная учителем самому себе.

Кому же хотелось ставить двойку самому себе? И учитель литературы „дотягивал до тройки" сочинение, выправляя собственноручно ошибки ученика, а математик, предварительно решив задачу, незаметно пускал по рядам шпаргалку или просто подсказывал. И это повторялось во всех без исключения школах в течение двадцати лет моих блужданий по кругам наробраза.

ШКОЛА НЕ ПО РАНЖИРУ

И все-таки была в моей педагогической судьбе счастливая полоса... То была школа, поставленная не по ранжиру. Какой-то чудак-строитель взял да и развернул ее задворками к громыхающему шоссе, окнами в природу. Взял да и развернул, – на свой страх и риск. За широкими чистыми окнами открывалась долина, облагороженная екатерининским липовым парком. Слева, за старинными вязами, сохранились еще очертания ипподрома, описанного Толстым в „Анне Карени-

ной". А там, за холмами, начинались лицейские пушкинские парки. Весной в долине гремели соловьи. Зимним морозным деньком остановишься на уроке у окна и не в силах оторвать глаз от аристократов-дерев, одетых в серебристый каракуль.

Все в этой школе было не по ранжиру: здание не по ранжиру, учителя не по ранжиру, директор не по ранжиру.

Он отменил ненужную, оглупляющую наробразовскую писанину. Он постоянно взывал к нашему чувству человеческого достоинства:

– Дорогие товарищи шкрабы, неужели не понимаете, что план самообразования, подаваемый начальству, есть самоунижение? А почему бы в таком случае не потребовать план вашей интимной жизни?

– Не остроумно, – возмущалась заматерелая в девичестве математичка Евдокия Петровна, проходившая полжизни в наробразовском хомуте. – Доиграетесь вы со своим либерализмом, Леонид Валентинович, доиграетесь. Это я вам как учитель с двадцатипятилетним стажем говорю.

– Мудрость, уважаемая Евдокия Петровна, – это не морщины, а извилины, а я ведь то́ имею в виду, что ежели нет в человеке потребности в общении с книгой, планы не помогут.

Он был фанатик-книгочей, заражавший книжным безумием коллектив. Засядет с пиалушкой коньяку в своем кабинете и, отхлебывая, пирует над каким-нибудь „Наполеоном" Манфреда.

Он не устраивал грандиозных мероприятий, не перестраивал парадных интерьеров, но постоянно, всеми правдами и неправдами, добывал книги для школьной библиотеки и кабинетов.

– Страсть как не люблю этого словосочетания *кра-*

сочно оформленный. Нам не нужны красочно оформленные кабинеты. Предметный кабинет – это приборы, книги и прежде всего – *интересный учитель,* все остальное – показуха.

И мы все: и ребята, и учителя, – души не чаяли в нем.

– Только и делаю, что достаю для этого субъекта очки, – говорила хорошенькая англичанка Софочка, выкладывая перед ним новые, только что добытые по блату очки в модной иностранной оправе.

– Я вам не субъект, а директор. А почему это в новых очках я более отчетливо воспринимаю мир? Как говорил пушкинский Пимен: на старости я сызнова живу.

– Еще бы! Так ваши – сплошь в отпечатках пальцев. Послушайте, директор, скоро у нас открывается баня, сходите в баню, промойте очки.

Да неужели и в самом деле не было в той школе уроков-спектаклей, разыгрываемых для начальства, процента успеваемости показушного? Спектаклей не было, процент был. Но лишь под занавес учебного года разрешалось тройки натягивать. Ну а как же высокостоящие шкрабы? В конце каждой четверти секретарша Леночка относила в роно „липу". И не смел теперь вконец развращенный, обнаглевший двоечник заявить:

– Тройку все равно поставите.

– А вот и не поставлю.

И выставляли ему железной рукою *двойку,* и приходилось нахалу пошевеливать извилинами.

Немало все-таки и от каждого конкретного человека зависит. Ведь были же в самом деле во время разорительной кукурузной кампании хрущевской председатели колхозов, так и не распахавшие под кукурузу

бесценные российские клеверица и славшие в центр победительные кукурузные реляции.

То были времена, когда мы жили еще настроениями послесталинской оттепели, когда можно было принести в класс „Новый мир" и читать в открытую „Ивана Денисовича", „Случай на станции Кречетовка". А.И. Солженицына. Я видел слезы на глазах моих учениц, потрясенных судьбой гениально выписанной крестьянской праведницы Матрены. То были времена, когда можно было безнаказанно провести урок внеклассного чтения на тему: „Владимир Высоцкий – поэт, певец, гражданин". Я мог употребить на Ф.М. Достоевского не девять положенных по программе часов, а девятнадцать, и это сходило с рук, потому что на экзамен по литературе в мой десятый приходили и директор, и завуч, и учителя, и из роно приходили. И не для контроля совсем, а чтоб насладиться. И в самом деле, немало замечательных ответов было и сочинений. А потом – выпускной вечер, столы, уставленные шампанским (тогда еще не запрещенным наробразовскими ханжами), прогулки белыми июньскими ночами по набережным Невы.

Была ли у меня своя особая методика? Нет, не было. Я учил ребят следить за движением мысли и чувства автора. Учил чувствовать и понимать, чтоб не были они „больны непониманием, больны нечувствием".

Но ударили первые „заморозки", и бесследно исчез наш нетипичный директор, тридцатилетний человек с громадным лысеющим лбом, с сосульками русых волос, свисающими на воротник, с толстыми линзами, сквозь которые просвечивал человечный взгляд, не замутненный ложью и глупостью. После его исчезновения выяснилось вдруг, что был у него в райкоме свой человек, могучая родственная рука, отводившая от нас

всяческие беды. И пусть будет благословенна та рука, подарившая нам этого чудака, украсившего целых четыре года моего наробразовского бытия.

А вскоре свалилась на нашу голову пятидесятилетняя молодящаяся Лорелея, по фамилии Растягаева, с рыбьими злыми глазами, с поддельным золотом волос.

– У меня к вам претензия, – выговаривала мне Растягаева, встречая на школьной лестнице поутру. – Вчера, во время встречи с поэтом, как там его, с Кушни́ром (она имела в виду Александра Ку́шнера), была сорвана штора, всего на двух прищепках держалась.

– А я-то думал, вы меня за инициативу похвалите.

– Инициатива инициативой, а исполнительность и аккуратность тоже нужны. Вчера просмотрела журналы. Впервые встречаю литератора с таким скверным почерком.

Она сорвала паруса, срубила мачты, превратила крылатую шхуну в невольничью галеру.

Она потребовала: тематические и календарные планы, планы воспитательной работы и планы по самообразованию, планы контрольных работ и планы внеклассных мероприятий.

– Товарищи, сдайте на проверку поурочные планы, – говорила она таким голосом, каким работник ОБХСС уличает проворовавшегося продавца мясного отдела.

Мы пробовали бунтовать, но безуспешно. У Растягаевой тоже была *рука,* но уже где-то в исполкоме. На мою беду она была еще и литератор.

– А почему вы не отражаете на уроках внеклассного чтения три генеральных направления нашей литературы?

– Какие же это?

– А вы что, не знаете? Тема труда, тема войны, ленинская тема.

Дотянув кое-как до конца учебного года, я подал заявление об уходе. Года через три я как-то заглянул в школу, в которой испытал когда-то счастье свободного педагогического труда.

– На педсовете ни одного человеческого лица, – жаловалась мне добродушная, круглая, как шар, географичка, по кличке Глобус. – Все поразбежались. Одна я осталась. Дотягиваю до пенсии. Ни одного человеческого лица. Вместо лиц – одни ж....

* * *

Взгляните, ребята: за окнами школы
Веселыми белками скачут глаголы,
И легкие стайки причастий шуршащих
Витают в осенней осиновой чаще.
Какое везенье, какая удача!
Стеклянная школа и роща в придачу,
И это сиянье, и это свеченье
На лицах ребячьях и на сочиненье.
Но вот из-за насыпи по бездорожью,
Весь в глине, с рычаньем своим носорожьим,
Бульдозер пошел на светящийся лес
С ножом окровавленным наперевес.
И режет, и рубит, вконец разъярясь,
И падает, падает золото в грязь.

И сумрачны лица, и сбивчивы речи,
И рушится правилом мертвым наречье.

„ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАЙ"

Про таких говорят: „круто стоит чувак[1]". Еще учась в пединституте, пристроился Алик на кладбище могилем, по пятьсот в месяц на жмуриках[2] заколачивал. И парень вроде неплохой, не продаст, а как-то одиноко с ним. Алик всегда бодр. Душа его не знает полутонов и модуляций. Но Алик – поэт. И странное дело, одновременно с шинельной одой о тракторе К-701, напечатанной в молодежном журнале, сотворил „честные стихи, не для печати". Видимо, наша жизнь и в самом деле выработала породу людей, уютно чувствующих себя в разных ее измерениях.

Так вот этот самый Алик, учитель истории, поэт и могильщик, поведал мне:

– Оптимальный вариант наробраза – тюрьма. Верное дело, старик.

– Но почему тюрьма?

– Да не сама тюрьма, а зэковка, средняя школа для малолетних преступников. Пойми, у зэка-малолетки стимул есть. Бывает, самый отпетый двоечник, на него в обычной школе уж рукой махнули, а в зэковке в отличники выходит, потому как стимул. Будешь хорошо учиться, скорее на волю выйдешь. Понимаешь, система очков. За отстающего всему отделению очки сбавляют. А нет очков – свиданки с родителями нет, посылок с воли нет, всяких зэковских благ. Вот все отделение на двоечника и давит: исправляй двойку, сука, а не то по стенке размажем.

– А дисциплина? Небось *содом?*

---

1 Чувак – парень.

2 Жмурик – труп.

– Никакого тебе содому. А борзанет[3] кто – пиши докладную: такого-то прошу суток на десять определить в дисциплинарный изолятор, *дизо* называется. Бетонный пол, холод собачий, а чуть борзанешь, *цырики*[4] и врезать могут, у них не задержится. Из *дизо* зэк приходит притихший, бледный. Отогреется, руку тянет: „Спросите, гражданин учитель". Пойми, в каждом деле стимул нужен.

– Ну а классное руководство?

– За тобой, разумеется, класс закрепят: заполнишь журнал, проведешь беседу. Но, во-первых, класс не то что в обычной школе: всего десять-пятнадцать рыл, разве что накануне амнистии под завязку набьется. Но в основном с ними лейтенант-воспитатель занимается. Он тебе их приведет и уведет. Полный порядок.

– Так ведь это ж педагогический рай!

– А ты думал. Я ведь самого главного еще не сказал: у нас двадцатипятипроцентная надбавка, плата за страх вроде, но страха-то никакого нет. Из зэковки учителей на пенсию не выгнать, зубами за место держатся.

Меня взяли...

* * *

Вот шрамами изрезаны,
Вбивают гвозди-взгляды,
Как будто в масках цезарей

---

[3] Борзеть – наглеть.

[4] Цырик – контролер, тюремный надзиратель, сержант или солдат войск МВД.

На школьном маскараде.
С фамильями, нашитыми
На зэковских ХБ,
Идут ребята битые.
И холодно тебе...
Идут, стучат бахилами.
Такие, брат, дела.
А может, книжность хилая
Все это наплела?
Про взгляды и про лица
Мальчишек-колонистов?
Скажи мне, что таится
За этим лбом когтистым,
За этою нашивкою
На зэковском бушлате?

– Отряд, поздороваться!
– Три-четыре!
– З-з-з-драсьте!

За городом, среди болотистого мелколесья, средь дымных труб заводских затерялась ВТК – воспитательно-трудовая колония. По разбитому бездорожью, утопая в жидкой грязи, брел я мимо смрадных дымящих свалок к вратам *„педагогического рая"*, окруженного трехметровым железобетонным забором. А заборов всего шесть. Да проволока-путанка, да сигнализация, да овчарки-звери меж двух заборов срединных днем и ночью пробежку делают.

– Ну как там на воле, за шестью заборами? – спросит иной зэк.

– Да все по-прежнему.

– Все по Брежневу.

Скажет и осечется. Фуганков[5] забоится.

---

[5] Фуганок – тюремный доносчик.

Здесь все как в черно-белом фильме, что в сельском клубе показывают: грязен экран, сбит фокус, киношник пьян. Два серых четырехэтажных, рыхлой кладки, здания. В них общаги отрядные, школа да ПТУ (профессионально-техническое училище). Поодаль – столовка одноэтажная под шифером, клуб да цеха: в них зэки игрушки детские срабатывают. Стройка, видать, недавно кончена: всюду из земли арматурины стальные торчат, железобетонные перекрытия, трубы. А средь хаоса этого – зэки, в серых ХБ выцветших (пиджак да брюки), в сапогах-керзянках, на стриженых головах пилотки, на кармане нагрудном – ленточка с фамилией, чтоб сразу видно было, на кого за нарушение бумагу строчить. Сидят отрядами, как галки серые. А кто пройдет из вольных, вскочат, пилотки сорвут:

– Отряд, поздороваться! – гаркнет бугор[6]. – Три-четыре!

– Здрасьте! – гаркнут не в лад зэки.

Странная, ей-Богу, процедура. Идешь по зоне – все шесть отрядов тебя обгаркивают.

– Для порядка нужно, – объясняет замполит. – Дисциплинирует.

Бывало, когда отряды вот так во дворе сидят, и ходить-то по зоне не хочется. Все норовишь сторонкой прошмыгнуть, незаметно.

Через неделю – в школу. Пацаны не так чтобы очень жаждут. А все жизнь в порядок войдет. А то слоняется зэк после работы, курит до одурения, дремлет. Уж больно медленно время тянется. В школе время быстро летит, да и учитель, глядишь, чего-нибудь интересное скажет. В неволе человек торопит время.

---

6 Бугор – активист, командир отряда, отделения.

Пока уроки не начались, директор, Электрон Донатович (тоже имечко родители придумали), прикомандировал ко мне двух пацанов – мелкую всякую работу делать: столы железными угольниками закрепить, „классные уголки" подвесить, рамы оконные намертво к подоконникам приколотить, чтоб зэки не отпирали, на волю не глазели. Все в этой школе, как в обычной, вот только решетки железные на окнах, стекла, что́ на волю глядят, белой несмываемой краской замазаны. И вот еще что: все в школе ребята быстро и споро делают, что ни скажи. И время в работе быстро летит, и поощрение заслужить можно.

А поощрение – оно здесь в зачет.

На одного моего помощника я обратил внимание: уж больно ловко шурупы отверткой заворачивает, молотком бьет без промашки. Сам квадратный, упористый, без пошатки. Лицо простое, будто плотницким инструментом рублено. На ленточке аккуратными круглыми буковками – „Иванков Коля".

– А как сюда попал, Коля?

– Разрешите перекурить, гражданин учитель?

– Кури.

– Пскопцкие мы, скобари. Под Питером всего год жили. Матка у меня неродная, злая больно. Вот и убег из дома. На хлебозавод грузчиком пошел. Стащили с дружком ружье по пьяному делу. А там, вокруг хлебозавода – ограда да сторожевая будка застекленная. Друг мне и скажи: „Хошь на́ спор, а в будку не стрельне́шь, слабо́ тебе". – „Не слабо́", – говорю. – „Нет, слабо́". Ну, долбанул из двух стволов. А там бабка-сторожиха. Царство ей небесное.

* * *

Неужто Муза не посмеет
Войти в бетонный теремок,
Где небо – в клетку и замок
Мизинцем открывать умеют,
Где лязгает стальная дверь
На электрических запорах,
И даже днем матёрый зверь
Прогуливается меж заборов?
Как хорошо, что ты ему
Невидима.
Вот входишь робко
Сквозь все бетонные коробки
Со мною об руку в тюрьму,
В пределы детской ВТК.
Сюда привел нас путь окольный,
Я буду здесь учитель школьный,
А ты передохни пока,
Вглядись внимательно, до боли
В холодные немые лица.
Звенит звонок в тюремной школе,
Как и повсюду, от границы
И до границы, школьный день
Вступает в класс с букетом ярким,
И пограничная овчарка
Бежит на поводке, как тень.

ТЮРЕМНЫЕ ТИПЫ

Володя – бугор. Гордая жестокость в глазах. За малейшее неповиновение хватает чухана[7] железными пальцами за уши. Резкий рывок, удар коленом снизу. Нос несчастного чухана расплющен. Но неповинове-

[7] Чухан – униженный, забитый малолетка-зэка.

ние – редкость. Поведет Володя бровью – чухан, стуча керзянками, бежит с ведром и шваброй.

Луговской – вор-философ. Уроки в девятом Б напоминают турнир, на котором Володя выбивает меня из седла.

– А помните, гражданин учитель, текст, который Емелька Пугачев Гриневу говорит? Скорешились это Орел и Во́рон-птица. – „Здоро́во, Орел". – „Здоро́во, Во́рон-птица". – „А скажи мне, Во́рон-птица, отчего ты живешь на свете триста лет, а я – тридцать лет и три года?" – „А потому, что ты, фраер жеваный, пьешь живую кровь, а я всякую падлу клюю". И решил орел питаться мертвечиною. Клюнул раз, клюнул другой, да и говорит: „Нет, я буду лучше тридцать лет пить живую кровь, чем триста лет всякую падлу клевать".

– Так вот оно что...

– Не перебивайте, гражданин учитель. Будет и вам слово дадено. Вот мне говорят: будь рабочим, труд украшает. Обхохочешься. Едет это утром работяга, морда сизая с перепою. Горб гнет за сто пятьдесят, отпуск – две недели. А я подломлю магазин да в Крым на все лето. Гуляй, Гаврила, по буфету. Халдеи[8] ресторанные предо мной на цырлах. А вас в ресторан-то и не пустят. Для вас – все места заняты. А меня пустят. А чуть что, я из новенького портмоне – червонец хрустящий, поплюю да на лоб швейцару. Куда денется? Король тот, у кого в кармане...

Что мне противопоставить ему? Мертвые слова из газетной передовицы? Нагорную проповедь Христа? Володя Луговской твердо усвоил: честный человек в нашей стране остается в дураках. Если ты честен, живи в коммуналке на свою сотню (мы живы потому, что

---

[8] Халдей – официант.

еще не умерли), а торгаш и прохиндей даст кому следует на лапу, купит кооператив и пойдет увешивать потолки тысячными хрустальными люстрами.

У тебя есть принципы – так ходи в скороходовских говнодавах, в унылых портках фабрики „Большевичка", а блатмейстер, работник ОБХСС, генеральский сынок, дочь партийного чиновника – будут гулять в „джинсе" и дубленках, купленных в спецмагазине или добытых через заднепроходное отверстие торговли.

Ты человек с умом и сердцем – так прозябай же безвестным клерком в НИИ, наживай высокое внутричерепное давление за школьными тетрадками, обходи стороной ресторан, в котором гуляет нынче обнаглевший Смердяков. Ведь именно ему, лакею и хаму, отдана на откуп вся сфера обслуживания, на откуп корпорации воров.

– А не лучше ли тебе, Володя, переквалифицироваться в бармены?

– Лучше-то оно лучше, да за место бармена больно много нынче на лапу требуют. Вору за один-то раз и не заработать.

...Через пару лет я встретил очень похожего на Володю парня за стойкой таллинского *Мюнди-бара.* Бармен был его двойник. А может, это и был Володя, ставший за эти годы еще умнее. Глупец, зачем подламывать магазины, когда можно просто чуть-чуть недоливать в коктейли.

Ведь именно он, бармен, коллекционер дорогих книг и картин, друг эстрадных певцов, „почетный гражданин кулис", стал нынче героем времени. Да и само слово *бармен* окрашено в барственно-бархатные тона. Вот он стоит за стойкой таллинского Мюнди-бара и вежливо презирает меня.

Володя – вор с нахрапом, вор с философией. Иное дело – Сережа. В шестнадцать лет овладела Сережей Стручковым тяга к скитаниям, охота к перемене мест. Родители у Сережи непьющие. Бабушка заботлива до навязчивости. По пятам за единственным внуком ходила. А все ж сбежал, подорвал, рванул когти. По первости милиция возвернула. А уж когда второй раз рванул, целый год искали. А через год бумага из тюрьмы следственной пришла.

Тут есть психологическое объяснение – „реакция эмансипации", свойственная многим подросткам: нежелание быть под контролем, нести обязанности. Побег – как выход – путь к легкой, полной приключений жизни. И стал Сережа вором-гастролером.

– А у меня бабушка ключик под резиновый коврик клала, ну, знаете, коврик такой у входа. Как-то поехал я в новый микрорайон, стал ключик под ковриком искать и, представьте, нашел. Дверь отпираю, а там вазочка фарфоровая на буфете, а в вазочке – сто пятьдесят рублей. Деньги – в карман, дверь – на замок, ключик – под коврик и в Ялту.

– И что ж, целый год вот так и странствовал?

– Целый год. Интересно было.

– Так у тебя небось за целый-то год и почерк свой выработался?

– А я все по первым этажам, выше не поднимался. Дверь изнутри запру, на кухне окно растворю, чтоб в случае чего рвануть, холодильник распахну, поем, а то и выпью.

– Ну а деньги?

– Уж я знал примерно, где люди деньги держат: в вазочках, в чайничках всяких, на полках кухонных, а то в шкафах платяных, под бельем, в ящиках выдвижных. Однажды пятьсот взял. Подломлю квартирку – и

на вокзал. Билет – только в спальный вагон. Одежда на мне фирма́, шуйз-фирма́, портфель – типа дипломат.

– Ловко же ты однако.

– Как-то дверь отпираю, а там мужик сильно поддатый на диване лежит. Глаза на меня вылупил: „Ты кто?" – „А ты что ж, керя, друзей не признаешь? Ведь пили вместе". – „Ну-ну". И заснул керя. А попался по-глупому совсем. В скором поезде Москва-Таллин попался. В одном купе с девушкой такой симпатичной еду, только она вышла, я шасть к сумочке, сто пятьдесят рэ в карман кладу. Это ж у меня болезнь такая выработалась воровская. А девушка (она как предчувствовала) вошла – и к сумочке. „Верни деньги". – „Не брал". – „Верни деньги". Мне б, дураку, сразу и вернуть. Мол, извините, бес попутал. А я уперся. Не брал, и все тут. Девушка – к проводнику, проводник – к бригадиру, бригадир – к ментам[9]. А поезд как раз к Таллину подходит. Меня и повязали.

Худо Сереже в тюрьме: осунулся, пожелтел, не принимает душа хряпы тюремной. Да и пацаны не взлюбили: мамкин сын.

Принес мне тетрадку стихов:

– Как будет ваше мнение?

Война, блокадный Ленинград,
И по занесенным проспектам,
Где, опрокинувшись, лежат трамваи,
Идет народ на Невку за водой,
Кто с ведрами, кто просто с миской.
Шли за водой, за пайкою стояли.
Но разве мог помочь блокадный хлеб,
Сто двадцать пять блокадных граммов,
Но город жил и жил тогда

---

[9] Мент – милиционер.

Своей кипучей жизнью.
Там Шостакович написал
Симфонию свою седьмую
И первый раз исполнил там ее.
И на концерт к нему пришли
Все, кто ходить еще умели... и так далее.

Стихи как стихи. Много таких зэки по тюрьмам сочиняют. Что это, стремление „идейность показать"? А вдруг учтут, срок скостят? Нет, Сережа знает: УДО (условно-досрочное освобождение) не в моей власти. Он и в самом деле просто пришел к „гражданину учителю" мнение услышать.

– Сережа, вот ты воспеваешь ленинградцев. Но ведь именно их, тех самых ленинградцев или их детей, ты и обворовывал. Неужели тебе этого в голову не приходило?

– Не приходило.

– А тебе не приходило в голову, что украденные тобою часы, возможно, память о погибшем на фронте отце (в судебном протоколе речь шла о старинных часах-луковице, похищенных Стручковым)?

– Нет, не приходило в голову...

В чем же причина этой отстраненности от собственных высоких мыслей и чувств? Попробуем объяснить странное это явление.

„Сознательно и разумно делать добро я могу только тогда, – писал Владимир Соловьев, – когда верю в добро, в его объективное, самостоятельное значение в мире, то есть другими словами, верю в нравственный порядок. А там, где таковой веры нет, там и возникает „шаткость понятий", – принцип „все дозволено".

Но ведь сказано у Апостола:

„... ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе за-

конное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую" (Рим. 2, 14-15).

Несомненно, что в Сережином сердце „дело закона ... написано". Но отчего же тогда молчат в нем „совесть и мысли"?

Видимо, дело в том, что, внимая с младых лет проповеди о высоких идеалах, о „моральных принципах строителя коммунизма", Сережа наблюдал в действительности попрание всех и всяческих принципов.

„Никакие проповеди, – утверждал Лев Толстой, – не освободят детей от бессознательного безнравственного внушения". Не в том ли причина двойного бытия Сережи Стручкова, вора-гастролера, воспевшего белым стихом подвиг блокадного Ленинграда?

Просматривая следственные документы, я обратил внимание на значительную группу заключенных, которых на скамью подсудимых привела непомерная агрессивность. Они объявили войну всем. Тюрьма для них – лишь вынужденное перемирие, пленение посреди объявленной ими войны. Есть люди, как тигры, жаждущие испить крови.

Володя Житков на тигра не похож. Он добродушен. В отделении у него – все свои, вологодские. Володя – бугор над ними. У вологодских все по справедливости: слабых не обижать, кусков друг у друга не вырывать. Но отчего у этого могучего добродушного парня обнаруживается на воле звериная агрессивность? Вот, прикусив кончик языка, пишет он школьное свое сочинение.

Сочинение на тему: „ЧТО ПРИВЕЛО МЕНЯ В ВТК?"

„Родился я в 1958 году в городе Вологде. Семья у нас состоит из четырех человек. Это отец, мать, сестра и я. Когда мне исполнилось восемь лет, я пошел учиться играть в хоккей, в команду „Чайка". Учился в школе сначала нормально, пока по-настоящему не стал увлекаться хоккеем. Я забросил учебу. Придя из школы, бросал портфель в угол, брал коньки и клюшку, бежал на стадион. Учителя стали вызывать мать. Когда мать приходила из школы, сразу начинала кричать на меня, хватала веревку, но это не помогало, а наоборот злило. Во мне стала копиться злоба. Я вредил учителям как мог. Почти каждую неделю мать бегала в школу по вызову учителей. Чтобы не ругаться с учителями, я стал прогуливать уроки. Так и началась моя блатная жизнь. Меня все время тянуло драться. И мне было все равно, кому достанется, ему или мне. В седьмом классе я начал курить, в восьмом подружился с девчонкой, и меня меньше стало тянуть драться.

Но однажды в восьмом классе мы здорово подрались. Из-за этой драки мы были вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних. Там нам четверым дали штраф по тридцать рублей. Я сначала думал – меня посадят, а когда дали только тридцать рублей штрафу, у меня появилась мысль: если за это не посадили, то за что вообще сажают. После этого я вообще не стал задумываться над тем, что каждая драка ведет за собой уголовную ответственность.

Наступило лето. Все наши ребята стали ходить на танцы, в том числе и я. Каждую почти неделю мы дрались с другими ребятами. И если больше нам доставалось, тем больше в нас кипела злоба, ненависть к другим.

Как-то я разругался со своей девчонкой. Пошел в магазин, купил две бутылки красного вина, выпил и пошел на танцы. Когда я возвращался с танцев, увидел: около моего дома играют ребята на гитарах. Я подошел, взял одну гитару и стал играть. У нас кончилось курево, а рядом проходил парень лет двадцати шести. Он был выпивши . Я у него культурно попросил одну сигарету. Он остановился, посмеялся, кинул в меня окурок, плюнул и пошел. Меня это взбудоражило. Я сказал ребятам, чтобы они оставались на месте, а сам побежал за парнем. Я догнал его и спросил: что блатуешь? А он сказал, чтоб я отошел, не то он мне заедет по роже. И мы с ним стали драть-

ся. Я сшиб его, прыгнул на него. И в этот момент мне что-то воткнулось в руку выше локтя, но в горячке я не обратил на это внимания. После я почувствовал еще один острый удар под правую лопатку. Меня взяла сумасшедшая злость, и я ему расплющил все лицо. После прибежали наши ребята и стащили меня с него. Я попал в больницу. Вскоре у меня эти раны загноились, и я терпел ужасную боль, которой раньше никогда не знал. Мне сделали операцию, прочистили кость, и вскоре я вышел из больницы. Я поклялся себе, что отомщу любому при первой же драке. И когда у меня была эта первая драка, я молотил, как зверь. Мне казалось, что у меня глаза налились кровью. И вот – последняя драка, за которую я получил срок.

Праздник 7-го ноября мы встречали у меня дома: купили вина, мать сделала закуску. Мой друг пришел ко мне с девчонкой. Мы выпили, стали слушать магнитофон. Посмотрели телевизор, опять выпили. Моя девчонка позвала нас на улицу. Но мы отказались. Она выбежала на улицу, я разозлился, схватил нож и бросился за ней. За мной побежали друг и его девчонка. Но все улеглось, и мы пошли гулять. Все прохожие были пьяные. Пока мы шли по берегу, подрались два раза. Во мне все клокотало. Когда мы шли по железной дороге, остановились прикурить. Вдруг мы услышали матерщину, блатные слова, и увидели, что к нашим девчонкам лезут два парня. Мы подбежали, парни стали матюгать нас. Тогда я одному врезал в торец. Он упал и отрубился. Его друг хотел стукнуть меня, но я уклонился и врезал ему. Он замахнулся и опять промазал. Меня трясло от злости, я нанес сразу несколько ударов. Он побежал. Тогда я достал нож и ринулся за ним. На ходу я задел его ножом. Он споткнулся. На лету я еще ударил его. Разъяренный, я отошел от него. Навстречу нам шел пьяный парень. Вдруг он приподнял у моей девчонки юбку и пошел своей дорогой. В два прыжка я догнал его и вырубил с одного удара. Вдруг я увидел, как от дороги бегут еще двое. Видно, его дружки. Я не знаю, откуда взялись силы: первого бежавшего я сшиб сразу, я их метелил как мог. Друг не отставал от меня. Вдруг мне прыгнул кто-то на спину. Ударом под дых я сбил его, но он поднялся и ринулся на меня. Тогда я достал нож и ударил его. В этот же вечер меня взяла милиция. Сидя здесь, я часто думаю: как буду жить, когда выйду на волю. Я чувствую в себе эту ужасную, лютую злобу. Значит, моим преступлениям не будет конца и предела".

Пьяные вологодские джунгли, по которым мечутся двуногие существа, утратившие нравственные ориентиры.

„Специфически подростковые поведенческие реакции", – скажет психиатр. Все это в последнее время получило название „делинквентное поведение" (от латинского слова delinquens – совершающий проступок). Делинквентность подростков обычно начинается с прогулов, уклонения от учебы и работы, за которыми следует нарушение общественных правил.

Зигмунд Фрейд утверждал, что каждому индивиду в любой общественной системе присущи антисоциальные тенденции.

„Современное насилие, – пишет английский теоретик Г. Вильсон, – это в подавляющем большинстве случаев форма невротического протеста личности против различного рода давящих на нас стрессовых фактов и условий социальной жизни, в которой ей часто бывает трудно адаптироваться"[10].

А что же думают на сей счет марксисты? Они считают, что опыт социализма полностью подтвердил предвидение Маркса о том, что общественная собственность на средства производства не только делает невозможной эксплуатацию человека человеком, но и послужит основой ликвидации всех антагонизмов и конфликтов между обществом и личностью. Согласно марксистскому учению, человек, создавая материальную и духовную основу своего бытия, в конечном счете является творцом самого себя. Этакая сюрреалистическая Глина получается: с одной стороны, Глина кладет кирпичи в основание будущего коммунистического общества, с другой, – из себя самой „безантагонистическое",

---

[10] „20th Century". London, 1965, vol. 173, Nr. 1024. p. 25.

идеальное существо лепит. Итак – общественная собственность как основа ликвидации любого антагонизма и всех конфликтов... И это, де, полностью подтверждает опыт социализма. Но где же статистика, показывающая эту забавную закономерность? Впрочем, можно придумать какую угодно статистику, у нас здесь богатейший опыт. Но даже визуальные наблюдения подтверждают: никакой тенденции к снижению антагонизма и конфликтов нет и быть не может.

А вот из сочинения ученика десятого А класса Сергея Ц.:

„Это было 7-го ноября. Вина у нас было много. Я не сдержался, чтобы не напиться до точки. Меня свели домой и уложили спать, но я ушел и по дороге к клубу избил двух мужиков. Меня связали и вновь уложили спать. Но я пришел в буйное состояние. Мне удалось развязать руки и ноги. Я схватил первое, что мне попалось под руку. Это был утюг. И я пошел с утюгом в центр города. По рассказам людей, которые видели меня, я наводил на окружающих ужас. На мне была белая рубаха, измазанная в крови и грязи, длинные, непомерно длинные волосы были растрепаны. В руках был утюг. Ко мне боялись подойти. Увидев милиционеров, я пришел в дикую ярость. Милиция предложила отдать утюг, но я ответил сокрушительными матюгами. Когда они хотели взять меня силой, я ударил одного мента утюгом по спине. К счастью, это был мой сосед. Он не возбудил уголовного дела. Меня доставили в вытрезвитель, а затем дали десять суток. Я понимал, что рано или поздно сяду. И я сел после очередной кровавой драки. Мне припомнили все мои подвиги.

ВТК – это волчья стая, здесь нужно иметь волчьи зубы. Когда я пришел на зону, в первый же день „старички" сняли с меня новый зэковский костюм ХБ и новые сапоги, дали мне все старое. С первого же дня я понял: в этом обществе нужен сильный кулак: и не только в зоне, но и за ее пределами. И постепенно я тоже начал борзеть. Иначе ведь нельзя: или ты опускай, или тебя опустят, то есть зачуханят. В колонии каж-

дый думает только о себе. Теперь я и сам „старичок". А кто борзанет, того в толчок головой и по почкам. Кто сильней, на того смотрят с уважением. И еще здесь хитрость нужна. За шесть месяцев моего пребывания в колонии я не схватил ни одного постановления[11], то есть вроде бы режим не нарушал, хотя за проделки мог бы каждый день сидеть в дизо. Я стараюсь держаться ювелирной работы. Выйдя на волю, я буду пить водку и бить рожи, но делать это буду без свидетелей: многому меня научила тюрьма".

Советская пропаганда называет общество США – обществом насилия. Возможно, это и справедливо. Мою страну с неменьшим основанием можно назвать так же.

„Но что же это за общество, состоящее из бесправных и безликих тварей, из нравственных нулей? Будет ли это во всяком случае общество человеческое? В чем будет заключаться и откуда возьмется его достоинство, внутренняя ценность его существования и какою силой оно будет держаться?" – вопрошает Владимир Соловьев.

Только силою страха, силой тоталитарного подавления. Символ этого общества посреди Петербурга, на площади стоит – тысячетонный гранитный монолит, не закрепленный на постаменте, держащийся исключительно силой своей чудовищной тяжести. Как только перестанет давить – рухнет. Силой подавления и насилия держится советский режим. Детские души заболевают действительностью своей эпохи.

Где-то на картине Дали или Босха видел я такое ухо, распухшее от постоянных побоев, как бы вывернутое наизнанку, громадное ухо Изи А.

Конец урокам. На неосвещенных бетонных лестни-

---

11 Постановление – документ, составляющийся на каждое нарушение режима колонии.

цах – цоканье подкованных керзянок, сопенье пропахшего мускусом стада немытых самцов, рвущихся к пище.

Вдруг острый неожиданный вскрик:

– Джида.

Это избивают на бегу еврея Изю.

– Вчера опять Изю избили, – говорит толстая, добродушная математичка. – Места живого нет. Надо б его в другой отряд перевести.

... Странное дело: почему-то антипатию у зэков-малолеток возбуждает хилый Изя и не вызывает Миша Шапиро – подросток с шеей биндюжника и чугунными татуированными кулаками, „сделавший зиц"[12] за пьяную драку.

– Изя, а как ты „сделал зиц"?

– Да поехали с ребятами в Зеленогорск, ларек подломили. Еврею сюда попадать не надо, – говорит Изя, трогая расплющенное ухо.

Но Изя, оказывается, даже и не совсем еврей: мать у него русская, с отцом давно не живет. А все одно – пацаны смотрят на Изю глазами антисемитов: чужак. Изя хил, робок, картав. А Шапиро – свой. Хоть еврей, а хороший. Да и евреем его никто называть не станет: Шапиро только раз „врежет", всю жизнь потом на лекарства работать будешь.

Я не пишу научного трактата, не составляю „менделеевской таблицы" тюремных типов. Я просто всматриваюсь в их лица, вчитываюсь в бумаги. И за каждой судьбой видится мне загнанная вглубь проблема нашего больного общества.

...Вадик Климов – красивый, мягкий, интеллигент-

---

[12] Сделать зиц – сесть в тюрьму, попасть в заключение.

ный, не утративший в тюрьме детского румянца. Тюремная роба сидит на нем ладно. На зеленой чистенькой ленточке ровными буковками фамилия выписана. Любит читать стихи: на воле занимался в студии художественного слова. Выйдет к доске, читает артистично, профессионально.

Я приносил в класс стихи Баратынского, Цветаевой, Кушнера. Вадик, предварительно подготовившись, „исполнял". Мне казалось, зэки понимают поэзию. Скорей всего, то было просто проявлением уважения к „артисту".

Но главным увлечением Вадика было не художественное слово, а воровские рейды по интуристским автобусам.

– И как тебе это только удавалось?

– Главное – дверь отчинить. Кент[13] у меня был квалификатор[14].

– Ну и как же?

– А все проще, чем вы думаете. Делаю финт ушами. Финны в ресторан – я в автобус. На плече сумка „адидас", бросаю в сумку фотоаппараты, зажигалки, шмотье. Все, что нравится.

– И не боялся?

– А чего бояться-то. Мент появится, я – ноги на подлокотник, ногти пилочкой подпиливаю. Мент меня за интуриста принимает. На мне ж все фирма́.

Вадик погорел на великодушии. После очередного „финта ушами" стал щедрой рукой одарять дружков дорогими зажигалками, „шмотьем". Заинтересовались.

---

[13] Кент – друг.

[14] Квалификатор – специалист, мастер высокого класса.

Климов и Глебов – друзья. Водой не разольешь. За одной партой сидят, на переменах – по коридору в обнимку. И чего, кажется, у пацанов общего?

Только однажды все неожиданно разъяснилось. Ночью, когда воспитатели разошлись, отряд уличил друзей в гомосексуализме. На месте преступления застуканы были. Надо заметить: зэка-малолетки педерастов терпеть не могут, хотя явление это на зонах распространенное.

Отряд совершил самосуд. Человек пять по большой нужде в гальюне на унитаз сходили. Преступников – головой в дерьмо и по почкам.

Подсудимых и судей утром в дизо определили. Дело замяли, вскоре Климов и Глебов по амнистии ушли. Многих тогда к тридцатилетию Победы отпустили. Только этак месяцев через шесть привели нас на семинар в Кресты, тюрьму следственную. Гляжу: из камеры, из железной кормушки, – два знакомых рыла выглядывают:

– Здрасьте, гражданин учитель!

– Мать честная! Климов и Глебов!

– По второй ходке загремели, гражданин учитель! И смеются, смеются, будто счастью своему радуются. У румяного Климова засос на шее цветет...

Хоть, повторяю, педерастов на зоне терпеть не могут, а все равно немало их здесь.

– Гулять в обнимку по коридорам запрещается! – объявляет по радио Электрон.

А они все ж гуляют. То и дело слышишь в учительской:

– Вчера Иванова с Сидоровым на темной лестнице застукали.

— А Фоменко с Кузнецовым, за классным шкафом притаившись, запретно любви предавались.

Видимо, это — явление „преходящего подросткового гомосексуализма". Как утверждают сексологи, „сексуальное развитие подростков отличается чрезвычайной неустойчивостью и легко может приблизиться к патологическим формам"[15].

Проблема полового воспитания существует не только в подростковых тюремных зонах. Она заявляет о себе и в общеобразовательной школе, и в ПТУ. Но ее будто и не замечают в узких коридорах официальной советской педагогики.

Рядовой учитель наробраза столь же невежествен в этих вопросах, что и его ученик; во всяком случае, для ведения серьезного разговора он элементарно неподготовлен, так как и сам-то воспитан в духе ханжеского пуританства. Да и серьезных печатных работ просто нет у него под рукой.

„Пока что подобные исследования немногочисленны, а полученные сведения не всегда достаточно достоверны. Одна из наиболее обстоятельных современных работ осуществлена в Дании (Hertoft, 1969)"[16].

За неимением чистого источника, подросток черпает из грязных: заборных надписей, туалетных откровений, нелепейших изустных преданий.

В Ленинграде, на улице Рубинштейна, открыли все-таки консультационный пункт по вопросам семьи и брака. Но это — „фасадное" решение проблемы. Необходима система полового воспитания. Но вряд ли воз-

---

15 А.Е. Личко. „Психопатии и акцентуации характера у подростков". Ленинград, 1974, с. 42.

16 Там же.

можно ее создать в ближайшее время. Игнорирование совпедагогикой наиважнейшей сферы человеческой жизни – еще одно подтверждение ее дегуманизации. Но есть у этой проблемы и юридический аспект. Безапелляционно прямолинейно, без каких бы то ни было оттенков, сформулирована статья 121 Уголовного кодекса РСФСР: „Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложество) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет".

Но дело не только в несовершенстве формулировок. О существовании статей 117 (изнасилование), 118 (понуждение женщины к вступлению в половую связь), 119 (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), 120 (развратные действия) – многие подростки узнают лишь постфактум.

Из сочинения ученика девятого Б класса Александра Б.:

„...А пострадавшая против меня ничего не имела, а посадили меня родители пострадавшей.

Вечером, с компанией блатных и подвыпивших, мы направились в клуб за билетами на танцы. Купили билеты, но до танцев было еще полчаса. Мы направились в парк поиграть в теннис. По дороге повстречали двух дамочек. Они тоже были под мухой. Ничего не говоря, мы взяли их под руки и зашли за деревья. Там мы с подельником разошлись, а ребята остались стоять на шухере. Моя дама не сопротивлялась. Мы дошли до речки. Совершив с ней половой акт, я распрощался с ней, оставив ее на совести ребят. А утром за мной зашли и забрали. Я считаю, что попал ни за что, случайно".

Разумеется, я не мыслю столь прямолинейно: знай, де, парень соответствующие статьи Уголовного кодекса, не совершил бы и преступления. Но если бы в шко-

ле серьезная работа проводилась, многое можно было бы и предотвратить[17].

Среди зэковской братии особый интерес представляют угонщики автомобилей. Глядишь на иного: и умен, и начитан, совсем на преступника не смахивает, а у него три, четыре, пять угонов.

Он, как и все мы, останавливается у гостиницы *„Интурист"*, любуется заморским „Фордом". Автомобиль для него – предмет культа. Изображение автомобиля украшает и грубую сумку из мешковины, вошедшую нынче в моду, и интерьер пэтэушной общаги. Автомобиль – это „престижно". Бармен, „халдей", мясник, знаменитый футболист – все имеют „тачки". Герой, которому стремится подражать современный подросток, – автомобилизирован. Угон автомобиля – очень распространенное среди подростков преступление.

– Ведь далеко все равно не уйдешь. Ну для чего, спрашивается, угнал?

– А чтоб покататься.

А может быть, и в самом деле подросток по природе своей – стихийный экзистенциалист, и предел его упований – до конца безрассудный, рискованный, авантюристический поступок? Ведь он, подросток, склонен к действиям без надежды, у него моральное недоверие ко всякого рода рациональным увещеваниям.

Угоняют не только легковые автомобили. Угоняют грузовики, мотоциклы, заводские электрокары, даже

---

[17] Следует сказать о сочинениях ребят: они подобраны таким образом, что совпадают в основном с материалами уголовного дела, да и по самому стилю они зачастую протокол напоминают, так как во время неоднократных допросов пацан многие формулировки успел выучить наизусть.

трактора угоняют. Да будь у них только возможность, они бы и танк угнали, пикирующий бомбардировщик, подводную лодку!

– А для чего угнал, ведь глупо же?

– А чтоб покататься.

Мне, как новичку, показали тоненького, чистенького, очень домашнего по виду мальчика, который, угоняя грузовик, „троих сильно поддатых мужиков по шоссе размазал". Кто-то улегся спать на шоссе, кто-то кого-то поднимал. А тут налетел Олежка на угоняемом „Зиле" – три трупа.

Всякие типы ребят встречаются среди угонщиков: домашние и полубеспризорники, слабохарактерные и крутые, но все они в откровенном разговоре отказываются считать угон (ежели без последствий) преступлением.

Из сочинения ученика восьмого В класса Сергея Д.

„Я предложил моему другу Олегу съездить на танцы в Зеленогорск. Мы сильно выпили. На танцплощадке я встретил знакомую девушку, с которой полтора года гулял, а если кто-нибудь говорил о ней плохо, ломал тому рога. Она знала, что я работал в доме отдыха „Архитектор". Я говорил ей, – работаю шофером. Я ее обманывал, конечно. Она с подругами жила в Сестрорецке, и они опоздали на последний автобус. Тогда я сказал, чтобы они меня подождали, а сам побежал в гараж. Я не владел собой. Из гаража дома отдыха „Архитектор" я угнал машину ГАЗ-51 и подъехал на ней к танцевальному павильону. Они сели в машину, а я, не понимая, что подвергаю их жизни опасности, повез их в Сестрорецк. До Сестрорецка мы доехали без приключений. Когда я возвращался в Зеленогорск, в зеркало я увидел, что мне на хвост сел „Москвич" автоинспекции. Я начал удирать. Километров пятнадцать „Москвич" сидел у меня на хвосте. Я повернул вправо, переехал через железнодорожный переезд, поехал по лесной до-

роге от поселка Репино в поселок Комарово. На сорок третьем километре дороги я на повороте не справился с управлением и совершил наезд на осветительный столб, чем нанес ущерб электросетьевой конторе „Ленсвет" на сумму 146 рублей 42 копейки".

Средь мелкой воровской плотвы есть рыбы и покрупнее. Такие не станут подламывать ларьки, по квартирам малогабаритным „шмонать", легковушки угонять. Они „особь статья", они „жуковаты", они одержимы, отравлены „сребролюбием".

– Ну, дам я вам, к примеру, пятьдесят рублей. Скажу: бутылку водки в зону пронесите. Не пронесете? Хорошо. Даю пятьсот. Ах, вы честный человек? Даю *пять тысяч.* Ведь задумаетесь? Ну, положа руку на сердце? Так дело, значит, лишь в сумме? Только не рассказывайте о Настасье Филипповне, которая сто тысяч в огонь бросила. Вам когда-нибудь приходилось идти по Невскому, и чтоб в каждом кармане по тыще? Очень приятно. Опустишь руку в карман и похрустываешь. Помните, у Шекспира сказано: хочешь ты гулять по свету, впереди кати монету.

– Неужели, Юра, ты и в самом деле не веришь, что есть на свете убеждения, принципы, совесть, ценности, не имеющие цены?

– Только не надо, гражданин учитель, про Павлика Корчагина и Юрика Гагарина. Не будем лапшу на уши вешать. Может, где-то и есть эти ваши „не имеющие цены" ценности, только где-то далеко, а вы вблизи покажите.

... Я мог бы назвать ему этих людей, преодолевших страх, вступившихся за попранное человеческое достоинство, за право открыто и честно высказывать свои мысли. За мое право, Юра, сказать тебе открыто и

честно все, что я думаю о нашей чудовищной жизни, растлившей тебя в твои шестнадцать лет. Я мог бы назвать тебе носителей подлинных нравственных ценностей. Они идут сегодня на позорище неправого суда, в мордовскую тюрьму, в изгнание. Их честные имена обливает грязью лживая пресса. Но их имена внушают надежду, что когда-нибудь учитель явится в класс без кляпа во рту, что между учителем и учеником не будет стоять тень КГБ, тень опера Ганина.

Из сочинения ученика десятого Б класса Юрия П.

„Поначалу я не знал, куда применить свою голову. Потом от своего приятеля узнал: можно здорово заработать на продаже икон. Я задумался, стал искать связь с такими людьми. И нашел. Это был молодой человек, который имеет все, что желает иметь человек за деньги. Интеллигентный, образованный, он восхитил меня. Я ему доверил судьбу. Он научил меня „читать икону", понимать антиквариат. И вот – первая удача. Я был на высоте. „Как это просто, думал я, съездил, похитил иконы из храма, имеешь деньги, каких никогда в руках не держал". Потом одна удача за другой, и все деньги, деньги. Я добился, чего хотел. Тут бы и остановиться. Но „люди гибнут за металл". Меня поймали с иконами. Шеф дал кому следует на лапу, и я получил условную меру наказания. И опять „командировки". И деньги, деньги. Но я зарвался, оборзел и попался".

– А что будет дальше, когда отсидишь?

– Поступлю в Академию художеств, на искусствоведческий. Хочу стать коллекционером, работать, как мой шеф.

– А примут в Академию?

– Куда денутся. Хочешь ты гулять по свету, впереди кати монету.

...У психиатров, изучающих патологические наруше-

ния поведения подростков, это явление называется „реакцией имитации". Она сказывается в стремлении подражать во всем определенному лицу или образу. Заметим, что кумиром наиболее энергичных и умных подростков стал нынче тип преуспевающего деляги. И не сам подросток выбрал себе эту модель. Она продиктована ему всей нашей действительностью, в которой утрачены нравственные ориентиры. И пусть попробует педагог-идеалист расставить перед юношей ориентиры „коммунистической морали". Сама жизнь опрокинет, отшвырнет в сторону эти шаткие дорожные указатели.

... Через два дня после объявления амнистии ко мне прискакал возбужденный Юра.

– Гражданин учитель, хочу тет-а-тет.

– В чем дело, Юра?

– Воспитатель два куска на лапу требует.

– Да подожди. Давай по порядку.

– Понимаете, чтоб по амнистии выйти, нужно с меня два постановления снять, а воспитатель за каждое по тыще требует; знает, сука: „капуста" у меня на воле припрятана [18].

– Не знаю, право, чем тебе помочь. Нужно б с одним человеком поговорить, ему я доверяю.

И я посоветовался с директором Электроном.

– Вымогателя можно бы уличить, – сказал Электрон, – ежели б оперчасть наша была умной. К кому об-

---

[18] Здесь необходимо пояснение. Амнистия распространяется лишь на тех, у кого нет к моменту вступления амнистии в силу ни одного нарушения режима. На каждое нарушение составляется бумага – „постановление", которое и следует снять, а не то „срок до звонка тяни". А снять „постановление" это уж от воспитателя зависит.

ратиться-то? К Коле Ганину обратиться? Обхохочешься.

У опера Коли Ганина сапоги тяжелые. Видимо, они у Коли на подушках воздушных. Ходит Коля без стуку, как кот, и все глядит, глядит, головой вертит, будто щупом саперным мины выискивает. Лицо у Коли „правильное", не обезображенное мыслью. Говорит предложениями короткими, длинные у Коли не получаются.

– Сачкуешь, Попцов.

– Гражданин капитан, рука лопату не держит, – канючит „жуковатый" Попцов, – поломка в суставе.

– Не держит, говоришь. А в моем гальюне серево застряло, поди убери.

Шесть раз пытался Коля в училище МВД поступить, да все „непруха" ему: по тридцать-сорок ошибок в сочинении. Но незримый дух Коли Ганина витает над головами мальчишек, когда они пишут школьные свои сочинения.

– Гражданин учитель, вот я поведаю вам мысли, а вы их Коле Ганину пота́щите.

– Не потащит, гляди сам-то не „зафугань".

„Фуганки" Коли Ганина в каждом классе сидят. Будешь „фуганить", получишь УДО (условно-досрочное освобождение). Вместо положенных трех годков, полтора отсидишь. „Фуганки" „фуганят" друг на дружку, на учителей, на директора школы, даже на офицеров-воспитателей „фуганят". Все известно Коле Ганину. И что у учительницы химии, когда садится, трусы из-под платья видать, и что историк вчера с ребятами о половых сношениях говорил. Все известно Коле. Да только всякий раз на „толковищах" начальник колонии Буркин предупреждает:

– Оперативная обстановка в колонии напряженная.

Просьба ко всем сотрудникам обо всем подозрительном докладывать в оперчасть. Опять ножи в цехах точат. Это они на нас с вами ножи точат.

(Окончание следует)

Рыскин Григорий Исаакович, родился в 1937 году. Окончил Педагогический институт, а также факультет журналистики Ленинградского университета. Работал в средних школах педагогом. Печатался в многих газетах и журналах, преимущественно по вопросам народного образования. В 1978 году выехал из СССР. В настоящее время проживает в США. – Ред.

Митрополит АНАСТАСИЙ

Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви

Каждый великий народ имеет своего великого поэта, являющегося высшим выражением его творческого духа. Мы должны быть вечно благодарны Провидению, пославшему нам такого человека в лице Пушкина. По всеобъемлющей силе своего дарования, по благоухающей красоте своей поэзии, по богатству, гибкости и выразительности языка и тонкому чувству гармонии и меры он стоит наравне с величайшими художниками мира.

Поэт и творец Божией милостью, он сам явился Божией милостию и благословением для Русской земли, которую увенчал навсегда своим высоким лучезарным талантом.

Истинный гений бессмертен. Он не знает над собою забвения и давности. Если бы можно было разложить наш внутренний мир на его составные части, то в этой сложной психологической ткани мы нашли бы много золотых нитей, вплетенных в нее мощным пушкинским гением, ставшим неотъемлемой частью нашего духовного существа.

Прожив на земле только тридцать семь лет, он успел

оставить нам такое духовное наследство, что оно обогатило нас на все века. И Гоголь, и Толстой, и Достоевский родились от его великого духа, воспламененные огнем его творческого вдохновения. Его мысль проникает во все области человеческого духа, озаряя их ярким светом, как молния. Подобно всем великим гениям, он поднялся на такую высоту, откуда он светит всему миру и где национальное уже претворяется в общечеловеческое.

Пушкин есть „всечеловек" по преимуществу, как ощутил и определил его в свое время другой великий русский писатель Достоевский. Однако он плоть от плоти нашей, кость от костей наших; в нем каждый из русских людей невольно опознает самого себя, и это только потому, что он воплотил в себе всю Русь, которую возлюбил всем сердцем. Все, что украшает русскую народную душу – равнодушие к суетным земным благам, тоска по иному, лучшему граду, неутолимая жажда правды, широта сердца, стремящегося обнять мир и всех назвать своими братьями, светлое восприятие жизни, как прекрасного дара Божия, наслаждение праздником бытия и примиренное спокойное отношение к смерти, необыкновенная чуткость совести, гармоническая цельность всего нравственного существа, – все это отразилось и ярко отпечатлелось в личности и творчестве Пушкина, как в чистом зеркале нашего народного духа.

Богатство его державного русского языка ни с чем не сравнимо.

Пушкин ко всему подходит просто и естественно, как это искони свойственно русскому сердцу. У него нет предвзятых тенденций, как у Толстого и Достоевского, стремящихся подчинить им своего читателя. Он не пытался насиловать свой талант и не „мудрствовал лукаво": поэтому ему открыто было более, чем кому-либо из других наших поэтов. Он берет всю действительность такою, „какою Бог ее дал". Он созерцает и

зарисовывает ее картины спокойно и объективно, как истинный художник. Отсюда какая-то детская непосредственность, ясность и чистота его созерцания, акварельная легкость и прозрачность его рисунка, делающие его творения одинаково доступными всем возрастам. Мы воспринимаем его образы так же просто и непосредственно, как саму природу. Это и есть та простота гениальности, или гениальность простоты, какая особенно свойственна нашему поэту.

Вместе с художественной правдой Пушкин ищет везде и правду нравственную, ибо одна неотделима от другой. Он всегда стремится быть искренним и с самим собою, и со своим читателем, что также составляет печать гения, как сказал еще Карлейль. Искренность сердца, издавна присущая русскому человеку, порождает в нем и другую чисто русскую черту – смирение. А смирение возвышает его и самое его творчество, к которому он питал какое-то высокое, поистине религиозное благоговение. Он не только не превозносился своим гениальным дарованием, а скорее смирялся перед его величием. Вдохновение, посещавшее его в минуты поэтического озарения, приводило его в священный трепет и даже „ужас", он видел в нем „признак Бога", озарявший, очищавший и возвышавший его душу. Внемля „сладким звукам" небес и созерцая сияние вечной божественной красоты, он подлинно в эти минуты „молился" сердцем и, свободный и счастливый, радовался своему духовному полету, возносившему его над всем миром.

Только такое трепетное отношение к данному ему свыше таланту могло внушить ему стихотворение „Пророк", которое справедливо считается одним из величайших его творений по силе художественного и духовного проникновения. Пушкин заимствовал свой образ из книги Пророка Исаии, он глубоко и искренно воспринял его в свое сердце, приложив его к своему собственному поэтическому призванию. Поэт, по мыс-

ли Пушкина, как пророк, получает свое помазание свыше, и очищается, и как бы посвящается на свое служение тем же небесным огнем. Столь же высоки и нравственные обязательства, возлагаемые на него его исключительным дарованием: он должен быть орудием воли Божией („Исполнись волею Моей") и своим вдохновенным глаголом жечь сердца людей. На такую высоту религиозного созерцания вознес Пушкина его светлый гений. Таков, впрочем, искони характер истинной поэзии: она всегда была „религии небесной сестра земная", как сказал некогда Жуковский. Родившаяся из религиозных гимнов, она продолжает звучать высокими небесными мелодиями и тогда, когда перестает служить непосредственно религиозным целям. Ее сфера – это идеальный мир, полного воплощения которого нельзя найти на земле; здесь нам сияют только его отдаленные отблески. Устремление к горним высотам и вечному солнцу истины и красоты и составляют подлинную душу поэзии: это есть „Божественный пафос", по слову Белинского, в котором наше сердце бьется в один лад со вселенной, в котором земное сияет небесным, а небесное сочетается с земным.

Чем ярче и светлее был поэтический дар Пушкина и чем бережнее и совестливее он относился к последнему, тем более он был чуток к „прикосновению Божественного глагола" и тем глубже сознавал свое призвание как божественное посланничество и своеобразное „пророчество", совершающее свою „священную жертву".

„Сны поэзии святой" представлялись ему как бы некоторым откровением, посещавшим его по особому велению свыше, помимо его собственной воли.

Муза – это поэтическое олицетворение его творческого дара – слетала к нему, как некая таинственная чудесная гостья, оживляя его свирель „божественным дыханьем и сердце наполняя святым очарованьем". Эпитеты „божественный" и „святой", которыми так ча-

сто пользуется Пушкин в применении к своему поэтическому вдохновению, не были только красивой метафорой: в них скрывается глубокий сакраментальный смысл, подлинное ощущение духовной связи поэта с иным, потусторонним миром. Не напрасно он требовал от своей музы такой отрешенности от мира, при которой она оставалась бы всегда только „веленью Божию послушной", приемля равнодушно „хвалу и клевету" людей („Я памятник себе воздвиг нерукотворный...").

Таков был наш великий поэт на вершинах своего творчества: он подлинно был тогда религиозен, переживая какое-то особое, трепетное мистическое состояние, невольно передающееся каждому из нас при чтении его наиболее глубоких и проникновенных творений.

Но Пушкин был не только поэт, но и человек, и потому ничто человеческое не было чуждо ему. Спускаясь с горних творческих высот и погружаясь в заботы и наслаждения „суетного света", он утрачивал свой дар духовного прозрения. Его обескрыленный ум, еще недостаточно дисциплинированный в юности, но отравленный в значительной степени ядом вольтерианства, не мог тогда собственными силами осмыслить мировую жизнь и разрешить все сложные загадки бытия. Отсюда началась для него трагедия оскудения веры, какую так глубоко изобразил он в своем раннем стихотворении „Безверие". Его мучила особенно тайна смерти, неразрешимая без утешительного света религии.

Он считал, однако, такое нравственное состояние ничем другим, как болезнью души, и потому призывал снисходительнее и участливее относиться к тем, кто „с первых лет безумно погасил отрадный сердцу свет".

Неверующий сам в себе носит свою кару:

Кто в мире усладит души его мученья?
Увы, он первого лишился утешенья!

Постоянное возбуждение, поддерживаемое в нем

пылом „африканских" страстей, неудовлетворенностью своим материальным положением, столкновениями с правительством и враждебными ему критиками, всего менее способствовали спокойной работе его испытующей мысли, искавшей выхода на истинный путь. В такие моменты временно как бы омрачался его светлый гений, и его гармоническая лира издавала диссонирующие звуки. Будучи „зол на весь мир", он рад был бросить вызов и правительству, и обществу резкими и желчными литературными выступлениями и другими легкомысленными поступками, приводившими в отчаяние как его отца и других родственников, так и его покровителей и друзей – Карамзина, Жуковского, Вяземского, Тургенева. Под таким настроением душевной дисгармонии и рождались обыкновенно его язвительные политические памфлеты, эпиграммы и кощунственные стихотворения, оскорблявшие религиозные чувства верующих и стяжавшие ему печальную репутацию безбожника, от коей его имя не может освободиться даже до настоящих дней.

Однако неверующим его могут считать только люди, тенденциозно настроенные, которым выгодно представить нашего великого национального поэта религиозным отрицателем, или те, кто не дал себе труда серьезнее вдуматься в историю его жизни и творчества.

Уже по одному тому, что наиболее вменяемые Пушкину „кощунства" – „неизменно шуточные", по справедливому замечанию Ходасевича, „а не воинствующие", что „их стрелы не ядовиты и не глубоко ранят" (С. фон Штейн. Пушкин – мистик, с. 29), следует признать, что они были скорее случайной вспышкой озлобленного ума или просто легкомысленной игрой воображения юного поэта, чем его внутренним сознательным убеждением: они скользили по поверхности его души и никогда не имели характера ожесточенного богоборчества. Рассматриваемые с точки зрения того времени, его „кощунства" не выходили из уровня обычно-

го для этой эпохи неглубокого вольнодумства, бывшего бытовым явлением в русском образованном обществе конца XVIII и начала XIX века, воспитанном в идеях Вольтера и энциклопедистов. Пушкин заплатил в этом отношении дань духу своего века не больше, чем другие его современники, но если его вольные стихотворения обращали на себя бо́льшее внимание, то именно потому, что они отвечали общему настроению умов и что он сам был слишком заметен среди других рядовых людей, вследствие чего каждое его слово разносилось эхом по всей России. В этом случае ему оказывали часто плохую услугу не только его враги, но и нескромные друзья, повсюду распространявшие его творения. Лично он не был склонен заниматься активной пропагандой безбожия: об этом свидетельствует тот исторический факт, что он не только не пытался предавать печати свои „соблазнительные" стихотворения, но стремился всячески изъять их из обращения даже в рукописных их копиях, стыдясь их легкомысленного содержания и желая пресечь все пути к их распространению в широком обществе. Бартенев сообщает со слов современников поэта, что он особенно раскаивался в своей известной кощунственной поэме, написанной на евангельский текст, всячески истребляя ее списки, выпрашивал, отнимал и сердился, когда ему напоминали о ней.

„Уверяют, – пишет Бартенев, – что он позволил себе сочинить ее только из молодого литературного щегольства. Ему хотелось показать своим приятелям, что он может в этом роде написать что-нибудь лучше Вольтера и Парни" (В. Вересаев. Пушкин в жизни. Четыре выпуска. – М.: „Недра", 1926-1927).

По словам кн. Урусова, он без сожаления сжег, по совету своего товарища кн. Горчакова и при его содействии, составленную им в подражание Баркову поэму „Монах", которая могла бы оставить пятно на его памяти (там же, с. 31).

Нельзя преувеличивать значение вызывающих антирелигиозных и безнравственных литературных выступлений Пушкина также и потому, что он нарочито надевал на себя иногда личину показного цинизма, чтобы скрыть свои подлинные глубокие душевные переживания, которыми он по какому-то стыдливому, целомудренному внутреннему чувству не хотел делиться с другими. В этом можно убедиться из характеристики, какую дают ему многие из наиболее беспристрастных и наблюдательных современников. Казалось, он домогался того, чтобы другие люди думали о нем хуже, чем он есть на самом деле, стремясь скрыть „высокий ум" „под шалости безумной легким покрывалом". В этой черте его характера некоторые исследователи (например, С. Франк) справедливо видят проявление некоторого юродства, этой типичной особенности русской народной души, нашедшей себе место и в характере нашего великого поэта. Впрочем, нельзя отрицать и того, что в нем иногда жили как бы два человека, находившихся в трагической борьбе между собою. Лучшая часть его природы звала его к „Сионским высотам", а „грех алчный" гнался за ним „по пятам". Источником его искушений, по признанию самого поэта, был умный дух – Демон, начавший „навещать" его в юные годы, чтобы помрачать его высокие и святые идеалы и вносить расстройство в его гармоническую поэтическую душу.

„Печальны были наши встречи", – признается потом с сожалением поэт.

Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел*.
(„Демон")

Когда впоследствии в минуту раскаяния поэт „с отвращением" читал жизнь свою, трепетал и проклинал, горько жаловался и горько слезы лил, желая как бы смыть ими навсегда „печальные строки" прошлого, то, может быть, он разумел здесь и эти внушенные ему „Демоном" вольные соблазнительные стихи, как и многое другое из произведений его незрелой юности, что он считал недостойным его таланта и хотел бы после уничтожить.

Переживая мучительный кризис от своих сомнений, он болезненно искал выхода из этого положения, стремясь прояснить для себя окутывавший его туман и ища для себя точки нравственной опоры. Он чувствовал, что без идеи Божества все его мировоззрение становится зданием без фундамента, но его роковая ошибка состояла в том, что он сначала только „умом искал Божества". Неудивительно, что „сердце", как показалось поэту, „не находило Его", так как одни отвлеченные умствования без живой веры не могли дать ему покоя и удовлетворения.

В своих беспокойных исканиях он бросался во все стороны и черпал из всех источников религиозных знаний, не только положительных и здоровых, но и отрицательных, способных только усилить его духовную жажду. Наиболее острый момент его душевного кризиса совпал, по-видимому, с днями его пребывания в Ки-

---

* Это глубокое стихотворение навеяно было Пушкину скептическим образом А.В. Раевского, с которым он поддерживал тесную дружбу (так же, как Гете в свое время нарисовал своего Мефистофеля с одного из своих друзей). Лермонтов использовал это стихотворение для своей знаменитой поэмы „Демон", которого он изображает теми же чертами.

шиневе и Одессе (1821-1824 гг.). Углубляясь в изучение Библии, читая внимательно Коран, с интересом беседуя в Одессе с религиозным мыслителем и писателем Стурдзою, он встретился здесь же и с „глухим философом" англичанином Гетчинсоном, от которого стал брать уроки „чистого", т. е. теоретического, атеизма. Об этом он сообщает в письме к неизвестному своему другу, жившему в Москве, письме, оказавшем столь важное влияние на его последующую судьбу и вызвавшем его новую ссылку в Михайловское. На этом роковом письме и базируется главным образом доныне обвинение Пушкина в безбожии. Надо, однако, внимательно читать его собственные слова, чтобы сделать из них ясный и точный вывод. С. Франк справедливо отмечает,

1) что Пушкин считает своего учителя англичанина „*единственным* умным „афеем" (атеистом. – Ред.), которого он встретил" (другие, очевидно, не заслуживали такого наименования), 2) что „система его мировоззрения не столь *утешительна,* как обыкновенно думают", „хотя, *к несчастию,* более всего правдоподобная". Надо подчеркнуть и это последнее слово, как свидетельствующее о том, что эта *безотрадная* система казалась поэту только *правдоподобной,* но отнюдь не несомненной. Следовательно, она не разрешала всех его сомнений, хотя и могла временно повлиять на направление его мыслей (С. Франк. Религиозность Пушкина. – „Путь", № 40, 1933, с. 28). Что она не покорила всецело его ума и сердца, об этом говорит его признание в том же письме, что „Дух Святой", то есть слова Библии, ему „иногда по сердцу", то есть доставляли ему духовную усладу. Такого духовного созвучия с Библией не могло быть у убежденного атеиста, для которого ненавистно само имя Божие, он бежит от него, как Мефистофель от креста, будучи способен только хулить все высокое и святое. Холодное отрицание не могло вообще захватить вполне Пушкина уже потому,

что оно опустошает душу, суживает умственный горизонт и иссушает родники всякого и особенно поэтического творчества, а поэтическое вдохновение было для него священным призванием и украшением его жизни, это была душа его души.

Увлекшись на короткое время чисто теоретически отрицательными уроками англичанина-философа, Пушкин потом отрекся от своего „легкомысленного суждения относительно афеизма" („Прошение на Высочайшее имя", то есть на имя императора Николая I в 1826 г.), которое он ранее в своем „Воображаемом разговоре с императором Александром I" назвал прямо *„школьнической шуткой"*, и удивлялся, как можно было „две пустые фразы" дружеского письма рассматривать как „всенародную проповедь". Это признание, несомненно, было искренним, потому что оно повторяется и в некоторых его письмах к друзьям. В одном случае он прямо называет сказанное им об атеизме – „глупостью", а в письме к Жуковскому – „суждением легкомысленным и достойным всякого порицания".

Уроки неверующего наставника не могли оставить в нем глубокого следа, так как его трезвый, проницательный ум не мог не понять, что „сумма вероятностей атеизма сводится к нулю, а нуль только тогда имеет реальное значение, когда пред ним стоит цифра. Этой-то цифры и недоставало моему профессору афеизма". Изучая вместе с англичанином Локка, он обратил особенное внимание на высказанную последним мысль, что „вопрос веры *превосходит разум,* но не противоречит ему" (Записки А.О. Смирновой. Из записных книжек 1826-1845 гг. – Спб.: Изд. „Северного Вестника", 1894, сс. 161-162). Впрочем, и сам учитель Пушкина Гетчинсон был, по-видимому, далеко не убежден в том, что проповедовал другим: через пять лет он был уже ревностным пастором в Лондоне.

Очень характерно, что в письме своем к Казначееву, правителю дел гр. Воронцова, Пушкин, уже успевший

разочароваться в своем наставнике, прямо называет своего учителя „прощалыгой" (galopin), а его уроки – „пошлой болтовней" (См.: проф. В.В. Никольский. Нравственные идеалы Пушкина. – „Христианское чтение", 1882, с. 50).

Переживая по временам „бурю сомнительных помышлений", Пушкин, однако, ни в Кишиневе, ни в Одессе не отрывался от общего уклада жизни того времени, где религия и Церковь занимали если не господствующее, то во всяком случае почетное положение.

Вместе с благочестивым своим начальником Инзовым он аккуратно посещал богослужения в Митрополии, исполняя в положенное время и долг говения. Если он и говорит при этом о своем „лицемерии", то это обычный для него язык шутливого юродства и, быть может, скрытого самоосуждения. Он по-прежнему ревниво таит от нескромного чужого взгляда внутреннюю келию своего сердца. Следующий факт очень характерен в этом отношении.

В Кишиневе, по желанию Инзова, его посещал иногда для духовных бесед ректор духовной семинарии архимандрит Ириней.

„Раз в страстную пятницу, – рассказывала потом его племянница, – входит дядя в комнату Пушкина, а он сидит и что-то читает. „Чем это вы занимаетесь? – спросил дядя, поздоровавшись. „Да вот читаю историю одной статуи". Дядя посмотрел на книгу, а это было Евангелие. Архимандрит Ириней вспылил и рассердился и даже обещал подать на него рапорт, не поняв, очевидно, внутренних побуждений, вызвавших такой странный ответ Пушкина. „Зачем вы так сделали?" – спросил архимандрит, когда на другой день последний приехал к нему с извинением. „Да так, с языка слетело", – был простодушный ответ поэта. (Рассказ П.В. Дединицкой – см.: В. Вересаев. Пушкин в жизни, с. 125).

В Одессе он особенно любил посещать Пасхальную утреню и звал с собой товарищей *услышать голос русского народа* в дружном одушевленном ответе моля-

щихся на христосование священника: „воистину воскресе" (там же, с. 141).

Для объяснения такой кажущейся двойственности в духовных настроениях Пушкина не излишне вспомнить рассуждения, какими он сопровождает рассказ о Байроне, который, при своем видимом вольнодумстве, чрезвычайно дорожил, однако, крестом, подаренным ему одним монахом в Афинах:

„Душа человека, – пишет он, – есть недоступное хранилище его помыслов (...) И как судить о свойствах и образе мыслей человека по наружным его действиям? Он может по произволу надевать на себя притворную личину порочности, как и добродетели. Часто, по какому-либо своенравному убеждению ума своего, он может выставлять на позор толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия; часто может бросать пыль в глаза черни одними своими странностями (...) Прибавим, что если в этом случае вмешивалось отчасти и суеверие, то все-таки видно, что вера внутренняя перевешивала в душе Байрона скептицизм, высказанный им местами в своих творениях. Может быть даже, что скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной" („Анекдот о Байроне").

Нельзя ли видеть здесь личной исповеди поэта, душа которого была созвучна в этом случае характеру Байрона; не напрасно он чувствовал невольное тяготение к последнему, особенно в первый период своего литературного творчества.

Последовательный скептицизм должен был быть органически чужд его душе, проникнутой с детства мистическим настроением. В этом отношении он также был сын своей эпохи, эпохи великих потрясающих событий, в коих невольно чувствовалось действие неземной Высшей силы, управляющей судьбами народов, торжества идеи Священного Союза, расцвета масонства и широкого увлечения мистической проповедью Лабзина, Крюденер и Татариновой, в которых обнаружилась реакция в отношении к революционному рационализму конца XVIII века.

Мистическое настроение, впрочем, было наследственным в роде Пушкиных. Оно перешло к поэту от его отца Сергея Львовича, библиотека которого была наполнена произведениями мистических писателей того времени (см.: С. фон Штейн. Пушкин – мистик, Историко-литературный очерк. Рига, 1931, с. 21). Известную долю влияния на него в смысле укрепления этого настроения мог иметь и его благодушный начальник во время бессарабской ссылки генерал Инзов, которого поэт сам называет „добрым мистиком". Будучи старым масоном, последний был в то же время и преданным сыном Православной Церкви: в Александровскую эпоху то и другое иногда легко уживалось вместе.

Пушкин был суеверен в жизни, как самый простой русский человек. Он верил в народные приметы, в таинственное действие талисманов, в вещие сны и в предсказания ворожей и гадальщиц. Особенно глубокое впечатление произвели на него слова, сказанные ему еще в юности немкой-гадалкой Кирхгоф о том, что он приобретет большую славу и может погибнуть тридцати семи лет от белой лошади или белой головы. С тех пор всю жизнь избегал он встречи с белокурыми людьми. Автор исследования „Пушкин – мистик" С. фон Штейн видит много мистических струй в самом романтизме пушкинской поэзии, что не мешало ей оставаться вполне трезвой и ясной. Устремление к миру таинственного и непостижимого вместе с постоянной мыслью о смерти, сопровождавшею его неотступно всюду, не могли не роднить Пушкина с религиозной стихией, где все овеяно тайной и обращено к вечности. Однако присущее ему от природы мистическое предощущение потустороннего мира только создавало благоприятную почву для восприятия религиозных идей, но, смутное и неясное по существу, оно не могло само по себе дать ему, конечно, твердого, обоснованного, законченного религиозного мировоззрения, которого тревожно ис-

кала его возвышенная, идеалистически настроенная душа и которое ему пришлось вырабатывать вполне самостоятельно. Он не мог почти ничего получить для прояснения и укрепления своих религиозных взглядов ни из воспоминаний своего детства, прошедшего в атмосфере разлагающих иноземных влияний, ни из преданий своей семьи, никогда не отличавшейся глубокой религиозностью. Еще менее могла дать ему религиозное содержание окружавшая его лицейская и светская среда, потому что сама лишена была последнего.

То, что могла внушить ему его няня Арина Родионовна в смысле бытового благочестия, было недостаточно, чтобы утвердить его среди рано проснувшихся искушений разума, а уроки его первого московского наставника в Законе Божием о. Беликова, равно как и лицейских законоучителей, о. Музовского и о. Мансветова (очень строгого), не оставили в нем, повидимому, глубокого следа, потому что он никогда не вспоминал о них потом. Процесс его религиозного развития проходил, однако, с изумительной быстротой; он гораздо раньше, чем в свое время Толстой и Достоевский, понял, что без религии жизнь не имеет смысла и оправдания и что к постройке религиозного мировоззрения нельзя приступать только с таким слабым орудием, каким является наш колеблющийся рассудок; здесь необходимо указание внутреннего духовного опыта, дыхание веры, „инстинкт которой присущ каждому человеку", и прикосновение к родной русской земле, от которой так много заимствовали в смысле своего нравственного воспитания и наши последующие великие писатели.

Происшедший в нем нравственный перелом, озаривший его жизнь и его творчество новым светом, начал проявляться еще в кишиневский и одесский период его жизни, но достиг своего полного развития только во время последующего пребывания в тиши деревенского уединения в Михайловском. Эта вторая ссылка,

приводившая по временам в отчаяние самого поэта, имела для него провиденциальное значение. Почти все его биографы признают, что она способствовала его духовному росту и была в этом смысле столь же благодетельной для него, как для Достоевского заключение в „Мертвом доме".

Не развлекаясь опьяняющими светскими удовольствиями, поглощавшими почти все его время и внимание в Петербурге, он мог здесь глубже заглянуть в самого себя, в душу простого народа, в заветы и уроки родной истории и внимательнее заняться своим самообразованием. Все это вместе углубило его дух, освежило и расчистило родники его творчества. Здесь он впервые вошел и в живое непосредственное общение с Церковью через братию Святогорского монастыря и окрестное духовенство. Оно началось при нравственно тяжелых для него обстоятельствах. Настоятелю Святогорского монастыря, игумену Ионе, – старцу святой жизни, по свидетельству современников, – и священнику села Вороноча, Илариону Михайловичу Раевскому, по прозванию Шкода, было поручено духовное наблюдение за ним ввиду тяготевшего над ним обвинения в безбожии. Тот и другой оказались для него любящими духовными врачами и легко покорили его чуткую, отзывчивую душу.

Посещая каждую субботу монастырь, Пушкин научился уважать его настоятеля-подвижника и искренно полюбил о. Шкоду, который сам обычно приезжал навещать его. Об искренней его дружбе с последним свидетельствует бесхитростный рассказ его дочери Акулины Скоропостижновой, записанный с ее слов.

„Подъедет это верхом к дому и в окошко плетью бух. „Поп у себя?" – спросит, а если тятеньки нет, прибавит: „Скажи, красавица, чтобы беспременно ко мне наведался... Мне кой о чем потолковать с ним надо". Коли нет, да долго не виделся – сердится. „Что он ко мне уже три дня не едет?" Благодетель он

наш был, Александр Сергеевич. Однажды возьми и подари папеньке семь десятинок".

На предложение о. Илариона оформить дар, Пушкин сказал: „Никто все равно моего подарка от вас не отнимет". (Разговоры Пушкина, собранные Гессеном и Модзалевским, сс. 62-63).

Этому о. Шкоде он заказал отслужить заупокойную литургию по Байроне, после которой послал просфору кн. Вяземскому.

Особенно ценно было для Пушкина постоянное соприкосновение со Святогорским монастырем как хранителем заветов старого русского благочестия, духовно питавшим множество людей, черпавших от него не только живую воду веры, но и духовную культуру вообще. Наблюдая воочию эту тесную нравственную связь народа с монастырем и углубляясь в изучение „Истории" Карамзина и летописей, где развертывались перед ним картины древней аскетической Святой Руси, Пушкин, со свойственной ему добросовестностью, не мог не оценить неизмеримого нравственного влияния, какое оказывала на наш народ и государство наша Церковь, бывшая их вековой воспитательницей и строительницей.

На почве расширенного духовного опыта поэта и углубленных исторических познаний родился весь несравненный по красоте духовный и бытовой колорит драмы „Борис Годунов", которую сам автор считал наиболее зрелым плодом своего творчества (хотя ему было в то время только двадцать пять лет), особенно „смиренный и величавый" образ Пимена, которого не могут затмить другие действующие лица драмы. Пимен – это не просто художественное изображение, сделанное рукою великого мастера: это живое лицо, которое трогает, учит и пленяет читателя, подчиняя его своей тихой, кроткой, но неотразимой духовной власти. Он вышел из самого сокровенного горнила творчества

Пушкина, который слился с ним в муках духовного рождения, как мать со своим ребенком. Не напрасно он говорит, что „полюбил своего Пимена", плененный сам его духовной красотой. В нем поэт дал самый законченный, самый выпуклый и самый правдивый тип православного русского подвижника, какой только был когда-нибудь в нашей художественной литературе. Он не просто зарисован вдохновенным художником, но как бы высечен из мрамора мощным резцом скульптора, чтобы стать наиболее осязаемым для нас. Не потому ли Антокольский так легко воплотил его в своей известной статуе, а Достоевский говорил, что о нем одном можно написать несколько томов?

Пушкин уразумел своим русским чутьем, что здесь запечатлена от века лучшая часть нашей народной души, видевшей в монашестве высший идеал духовно-религиозной жизни. Ее неутомимая тоска по горнему отечеству находила отклик в его собственном сердце, звавшем его туда, „в заоблачную келию, в соседство Бога Самого". Уже одним этим своим чудным и возвышенным образом, вышедшим из народной стихии и снова воплощенным в нее гением поэта, он искупил в значительной степени нравственный соблазн, который он мог посеять вышеуказанными своими легкомысленными произведениями.

Рядом с этим неумирающим наставником-иноком, уроки которого вошли в плоть и кровь целого ряда русских поколений, можно поставить только огненный образ „Пророка", представляющий собой почти единственное явление в мировой литературе, как апофеоз призвания поэта на земле. Замечательно, что он возник у Пушкина не в каком другом месте, а именно в Святогорском монастыре, то есть в той же духовной атмосфере, которая дала плоть и кровь Пимену.

Вот как совершилось таинство творческого рождения „Пророка" – по признанию самого поэта в беседе с О.А. Смирновой:

„Я как-то ездил в монастырь Святые Горы – чтобы отслужить панихиду по Петре Великом. Служка попросил меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия, и я взглянул на страницу – это был Иезекииль (следовало бы сказать Исаия – неизвестно, кому принадлежит эта ошибка: Пушкину или г-же Смирновой, которой могла изменить память). Я прочел отрывок, который перефразировал в „Пророке". Он меня внезапно поразил, он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я встал и написал стихотворение".

Высокий подвиг монашества был так близок душе поэта, что он ищет его идеального олицетворения не только среди иноков, но и среди благочестивых жен-подвижниц. Обрисовка последних у него не достигает глубины и силы, какую мы видим в изображении Пимена, но все же оставляет в нашей душе светлое благоуханное впечатление. Такова прежде всего монахиня Изабела в „Анджело", выросшая на католической почве, но близкая православию по своему духовному облику.

„Она чиста была душою, как эфир", и потому

Ее смутить не мог неведомый ей мир
Своею суетой и праздными речами.

В своей всеобъемлющей любви ко всему миру она готова своих ближних одарить великими дарами –

... молитвами души
Пред утренней зарей, в полунощной тиши,
Молитвами любви, смирения и мира,
Молитвами святых, угодных небу дев,
В уединении умерших уж для мира...

Пушкин проводит свою героиню через горнило тяжелых нравственных испытаний, поставив ее перед необходимостью выбирать между сохранением своей чистоты, пожертвовать которой требовал от нее лицемерный Анджело, и спасением любимого брата. Она нашла в себе, однако, достаточно мудрости и мужества, чтобы сказать своему несчастному брату, что „бесчестием се-

стры души он не спасет", и, победив силою веры и доброго рассуждения свое искушение, она спасла по воле Божией и брата, и себя, выйдя еще более светлой и чистой из ниспосланного ей испытания.

С каким-то особенным тихим умилением поэт рисует перед нами потайную келию Бахчисарайского женского гарема, где скрыта от мира молодая подвижница, решившая сохранить свое целомудрие даже в гареме, укротившая и возродившая своею кротостью своего чувственного и жестокого повелителя Гирея. Вся жизнь ее овеяна благодатным миром и молитвой:

Там день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Там упованье в тишине
Смиренной верой обитает,
И сердцу все напоминает
О близкой, лучшей стороне;
. . . . . .
И между тем как все вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.

Ее душа чужда всему земному – она ждет откровения иной, лучшей жизни в лучшем отечестве:

Что делать ей в пустыне мира?
Уж ей пора, Марию ждут
И в небеса, на лоно мира,
Родной улыбкою зовут*.

Иноческое горение видно в подвигах „Родрига" во время его пребывания в уединении в пустыне.

Быть может, оба эти образа, особенно первый, навеяны Пушкину чтением Четий-Миней, которые у него

* В лице Марии изображена дочь одного родовитого польского вельможи, захваченная в плен татарами.

были в Михайловском и которые он внимательно изучал впоследствии.

Высокая житийная поэзия должна была быть особенно понятна его сердцу. Оттуда ему стали близки „отцы-пустынники и жены непорочны", в которых он заставляет нас чтить наших духовных водителей, укрепляющих нас среди „дольних бурь и битв" сложенными ими „божественными молитвами"; из последних особенно умиляет поэта великопостная молитва Ефрема Сирина, проникнутая глубоким покаянным чувством, столь родственным душе поэта.

Если он умел грешить, делаясь пленником собственных страстей, то умел искренно и каяться в своих падениях, подлинно „окаявая" себя в то время, как это свойственно издавна русскому православному человеку. Живым свидетельством этого служат стихотворения „Воспоминание" и „Воспоминания в Царском Селе" („Воспоминаньями смущенный...") (1829 г.).

Что может быть суровее тех самобичеваний, какими полно первое из них, где он вспоминает напрасно утраченные свои годы „в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы". Не менее трогательно и второе, в котором он, подобно блудному сыну, выражает свое сокрушение при мысли о своих напрасных духовных блужданиях после того, как покинул свою Alma Mater, бывшую для него „Отчим домом":

Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.

Ничто не смиряло так его души и не настраивало ее на покаянное чувство, как постоянная мысль о смерти, которую он всегда имел перед глазами, не расставаясь с нею ни среди „улиц шумных", ни на пирах, где он си-

дел меж „юношей бездумных" („Брожу ли я вдоль улиц шумных...").

Приставленные к нему два таинственных ангела с пламенными мечами не переставали говорить ему „о тайнах вечности и гроба":

Летят за днями дни и каждый день уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь – как раз – умрем.
(„Пора, мой друг, пора...")

– пишет он своей жене в самом расцвете жизни. „Со времени кончины моей матери, – признавался Пушкин Смирновой, – я много думаю о смерти и уже в первой молодости много думал о ней".

Предчувствие скорой неизбежной кончины находит свое отражение и в последних приветственных стихотворениях лицею по случаю его годичных праздников. Последнее из них – „19 октября 1836 г." – он не докончил и не мог прочитать всего, что было написано. Слезы прервали его голос, и стихотворение дочитал другой.

Потрясающий контраст между священным таинством смерти и легкомыслием людей, способных отдаваться наслаждениям на краю могилы, изображен в „Пире во время чумы". Это, быть может, одно из самых глубоких произведений, написанных его рукою. Наиболее трагический момент здесь начинается с тех пор, когда среди пирующих безумцев появляется священник, чтобы обличить их кощунственную вакханалию.

Безбожный пир, безбожные безумцы!

– гремит его пророческий голос, –

Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертию распространенной!

Как и всех обличающих пророков, его встречают насмешками, но они не смущают мужественного служителя Евангелия. Исполнив свой долг, он уходит с нечестивого пира со словами мира и любви на устах:

Спаси тебя Господь.
Прости, мой сын,

— говорит он, обращаясь к председателю безумного собрания.

Никогда смерть не бывает столь тяжким испытанием, как если человек умирает невинным от насильственной руки своего врага. Кто может примирить тогда нас с нею, как не Церковь, напутствующая умирающего в вечную жизнь и дающая ему благодатную силу, умирая, простить своего убийцу.

Этот вопрос трагически поставлен и глубоко раскрыт в описании предсмертных минут Кочубея в поэме „Полтава":

„... вот он!.." — говорит этот невинный страдалец, заслышав ключ в замке тюрьмы накануне казни.

Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могучий разрешитель,
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его Святую Кровь и Тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь!

Впоследствии сквозь такой же нравственный искус пришлось пройти самому поэту после дуэли с Дантесом, и он оказался способным победить его только при помощи того же небесного врачевания.

Только в одном случае смерть не внушает нам ни страха, ни ужаса, когда отлетает от этого мира душа невинного младенца. Эту мысль поэт выразил в „Над-

гробной надписи кн. А.Н. Голицыну" и в „Эпитафии младенцу Волконскому".

Отрадным ангелом ты с неба к нам явился...

— читаем мы в первом, —

И радость райскую принес с собою к нам;
Но, житель горних мест, ты миром не прельстился
И снова отлетел в отчизну, к небесам.

Не менее умилительна „Эпитафия младенцу Волконскому":

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Оба эти стихотворения озарены яркою верою поэта в бессмертие и вечную неразрывную связь молитвы и любви между живыми и умершими.

С такими ясными и светлыми словами утешения к скорбящим родителям мог бы обратиться подвижник, для которого не существует грани между преходящим земным и вечным небесным миром.

Пушкин преодолел эту грань не только силою творческого проникновения, как „небесного земной свидетель", но и напряженною работою ума, озаренного сиянием веры. „Тайны гроба роковые", которые в числе других предметов были темою оживленных дружеских бесед между Онегиным и Ленским, занимали с ранней юности пытливый дух поэта, который нередко перевоплощался в его излюбленных героев.

Мы уже упоминали о его стихотворении „Безверие". Написанное еще на школьной скамье, для выпускного лицейского экзамена, оно носит на себе отпечаток глубокой философствующей мысли, ставящей пред собою мучительный вопрос о загробной жизни. Непостижи-

мая для нас тайна последней находит свое разрешение только в свете веры.

Наш век – неверный день, всечасное волненье;
Когда, холодной тьмой объемля грозно нас,
Завесу вечности колеблет смертный час,
Ужасно чувствовать слезы последней муку
И с миром начинать безвестную разлуку!
Тогда, беседуя с раскованной душой,
О, вера, ты стоишь у двери гробовой!
Ты ночь могильную ей тихо освещаешь
И, ободренную, с надеждой отпускаешь.

Потрясающими драматическими чертами поэт изображает психологию неверия, всегда безответного перед лицом могилы, и противопоставляет ей тихое умиротворяющее созерцание веры, проникающей мрак последней и вновь соединяющей нас с дорогими лицами, отнятыми у нас безжалостною рукою смерти.

А он, слепой мудрец, при гробе стонет он!
(неверующий. – митр. А.)
С усладой бытия несчастный разлучен,
Надежды сладкого не внемлет он привета:
Подходит к гробу он, взывает... нет ответа!
. . . . . .
К почившим позванный вечерней тишиной,
К кресту приникнул он бесчувственной главой;
В слезах отчаянья, в слезах ожесточенья,
В молчаньи ужаса, в безумстве исступленья
Рыдает! И меж тем, под сенью темных ив,
У гроба матери колена преклонив,
Там дева юная, в печали безмятежной,
Возводит к небу взор болезненный и нежный.
Одна, туманною луной озарена,
Как ангел горести, является она,
Вздыхает медленно, могилу обнимает...

Что может быть разительнее такого контраста, выстраданного, несомненно, собственным сердцем поэта?!

Его духовный облик был очень сложен, глубок и непроницаем, как море. На поверхности его бушева-

ли волны страстей, в то время как в глубинах своих он оставался недвижим и спокоен, и там совершалась сокровенная работа гениальной мысли, проникающей к величайшим тайнам бытия и смерти. Его дух испытывал и вопрошал всегда и везде, и даже череп на пиру является его наставником.

О жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный, иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.
(„Череп")

Красноречивее всего о его неустанной внутренней духовной работе свидетельствуют черновые наброски его стихотворений, особенно тех, какие относятся ко времени его пребывания в Бессарабии. Они вводят нас в таинственную лабораторию его творчества, которую он так ревниво оберегал от постороннего взгляда.

По этим отрывочным, но драгоценным для биографа Пушкина записям, как бы по эскизам художника, мы узнаем беспокойный, нервный ритм его душевной жизни в то время, когда он, по образному выражению А. Тырковой, „отбивался от злобного гения, кружившегося над ним" (А. Тыркова-Вильямс. Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824. – Париж, 1929. Том 2. – Париж, 1948).

Свет и тьма напряженно боролись в нем, пока он не побеждал своих сомнений и солнце истины не озаряло его смятенную душу. Его страшит одна мысль об уничтожении человека после смерти, и он гонит ее от себя, как страшный призрак.

Ты, сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого –
Ничтожество! пустой призрак,
Не алчу твоего покрова.
Веселье жизни разлюбя,
Счастливых дней не знав от века,
Душой не верую в тебя.

Ты чужда мыслям человека!..
Конечно, дух бессмертен мой...
(„Таврида")

— восклицает он потом, как бы преодолев окончательно свои последние духовные колебания и сомнения.

Слово „бессмертный", как основной мотив, проходит сквозь ткань его напряженной мысли, принимая разные сочетания — *бессмертная* мысль, *бессмертное* счастье и т.п. По временам он стремится затушевать это слово, как бы боясь, чтобы его записи не выдали кому-нибудь сокровенные от людей, мучительные искания его души.

Его занимает вопрос о том, не прекращаются ли со смертью узы земной любви и не померкнут ли во свете новой преображенной жизни все прежние переживания души — „и чужд мне будет мир земной".

Быть может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя...
(„Люблю ваш сумрак неизвестный...")

Первые четыре стиха из этого отрывка заслуживают особого внимания. Не в них ли заключается разгадка того, почему Пушкин так напряженно устремлял свой взор в тайну вечности.

Там, в лоне вечной жизни, он надеялся узреть сияние „нетленной славы и красы", откровение того подлинного „совершенства бытия", которое просвечивало для него уже здесь, на земле, то в образе „ангела нежного", сияющего во вратах Эдема, то самой Пречистой Девы, кроткой в величии, „во славе и в лучах".

Идеал совершенства, явленный ему в тайне поэтического творчества, ярко светил ему на протяжении всей жизни, спасая его от отчаяния в минуты тоски и уны-

ния и не давая ему погрязнуть „во мраке земных сует", которым он отдавался особенно в пору юности.

Несоответствие между этим идеалом и действительностью и, прежде всего, его собственным внутренним миром, создавало в нем то ощущение неудовлетворенности, какое так глубоко выражено в „Сцене из Фауста", которая является на самом деле только свободным подражанием великому произведению Гёте: в ней мы слышим, несомненно, отклик собственных настроений Пушкина, созвучных Фаусту.

„Тоска и скука ненавистная", как яд, отравляли его беспокойную душу: ничто не могло заглушить их: ни „знаний ложный свет" — „пучина темная науки", ни слава и „мирская честь", ни „восторг" и „упоение" страстей.

Он не скрывает своего разочарования во всем, чем его манила жизнь в легкомысленные молодые годы. „Безумных лет угасшее веселье" его тяготит, „как шумное похмелье".

Юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты.
Опомнимся, но поздно!

— предостерегает он своих лицейских друзей в стихотворении „19 октября 1825 г.":

Пора! пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!

Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?

— с горечью признается он в „Разговоре книгопродавца с поэтом".

Поэт понял своим внутренним чутьем, что источник счастья не вне, а в нас самих, что грех алчный, „гнавшийся за ним по пятам", есть тот „художник-варвар", который чертит свой „рисунок безобразный" на душе

человека, затемняя в ней светлый образ Божий и отравляя для него все родники истинного блаженства.

Гершензон в своем известном исследовании „Мудрость Пушкина" делится с читателями подлинно мудрым своим наблюдением, что

„Пушкин хорошо знал *чистое чувство греховности,* то настроение, когда человек говорит себе: пусть я не властен не согрешать, но мне больно и стыдно, что я так далек от совершенства".

Пушкин знал „змеи сердечной угрызенья".

Все помнят эти стихи:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
(„Воспоминание")

„Такого покаянного псалма, – продолжает автор, – никогда не мог бы написать Лермонтов. В его поэзии нельзя открыть ни малейших признаков покаяния. Чувство греха чуждо ему (...). Совершенство, однако, „манит" и его, но в то время, как Пушкин благоговеет перед красотой совершенства, сознавая его недосягаемость для себя, Лермонтов завидует счастью совершенства, мятежно силится овладеть им" („Мудрость Пушкина". – М., 1919, сс. 78-79).

Здесь мы видим меру духовной глубины одного и другого поэта: Пушкин, несомненно, ближе, чем Лермонтов, подошел к православно-христианскому мировоззрению.

Он не вмещается всецело ни в беспочвенного скитальца-интеллигента, подобного Онегину, ни в бегущего от условностей света в лоно первобытной жизни разочарованного Алеко, хотя он и прошел через эти отрицательные духовные стадии, отражающие настроение известной части современного ему русского образованного общества.

Гораздо полнее и глубже его нравственный облик воплощается в образе „странника", написанного его художественною кистью с чужого оригинала (Бунь-

яна), но глубоко усвоенного им самим в более сознательную эпоху его жизни. Этот „Странник" (он написан в 1834 г.) – не бездомный скучающий скиталец, по образу Онегина, но паломник, взыскующий грядущего града.

Объятый „скорбию великой", томимый страхом „смерти" и „суда загробного", он ищет для себя безопасного духовного убежища от угрожающей ему погибели. Его тревоги, горькие слезы и вздохи непонятны окружающим людям и даже собственной семье, признавшей его не более, как больным безумцем. В своем одиночестве он не знает, „куда ж бежать?", „какой (...) выбрать путь?", пока таинственный юноша не указывает ему вдали стезю, озаренную светом:

... держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг...

Услыхав эти слова, обрадованный странник без колебания бежит от мира, оставляя родной дом,

Дабы скорей узреть – оставя те места,
Спасенья узкий путь и тесные врата.

Это стихотворение – столь глубокое по своей основной идее – почти не требует комментария: „Странник" – это русский православный народ, издавна привыкший считать себя „странником" и пришельцем в этом мире. Его душа всегда рвется к свету, сердце ищет аскетического искупительного подвига, узким путем и тесными вратами ведущего христианина в Царство Небесное.

Чем более зрел духовно наш великий поэт, тем ближе он подходил к этому исконному народному идеалу. Его общее мировоззрение и умозрение поднимались постепенно на одну высоту с его окрыленным поэтическим творчеством, представляющим собою, по слову Белинского, „землю, проникнутую небом".

Разочарования семейной жизни, быть может, еще бо-

лее охладили его привязанности к этому обманчивому преходящему свету, и самый ум его становится все более *религиозным,* как он сказал некогда о Гёте.

Сознание суетности всего земного невольно обращает взор человека к Богу, и душа ищет утешения в молитвенном общении с Ним.

Религиозно-молитвенное умиление нередко касалось души поэта: об этом отраженным путем свидетельствуют многие из его творений. Что может быть трогательнее простого сердечного молитвенного причитания, каким няня старается успокоить непонятную для нее тоску Татьяны:

Дитя мое, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси!
. . . . . .
Дай окроплю святой водою,
. . . . . .
Дитя мое, Господь с тобою!

Не подлежит сомнению, что здесь поэт воскресил воспоминания своего детства, когда его няня, прославившаяся навсегда через своего великого питомца, крестила его дрожащей рукой при тихом свете вечерней лампады. Умиротворяющее влияние последней глубоко запало в душу поэта, который нередко пользуется ею как дорогим ему символом в своих произведениях.

Духовным умилением насыщены многие страницы „Бориса Годунова": оно дышит в устах Пимена, Грозного царя, о котором вспоминает последний в предобеденной молитве, которую читает мальчик в доме Шуйского, и в трогательном рассказе патриарха о чуде от мощей царевича Димитрия, и, наконец, в завещании сыну самого Бориса, когда он, принимая схиму, отходит от этого мира с словами покаяния и примирения на устах.

Даже наиболее возвышенные страницы Корана, в которые углубляется поэт, настраивают его лиру на величественные религиозно-молитвенные мотивы:

Творцу молитесь; Он – могучий;
Он правит ветром в знойный день,
На небо посылает тучи;
Дает земле древесну сень.

С Тобою древле, о Всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но Ты, Господь, его смирил.
(„Подражания Корану")

Но особенно его сердцу были близки, конечно, наши вдохновенные, проникновенные, православные молитвы, по его собственному признанию „умилявшие" его душу. Такова особенно великопостная молитва Ефрема Сирина – этого певца покаяния, – и величайшая из всех других „Молитва Господня": ту и другую он воплотил в высоких, вдохновенных стихах. Поэтическое переложение первой мы все изучали с детства. Гораздо менее известна художественная „одежда", в какую поэт попытался облечь вторую.

Отец людей, Отец Небесный,
Да имя вечное Твое
Святится нашими устами,
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли,
Насущный хлеб нам ниспосли
Твоею щедрою рукою.
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Твоих детей.
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас.

Сохранив почти неприкосновенным весь канонический текст этой евангельской молитвы, Пушкин сумел передать здесь и самый ее дух, как мольбы детей, с доверием и любовию обращающих свой взор из этой земной юдоли к Всеблагому своему небесному Отцу.

„Капитанская дочка", оконченная только за сто

дней до смерти поэта и являющаяся как бы его литературным и вместе духовным завещанием для русского народа, вместе с другими особенностями русского быта, рисует нам и веру наших предков в силу молитвы — этого утешения „всех скорбящих", которая дважды спасает от опасности Гринева в наиболее критические минуты его жизни.

Но если где мы видим подлинную исповедь поэта, „странника", то это в одном из предсмертных его стихотворений, которое было открыто в его бумагах значительно позже его смерти и напечатано впервые в „Русском Архиве" только в 1881 г.

Оно связано с таинственным видением, предуказавшим поэту уже скорый исход из этого мятежного мира в страну вечного покоя:

Чудный сон мне Бог послал:
В ризе белой предо мной
Старец некий предстоял
С длинной белой бородой
И меня благословлял.

Он сказал мне: „будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес,
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.

Казни вечные страшуся,

— исповедуется поэт-странник:

Милосердия надеюсь.
Успокой меня, Творец!
Но Твоя да будет воля,
Не моя... Кто там идет?
(„Родриг")

Так, в тихом сиянии веры, открывался для него град Божий, это небурное „убежище" для всех при-

шельцев этого мира, – и его смятенное тоскующее сердце успокаивалось в лоне милосердия Божия, которому он вручал свою душу. Его кончина, как увидим после, и была именно таким успокоением, в которое он вошел подлинно „тесными вратами" и „узким путем" своих предсмертных страданий.

Изведав на собственном опыте трудность борьбы с греховным соблазном, Пушкин умел снисходить и к немощам своих ближних. Он предпочитал „милость к падшим призывать" вместо того, чтобы бросать в них камнем осуждения.

В то время как Достоевский своим, по временам подлинно „жестоким", талантом разверзает пред нашим взором бездну зла и долго держит нас над нею, гармоническая муза Пушкина не выносила соприкосновения с глубинным злом. Замечательно, что у него почти нет ярко выраженных глубоко трагических или отталкивающих порочных типов, кроме, быть может, Скупого рыцаря. Всякую дисгармонию, какую он встречает в жизни, он стремится в конце концов разрешить светлым аккордом.

Так он примиряет нас и с коварным и вероломным, по его изображению, Борисом Годуновым, подчеркивая его очистительные страдания на закате жизни, и даже с таким закоренелым преступником, как Пугачев, когда рисует картину его публичной казни. Последняя сама по себе является уже искуплением за его многочисленные злодеяния, но когда мы читаем о том, как Пугачев, стоя на эшафоте, сделал несколько земных поклонов при виде Кремлевских соборов и, кланяясь во все стороны народу, говорил прерывающимся голосом: „Прости, народ православный; отпусти, в чем я согрубил пред тобою... Прости, народ православный!", – то мы действительно готовы вместе с автором простить умирающего злодея, предавая его кающуюся душу праведному и вместе милостивому суду Божию.

Все это характеризует Пушкина как нашего подлинно великого национального православного поэта, неотделимого от русской народной стихии.

Главное, что сближало его с народом в чисто духовной области, это гармоническая ясность духа и смирение – смирение не только сердца, но и ума, – что так легко открывает путь к вере. Академик Струве, в своей глубокой статье „Дух и слово Пушкина" („Белградский Пушкинский сборник", 1937), правильно истолковал самую сердцевину нравственного облика великого поэта, когда написал о нем следующие строки:

„Основной тон пушкинского духа, та душевно-духовно-космическая стихия, к которой он тянулся, как творец-художник и как духовная личность, можно выразить словосочетанием „ясная тишина"... Но „за этой доступной и естественной человеку ясной тишиной" он „прозревал неизъяснимую Тайну Божию, превышающую все земное и человеческое, и пред этой Тайной Божией смиренно и почтительно склонялся. Да, его припадание к Тайне Божией было действием, можно сказать, стыдливым" (сс. 8-9).

Чисто русскими православными чертами рисуют его духовный облик в пору его зрелости его современники, а также его прозаические произведения, где он вполне определенно, без всяких поэтических покровов, исповедует свои общие взгляды и убеждения. Из живых свидетелей на первом месте стоит Александра Осиповна Смирнова (урожденная Россет, бывшая фрейлина у государыни императрицы Марии Феодоровны и Александры Феодоровны) – женщина большого ума, утонченного образования и вкуса и высокой религиозной настроенности, бывшая в дружественных отношениях с Пушкиным, глубоко ценившая и чутко понимавшая великого поэта. Хотя ее „Записки", изданные ее дочерью О.Н. Смирновой, подвергаются в некоторых своих частях сомнению со стороны их исторической точности, однако ими пользуются все биографы Пушкина, поверяя их, где нужно, конечно, другими историческими данными. В них рассеяно множество цен-

нейших заметок, обрисовывающих нравственный образ Пушкина после 1826 г., когда характер его уже почти сложился. Духовная близость и взаимное доверие, которое соединяло Пушкина со Смирновой, делали его особенно откровенным со своею собеседницею. Он поверял ей святое святых своей души, которое стыдливо скрывал от других. В ее просвещенном салоне он встречался с самыми выдающимися по своей духовной культуре и по своим дарованиям русскими людьми того времени, из коих большинство были его близкими и искренними друзьями. Это были: Жуковский, Гоголь, Вяземский, Хомяков, А. Тургенев, Полетика и др.

В этой избранной среде, насыщенной высокими духовными интересами, велись оживленные беседы на литературные, исторические и философские темы. Нередко затрагивались здесь и глубокие религиозные вопросы, при обсуждении коих особенно ярко блистал тонкий диалектический ум Хомякова, широкие богословские познания которого соединялись и с поэтическим даром. Этот последний талант, как и самая живость темперамента, невольно роднили его с Пушкиным. Еще более впечатлительная и все испытующая душа последнего чутко отзывалась на все „вечные" запросы человеческого духа и заставляла его принимать самое оживленное участие в этих серьезных дружеских беседах, где он занимал нередко доминирующее положение. Его друзья, привыкшие преклоняться пред его поэтическим гением, который был его лучшим учителем, должны были отдать дань глубокого уважения меткости и остроумию его логических суждений, бывших, очевидно, скорее плодом „ума холодных наблюдений", чем творческой интуиции. В религиозной области Пушкин был в это время не только чуждым всякого скептицизма, но нередко поражал своих собеседников ортодоксальностью своих взглядов. Он не боял-

ся исповедовать их здесь с мужеством убежденного христианина.

Однажды Смирнова повторила перед ним ходившие тогда упорные слухи о неверии его. Пушкин расхохотался и сказал, пожимая плечами: „Разве они считают меня совершенным кретином?" (Записки О.А. Смирновой, изд. „Северного Вестника". – СПБ, 1894 г.). Значение религии, по его мнению, неизмеримо: „она создала искусство и литературу, без нее не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности". Исходя из этого, он сожалел, что „во Франции после XVII века религиозный элемент совершенно исчезает из произведений изящной словесности" и что „гуманизм сделал французов язычниками" (там же, сс. 148-149).

Он открыто порицал французских писателей XVIII века за их нравственный „цинизм" и вольнодумство. Даже Руссо он считал писателем „безнравственным, ибо идеализировать запрещенные страсти безнравственно". Но особенно он негодует на своего прежнего кумира Вольтера (которого он называет в другом месте „Фарнейским шутом"), соблазнившего его „своим гнусным произведением о Жанне д'Арк" написать поэму, которая „тяготит его совесть" и о „которой он не может вспомнить без краски стыда" (с. 191).

Но зато он высоко ставит Ламартина и Расина: у первого он видит не только „прекрасный талант и чуткую любовь к природе, но и религиозно-настроенный ум". „У Расина также было глубокое религиозное чувство. Чуть встретишь у него упоминание о природе, и сейчас же мысль его возносится к ее Творцу" (сс. 193-194). Английскую литературу Пушкин предпочитает французской, потому что, несмотря на влияние гуманизма, появившегося в Англии ранее, чем во Франции, она „осталась христианской" (с. 148). Он находит „положительное религиозное чувство у Байрона, хотя его и обвиняют в атеизме, не читая его" (с. 195), и часто восторженно говорит о Мильтоне.

Когда Смирнова спросила его мнение о „Прометее" Шелли, Пушкин ответил:

„Я не признаю, чтобы возмущение против Бога могло освободить нас от наших жизненных зол, это – софизм; это – архилживо: возмущение против Бога только ожесточает людей... Страдание, принимаемое с непокорным духом, никого не освобождает. Это все равно, что сказать, что Бог, Который есть любовь, терзает человечество, чтобы наслаждаться его страданием. Данте, Шекспир, Мильтон, Гёте, Байрон никогда не проповедовали такого чудовищного софизма" (с. 205).

Неотразимое впечатление производил на него Данте своею „Божественной комедией". Читая ее, он понял, что „прекрасному надлежит быть величественным" (с. 185). Жуковский коснулся однажды в том же кружке психологии атеистов, сказав, что между ними „много фанатиков". Пушкин, по словам Смирновой, прибавил насмешливым тоном:

„Я часто задаюсь вопросом, чего они кипятятся, говоря о Боге? Они яростно воюют против Него и в то же время не верят в Него. Мне кажется, что они даром теряют силы, направляя удары против того, что, по их же мнению, не существует" (с. 190).

Ему чужды и непонятны были не только атеисты, но „деисты, которые не любят Бога, даже когда верят в Него, и не признают того, что один Бог есть принцип всякой любви" (с. 195). Прочитав „Скупого рыцаря", Смирнова сказала, что в нем есть нечто „диавольское". Пушкин воспользовался этим, чтобы перед нею и другими собеседниками – Жуковским, Вяземским, Тургеневым и Карамзиными – изложить свой взгляд на Сатану и природу злых духов вообще.

„Золото, – сказал он, – есть дар Сатаны людям, потому что любовь к золоту была источником большего числа преступлений, чем всякая другая страсть. Мамон был самый низкий и презренный из демонов".

Он потом стал развивать мысль о том, что Сатана

искушает человека из ненависти к нему, ибо последний свободнее павшего Денницы, укоренившегося во зле.

„Я вижу, что у тебя самые правоверные воззрения насчет лукавого", – заметил с некоторой иронией Тургенев. „А кто же тебе сказал, что я не правоверный", – возразил Пушкин. „Я верю Библии, – продолжал он, – во всем, что касается Сатаны: в стихах о падшем духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская истина. Безобразие никого не искусило и нас оно не очаровывает".

Если же в средние века диавола изображали в ужасном, отвратительном виде и „его уродливость не мешала колдуньям поклоняться ему", то это „свидетельствует о развращенности рода человеческого, способного преклоняться пред всевозможными и особенно нравственными уродливостями, возводя их в красоты". „Обожали же даже Марата", – заключил он (сс. 209-219).

Его душа отвращалась от всякого нравственного безобразия, потому что все подлинно божественное открывалось ему сквозь призму красоты.

„Красота, истина и симметрия есть выражение Верховного Существа, – цитирует он одного неоплатоника. – Но платоники не сумели осуществить прекрасного, которое есть добро в действиях; они только мечтали об осуществлении его. Только христианство осуществило этот союз".

Если Платон пленяет его высотою своих созерцаний, то не менее удивляется он Аристотелю, с непоколебимой логикой доказывавшему существование Бога рассудком (с. 180).

Однако его собственная уверенность в бытии Божием покоилась не на рассудочных основаниях, а на свидетельстве внутреннего опыта.

Близкое знакомство с философским учением Локка и Юма привело его к убеждению, что „человек нашел Бога именно потому, что Он существует. Нельзя найти то, чего нет, даже в пластическом искусстве".

Идея Божества прирождена нам. Особым таинствен-

ным внутренним инстинктом мы познаем иную потустороннюю „действительность, которая столь же реальна, как и все, что мы можем трогать, видеть, испытывать. В народе есть врожденный инстинкт этой действительности, то есть религиозное чувство, которое он даже и не анализирует" (с. 162).

Так Пушкин, проблуждав по распутиям шатающейся человеческой мысли, снова возвратился к непосредственной народной вере, привитой ему его няней в детстве.

У народа же он, по-видимому, научился читать Писание как источник вечной мудрости, в коем, по его словам, „находишь всю человеческую жизнь".

Он не только имел Библию настольною книгою сам, но и хотел, по примеру англичан, приучить читать ее своих детей.

Когда Хомяков повторил известное возражение против этого, состоящее в том, что „в Библии есть вещи неприличные и бесполезные для детей и что хорошая священная история лучше", Пушкин, отражая опять народное воззрение на эту святую Книгу, с горячностью воскликнул:

„Какое заблуждение! Для чистых все чисто; невинное воображение ребенка никогда не загрязняется, потому что оно чисто... Поэзия Библии особенно доступна чистому воображению; передавать этот удивительный текст пошлым современным языком – это кощунство даже относительно эстетики, вкуса и здравого смысла. Мои дети будут читать Библию в подлиннике". – „По-славянски?" – спросил Хомяков. „По-славянски", – подтвердил Пушкин, – я сам обучу ему" (с. 163).

Здесь в нем еще раз заговорил здоровый народный инстинкт, который он чувствовал, очевидно, глубже, чем прославленный корифей славянофильства Хомяков.

Как ни высоко ценил Пушкин величавый и благозвучный славянский язык, на каком одном употребля-

лась тогда Библия (ибо русского перевода еще не существовало в то время), он должен был пользоваться и французским ее переводом, как это видно из его писем к брату; французский язык, знакомый ему с детства, мог иногда помочь ему лучше прояснить для себя библейский текст там, где славянский перевод не был достаточно вразумителен. Он прочитал Библию, по собственному признанию, „от доски до доски". Но он не только читал, а и изучал ее, пока она не покорила его своею внутреннею всепобеждающею силою. Пушкин по своему внутреннему духовному существу был глубоко нравственный человек, что отразилось и на его творчестве. Быть может, он был даже самым *нравственным* из наших писателей, как выразился о нем один исследователь. Он ясно сознавал и чувствовал грани, отделяющие добро от зла, противопоставляя их одно другому. Почти все его герои носят ярко выраженный нравственный характер: в лице их он возвышает добродетель и клеймит порок и страсть. Его личные падения были плодом порывов страстного чувства и слабости воли, но отнюдь не потемнения нравственного сознания или усыпления совести, отличавшейся у него на самом деле большою чуткостью. Голос последней явственно звучал в его душе всегда, служа источником его постоянного нравственного обновления, после его страстных увлечений на пути греха. В минуту борьбы со злом и особенно, когда оно облечено было в красивую форму, с тем „волшебным демоном", который смущал его еще с детства своим „сомнительным и лживым идеалом", он находит для себя источник просветления и укрепления в Библии, бывшей для него воплощением истины и правды. Поэтический дар невольно заставляет его и здесь искать художественных образов, какие служили бы олицетворением добра, а не зла, ибо гений и злодейство для Пушкина несовместны по своей природе: „прекрасное должно быть величавым" и, следовательно, чистым. Библия и откры-

вает перед ним эти величавые, чистые и прекрасные образы, полные истинной поэзии. Если Байрон пытался опоэтизировать Каина, то Пушкина пленял особенно облик Моисея, которого он называет

„Титаном, величественным в совершенно другом роде, чем греческий Прометей и Прометей Шелли. Он участвует в делах Божественного Промысла, начиная с Неопалимой Купины до Синая, где он видел Бога лицом к лицу. И умирает на горе Нево один перед лицом Всевышнего. Только в Боге может найти успокоение этот великий служитель Божий. Никогда и нигде Моисей не говорит о личных чувствах. Замечательное лицо для поэмы" (Записки Смирновой, с. 195).

В таком восприятии облика великого пророка и вождя народа Израильского Пушкин, сам того не замечая, уже переходит из чисто поэтического его созерцания в область богословского умозрения, которое также не было чуждо его великому духу. Иов с его страданиями, на которые он жалуется своим друзьям и прежде всего Самому Богу, стоит, по мнению поэта, ближе к обыкновенным людям; поставленный с такою силою в речах его и его друзей вопрос о происхождении и значении страданий и о несоответствии добродетели и благополучия на земле, по-видимому, глубоко волновал Пушкина и потому он ценил эту священную книгу особенно высоко, так же, как и Байрон; по словам Киреевского, он хотел изучать еврейский язык, чтобы глубже проникнуть в смысл ее подлинного библейского текста (И.И. Лапшин. Трагическое в произведениях Пушкина. – Белградский Пушкинский сборник, 1937, с. 183). Из книги пророка Исаии он заимствовал, как мы видели, образ своего „Пророка". Его отрывок „Юдифь" и „Подражания Песне песней" показывают, насколько он внимательно изучал и эти священные книги Ветхого Завета, из коих последняя была, понятно, особенно близка ему по своему поэтическому изложению. Из писем его к Чаадаеву мы знаем, что он „удивлялся" и „псалмам" Давида. Цитата, приведенная

им здесь же из Екклезиаста, говорит о близком знакомстве его с книгою этого ветхозаветного мудреца.

Однако ничто не питало и не услаждало так его сердце, как Евангелие. В написанном им разборе („Об обязанностях человека") благочестивой книги Сильвио Пеллико есть замечательные слова, посвященные изображению неувядающей силы и красоты этой Вечной книги, производящей неотразимое действие на сердце человека.

Написанные прозой, они поднимаются до высокой поэзии, свидетельствующей об искренности и глубине вложенного в них чувства.

„Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено, ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже *пословицею народов;* она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга эта называется Евангелием – и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром, или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению, и погружаемся духом в ее божественное красноречие".

Таков восторженный гимн, воспетый Пушкиным в честь Евангелия. Его следовало бы иметь перед глазами каждому христианину, чтобы всякий черпал возможно больше из этой „единственной книги, в которой все есть" (слова Пушкина, сказанные Глинке).

Пушкин добавляет далее, что

„...*дерзнули* мы упомянуть о Божественном Евангелии, (потому что) мало было избранных (даже между первоначальными пастырями Церкви), которые бы в своих творениях приблизились кротостью духа, сладостью красноречия и младенческой простотою сердца к проповеди Небесного Учителя".

Самое слово *дерзнули* показывает, с каким благоговением он относился к Евангелию.

Следует отметить, что сам Пушкин в зрелом возра-

сте везде подходил к Слову Божию именно в непосредственной младенческой простоте сердца, не искушаемый духом скептицизма, соблазнившего Толстого. Он и здесь был глубоко народен, как и во всем своем отношении к Церкви и ее установлениям. Он воспринимает их так, как их чувствовали и воспринимали искони миллионы русских православных людей, не мудрствующих лукаво.

Там, где это нужно, он умел склонить свою венчанную лаврами голову перед авторитетом Церкви. Это ясно показала его знаменитая поэтическая полемика с митрополитом Филаретом по вопросу о смысле жизни. Два великих современника — Филарет и Пушкин, — как две могучие духовные вершины, высоко поднимающиеся над своим временем и окружающею их средою, не могли не заметить друг друга. Митрополит Филарет, этот тонкий художник слова, полного яркой образности и запечатленного иногда высокой духовной поэзией, не мог не оценить вдохновения Пушкина, обогатившего сокровищницу русского языка и ставшего откровением в нашей литературе. С другой стороны, Пушкин, столь чуткий ко всему высокому и прекрасному, стремившийся объять своим гениальным даром все высшие проявления человеческого духа, не мог не остановить своего внимания на Филарете, которого уже тогда почитала вся Россия как мудрого пастыря, глубокого богослова и вдохновенного, непревзойденного по своему красноречию проповедника. Особенно близко он должен был соприкасаться с Московским Первосвятителем во время своих частых приездов в Первопрестольную столицу, жизнь которой глубоко была запечатлена умственным и нравственным влиянием последнего. Мы ниоткуда, однако, не видим, чтобы Филарет и Пушкин состояли в близких личных отношениях между собой и даже чтобы они вообще встречались один с другим вне официальной обстановки. Но они имели общих друзей и почитателей, старавшихся

этих двух великих людей своего времени сблизить между собою. Таковыми были Шевырев, А.И. Тургенев и особенно Елизавета Михайловна Хитрово, дочь знаменитого М.И. Кутузова. Женщина большого ума и доброжелательного сердца, глубоко православная по своим убеждениям, она высоко почитала великого русского иерарха, как и испытывала искреннее преклонение пред поэтическим талантом Пушкина, сделавшее ее одним из преданнейших друзей последнего. Пользуясь доверием и расположением одного и другого, она, со свойственной ей чуткостью женского сердца, стала живым нравственным звеном между ними. Как видно из недавно опубликованных ее писем к Пушкину, митрополит Филарет поручал ей иногда передавать о некоторых происшествиях в Москве Пушкину, и она исполняла эти поручения, „не смея его ослушаться" (письмо Пушкина из Петербурга 18 марта 1830 г.). Но историческая заслуга Е.М. Хитрово состоит в том, что она явилась посредницей в их встрече на литературном поприще, вызванной появлением в печати стихотворения Пушкина „26 мая 1828 г." (день его рождения) и начинающегося словами:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Эти стихи появились, однако, на полтора года позднее поставленной над ними даты, будучи напечатаны в „Северных Цветах". По свидетельству Бартенева, основанному на словах самого митрополита Филарета, именно Е.М. Хитрово привезла ему это произведение Пушкина („Пушкин и его время". Сборник. – Харбин, 1936, с. 151), желая, очевидно, обратить на них его внимание. Навеянное припадком меланхолии, нередко посещавшей Пушкина при всей его видимой жизнерадостности, это мрачное стихотворение было жалобой

на слепой и жестокий рок, управляющий, как ему казалось, его жизнью. Вера в неотвратимый рок или судьбу, предназначенную каждому из людей, была вообще свойственна Пушкину, – здесь он дал ей только наиболее яркое и горькое выражение. Так как подобная безотрадная философия, распространяемая великим поэтом, не могла не производить смущения в умах тогдашнего общества, митрополит Филарет решил не оставлять его стихотворения без ответа. Его целью было доказать всем и особенно самому поэту, что наша судьба отнюдь не предопределена для нас слепым роком, как думали язычники, она управляема разумною и благою волею Творца и Промыслителя мира, указавшего для нее высокое назначение в приближении к Его совершенству. Мы сами становимся источником своих страданий, отступая от Него, и снова обретаем душевный покой и мир, возвращаясь в Его лоно. Замечательно то, что Филарет нашел нужным облечь эти мысли в стихотворную поэтическую форму, желая таким путем лучше довести их до сердца поэта. Тот же стихотворный размер и почти те же слова и выражения, но наполненные различным содержанием, делают невольно оба эти стихотворения как бы параллельными и вместе противоположными друг другу. Особенно этот параллелизм заметен в следующих двух строфах митрополита Филарета:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Стихи митрополита Филарета, по собственному его признанию, сделанному Шевыреву, были помещены в „Звездочке" без подписи, но они тотчас же стали изве-

стны Пушкину. Поэт оценил такое снисхождение к нему высокого иерарха Церкви, выразившееся в столь необычной форме обращения, и ответил на это стихотворение замечательными „Стансами", являющимися одним из лучших перлов его поэзии. Приводим их полностью:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт*.

Здесь поистине достойно удивления все: и возвышенность вдохновенной мысли, и величавая торже-

---

* По требованию цензора, Пушкин должен был изменить редакцию последней строфы. Первоначальный ее текст был таков:

Твоим огнем душа согрета,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

ственность и в то же время искренность, и благородство тона, и глубокое смирение сердца, не боящегося всенародной исповеди в своих заблуждениях и страстях и, наконец, самая звучность и музыкальность стиха, полного изящной, временами нежной благоухающей гармонии.

Для нас очень важно здесь признание поэта, на которое обратил внимание еще Гоголь в „Избранных местах из переписки с друзьями", что он еще в ранней легкомысленной молодости привык внимать „благоуханным речам" митрополита Филарета, врачевавшего „раны" его совести: этим определяется степень влияния последнего на его нравственное развитие. Не менее трогательно его преклонение пред духовной высотою пастыря Церкви, пред его „силой кроткой и любовной", которою тот усмирял в нем бурные порывы сердца. Заключительный аккорд „Стансов" является одним из высших взлетов его творчества, свидетельствуя в то же время о полном умиротворении его мятущейся души, ощутившей снова радостную красоту жизни после пережитой им внутренней бури.

Сама музыка стихов говорит нам об этом гармоническом возвышенном настроении поэта. Пушкинисты, привыкшие прислушиваться к самому сочетанию звуков в поэзии Пушкина, справедливо видя в нем живую иллюстрацию внутренних переживаний поэта, могли бы здесь услыхать, действительно, как бы торжественные отзвуки арфы серафима: так много в них законченной гармонии, духовной силы и красоты.

Не забудем, что Пушкин писал „Стансы" в 1830 году, то есть когда он был уже во вполне зрелом возрасте и находился в зените своей общепризнанной славы. Наша история не знает другого примера подобного литературного состязания между строгим по своим взглядам и мудрым русским архипастырем и свободолюбивым гениальным поэтом, в котором последний не только не устыдился признать себя побежденным, но и,

как смиренный ученик, с благодарностью лобзал руку своего духовного наставника*.

Кто бы мог представить себе в таком положении Толстого, в своей гордой исключительности считавшего себя непогрешимым даже в религиозных вопросах и не терпевшего прикосновения к своим произведениям какой-либо критики, особенно со стороны духовных лиц. Быть может, под влиянием этого урока, полученного от мудрого Святителя, Пушкин к концу жизни, по словам Плетнева, часто возвращался к беседам о Божественном Промысле, управляющем миром и направляющем его жизнь к благим целям, и благостным примиренным оком стал взирать на этот последний, несмотря на наличие в нем зла (И.И. Лапшин, упом. пр., с. 184).

Как мы уже видели ранее, сила Пушкина состоит в том, что он никогда не отрывался от русской православной стихии и от постоянного соборного общения с народом, почерпая из него ту исключительную духовную мудрость, которую мы начинаем понимать только теперь, хотя он остается еще не раскрытым и не разгаданным до конца. Пушкин углубил ее глубоким изучением минувших судеб родной земли, что особенно помогло ему оценить кроткое, смиренное величие родной Православной Церкви и те блага, какие принесло с собой Восточное Православие нашему народу. Как мы видели, в „Борисе Годунове" он отметил со всею силою своего таланта преобладающее животворящее

---

* Напрасно о. С. Булгаков в своей статье „Жребий Пушкина" (Париж: „Новый Град", № 12, 1937) на основании заметки Пушкина 1835 г., где он называет митрополита Филарета „старым лукавцем", старается доказать, что в позднейшее время его отношение к последнему не было положительным. Эта заметка могла быть внушена каким-либо случайным настроением поэта: по крайней мере в своей критической статье „О сочинениях Георгия Кониского", в 1836 г. он восхищается „умилительной простотой" его „красноречия".

значение Церкви в строительстве русской общественной и государственной жизни.

Ранее „Бориса Годунова", в 1822 г., написаны были его „Исторические замечания", где он изображает исторические заслуги нашей Церкви и нашего духовенства перед русским народом. Православная вера навсегда определила, по его мнению, духовный облик последнего. Мы постараемся, однако, говорить его собственными словами, ибо у него каждая мысль заключена в точную, вполне соответствующую ей форму и каждое слово поставлено на свое место: его нелегко ни заменить другим, ни переставить на другое место.

„... греческое вероисповедание, – пишет Пушкин, – отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер".

В отличие от западного, – католического, составляющего „особое общество", то есть как бы государство в государстве, наше духовенство жило неразрывною жизнью со своим народом, служа „посредником между народом и государем, как между человеком и божеством". „Мы обязаны монахам нашей историею, следственно, и просвещением" (там же).

Духовенство принесло и сохранило этот светоч сквозь мрачные годы татарского ига и тем помогло русскому народу сохранить свой национальный облик.

„Нашествие татар, – пишет Пушкин в своей статье „О русской литературе, с очерком французской" („Вступление"), – не было, подобно наводнению мавров, плодотворным: татары не принесли нам ни алгебры, ни поэзии. (...) Духовенство, пощаженное удивительной сметливостью татар, одно, в течение двух мрачных столетий, питало искры бледной византийской образованности. В безмолвии келий иноки вели свои беспрерывные летописи; архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами в тяжкие времена искушений и безнадежности".

Россия спасла „христианское просвещение" – не

только для себя, но и для Европы, защищая ее от варваров. „Европа, в отношении России, всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна" (там же).

Правительство, по мнению Пушкина, не сумело оценить в должной степени этого исторического значения нашего духовенства в деле просвещения и нравственного воспитания народа.

Отдавая дань должного уважения государственной мудрости Екатерины II, „поместившей Россию на порог Европы", Пушкин, со свойственной ему правдивостью, не мог, однако, ей простить того, что она

„ ...гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностью. От этого происходит в народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии..." („Исторические замечания").

В нашей литературе редко можно встретить столь искреннюю и горячую защиту нашего обездоленного духовенства, внушенную нашему национальному поэту не только его здоровым русским православным чувством, но и тем „беспристрастием", какое он считал признаком истинного просвещения.

Те же самые побуждения заставили его выступить убежденным апологетом родной Православной Церкви против своего друга Чаадаева, увлекавшегося блестящими внешними культурными одеждами католичества и его монархическим устройством.

Пушкин вступает с ним в настоящий богословский спор, хотя и признает, что он недостаточно вооружен для этого. Он решительно отвергает утверждение Чаадаева, что

„... мы черпали христианство из нечистого (то есть визан-

тийского) источника, что Византия была достойна презрения и презираема, и т.п. Но, друг мой, – возражает Пушкин, – разве Сам Христос не родился евреем, и Иерусалим разве не был притчею во языцех? Разве Евангелие от этого менее дивно? Мы приняли от греков Евангелие и предания, но не приняли от них духа ребяческой мелочности и прений. (...) Русское духовенство до Феофана было достойно уважения: оно никогда не оскверняло себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы реформации в минуту, когда человечество нуждалось больше всего в единстве. Я соглашаюсь, что наше нынешнее духовенство отстало. Но хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу" (СПБ, 19 октября 1836 г.).

Не отрицая культурного превосходства западнохристианского мира перед Россией, он говорит, что этим Европа обязана нашей Родине. „Благодаря нашему мученичеству", пережитому в то время, когда мы удерживали напор монголов, „католическая Европа без помехи могла энергически развиваться". Что же касается единства, какое прельщало Чаадаева в католицизме, то Пушкин находит, что воплощение его надо видеть христианам в идее Христа, а не в папе. В этом же письме он пишет:

„Но клянусь Вам честью, что ни за что на свете я не захотел бы переменить отечество, ни иметь другой истории, как истории наших предков, такую, как к нам Бог ее послал".

Так мог писать только истинный патриот, беззаветно любящий свою Родину и свою Церковь, принимавшую живое и плодотворное участие в строительстве нашей истории.

Свое отрицательное отношение к католичеству Пушкин выразил и в статье „Современника", посвященной оценке деятельности архиепископа Георгия Кониского в Белоруссии в связи с разбором его сочинений. С нескрываемым негодованием он описывает здесь гонение на православие, воздвигнутое католическим фанатизмом:

„Миссионеры насильно гнали народ в униатские костелы, ругались над ослушниками, секли их, заключали в темницы, томили голодом, отымали у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам нашей Церкви, ругались над могилами православных" („О сочинениях Георгия Кониского").

Самого Георгия Кониского он считает героем и мучеником своего пастырского долга, ибо он дважды подвергался нападению католиков, и оба раза с опасностью для жизни. С возмущением описывает он особенно второе покушение на жизнь Георгия Кониского, организованное иезуитскими воспитанниками в Могилеве:

„Буйные молодые люди вломились в ворота (архиерейского дома. – митр. А.), перебили окна, ранили несколько монахов, семинаристов и слуг; но, к счастью, не нашли Георгия, скрывшегося в подвалах своего дома" (там же).

Чем выше ценил Пушкин православие, тем более хотел, чтобы мы приобщили к нему и другие народы, вошедшие в состав нашего государства: в нашей религии он видел лучшее средство для того, чтобы умягчить их нравы и привить им русскую культуру, после чего они стали бы органической частью Русской державы. По пути в Эрзерум, при виде диких кавказских горцев, он высказывает ряд глубоких мыслей о христианской миссии. Пушкин справедливо говорит, что в этой области мы еще не выполнили своего долга, и наша Церковь уступает в миссионерском рвении католической (известно, что в этом отчасти упрекал ее впоследствии и Пальмер в своей переписке с Хомяковым).

Терпимость, какую мы проявляли всегда к иноверцам и даже язычникам, по его мысли, не освобождает нас от обязанности заботиться об обращении наших заблудших братьев на путь истины:

„Разве истина дана нам для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений, и никто еще из нас не думал препо-

ясаться и идти с миром и крестом к бедным братиям, лишенным доныне света истинного. Так ли исполняем мы долг христианства? (...) Кавказ ожидает христианских миссионеров".

Так заключает он поучительную путевую записку о миссионерстве („Путешествие в Эрзерум во время похода 1829 года").

Некоторой иллюстрацией к сему служит поэма „Галуб", изображающая действие христианства на душу мусульманина.

Пушкин знал, какое важное значение имела Православная Церковь и в исторической судьбе других славянских народов – сербов и черногорцев, и потому его „Песни западных славян" иногда превращаются в гимны Православию, которое свято блюдет народ, готовый всегда идти за свою веру на смерть, как и Православная Церковь блюдет и укрепляет народ, угнетаемый неверными.

Стихотворение „Видение короля" нельзя назвать иначе, как похвалою мученичеству, нашедшей свое лучшее выражение особенно в следующих словах короля:

Громко мученик Господу взмолился:
„Прав Ты, Боже, меня наказуя!
Плоть мою предай на растерзанье,
Лишь помилуй мне душу, Иисусе!"

Православное мировоззрение Пушкина создало и его определенное практическое отношение к Церкви. Если о нем нельзя сказать, что он жил в Церкви (как выразился Самарин о Хомякове), то во всяком случае он свято исполнял все, что предписывал русскому человеку наш старый, благочестивый домашний и общественный быт. Он посещал богослужения, исполнял долг говения, глубоко понимая значение исповеди и Св. причастия для христианина, особенно в минуты тяжких душевных испытаний, как мы видим на примере Кочубея. С неподражаемым проникновенным настроением и теплотою поэт рисует состояние кающего-

ся грешника и его духовного отца, принимающего на себя его греховное бремя – в стихотворении „Вечерня отошла давно”:

Трепещет ... луч лампады
И тускло озаряет он
И темну живопись икон,
И позлащенные оклады.

———

И раздается в тишине
То тяжкий вздох, то шепот важный
И мрачно дремлет в вышине
Старинный свод, глухой и влажный.

———

Стоит за клиросом чернец
И грешник – неподвижны оба –
И шепот их, как глас из гроба,
И грешник бледен, как мертвец,

Монах

Несчастный – полно, перестань,
Ужасна исповедь злодея!
. . . . . .
Молись! опомнись! время, время,
Раскаянья . . . . . покров
Я разрешу тебя. Грехов
Сложи мучительное бремя.

Таких стихов нельзя создать только силою одного воображения, их надо пережить и перечувствовать.

Подобно своим предкам, поэт не только помнит своих дорогих отошедших, но и поминает их церковной молитвой в нарочитые дни, заказывая о них панихиды. Он не забывал даже помолиться о расстрелянных декабристах, хотя делал это тайно, как признавался Смирновой, и не потому, что боялся обнаружить связь с ними пред лицом правительства, а потому, что находил излишним без нужды обнажать свои религиозные чувства пред другими, считая, что они тогда в значительной степени теряют свою внутреннюю ценность.

Благочестивые фамильные предания и обычаи были

для него священны. Он стоял здесь выше светских предрассудков. Следующий факт, отмеченный Вересаевым, наглядно рисует перед нами эту черту его нравственного характера:

„В роде бояр Пушкиных с незапамятных времен хранилась металлическая ладанка с довольно грубо гравированным на ней Всевидящим оком и наглухо заключенной в ней частицей Ризы Господней. Она – обязательное достояние старшего сына, и ему вменяется в обязательство 10 июля, в день Праздника Положения Ризы – служить пред этой святыней молебен. Пушкин всю жизнь свою это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое, а когда наступит время, вручить ее старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семейного обета".

Свои письма к жене он почти всегда заключает патриархальным родительским благословением, посылаемым детям, не отделяя в этом случае от них и саму Наталию Николаевну: „Целую Машу (дочь. – митр. А.) и благословляю, и тебя тоже, душа моя, ангел мой, Христос с вами", – заключает он свое письмо Наталии Николаевне от 30 сентября 1832 г. из Москвы. „Благословляю Машку с Сашкой" (сыном. – митр. А.), – пишет он также жене 27 августа 1833 г.

Особенно трогательно было последнее родительское благословение, преподанное детям уже на смертном одре.

Брак и семья, освященные церковным благословением, были для него святыней. Эта мысль глубоко укоренена в его творениях, проходя через них яркою нитью.

Классический пример – Татьяна, во имя святости супружеского долга отвергшая Онегина и заглушившая еще не угасшую любовь к нему в сердце, – останется всегда образцом истинно православного отношения к браку, навеки соединяющему „во едину плоть" мужа и жену и нерасторжимому по самой своей природе.

Не только Татьяна, но и ее мать Ларина, и ее няня соединены были по воле родителей с нелюбимыми супругами, однако остались им верными на всю жизнь во имя данного перед Богом обета.

„Да как же ты венчалась, няня?" –
„Так, видно, Бог велел..."
(„Евгений Онегин", глава третья, XVIII)

Марья Кириловна Троекурова также проявила большую нравственную доблесть, отказавшись покинуть кн. Верейского, с которым была только что против воли повенчана, сколько ни настаивал на этом Дубровский, явившийся ее освобождать.

„Вы свободны", – сказал последний. „Нет, – отвечала она. – Поздно, я обвенчана, я жена князя Верейского". – „Что вы говорите, – закричал с отчаянием Дубровский, – нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться..." – „Я согласилась, я дала клятву, – возразила она с твердостию, – князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним".

Поучительный пример патриархальных семейных добродетелей мы видим в домашней жизни Лариных (в „Евгении Онегине") и особенно у Гриневых и Мироновых (в „Капитанской дочке"), нарисованных с особою любовью поэтом.

В то же время он выносит суровое осуждение Марии Кочубей, заплатившей за незаконную связь со своим крестным отцом Мазепой позором и сумасшествием.

Пушкин оказал большое влияние на русское общество в смысле утверждения в нем здоровых и крепких семейных начал, – не только своими произведениями, но отчасти и собственным примером, ибо он был нежным любящим супругом и заботливым отцом, как это видно из его писем к жене и своим друзьям. Самая ревность об охране доброго имени своей жены, повлекшая за собою его роковую дуэль и смерть, истекала из

его желания сохранить незапятнанной чистоту своего семейного очага, которой он искренно дорожил.

По своему духовному облику Наталия Николаевна, казалось, вполне отвечала его семейным идеалам. Искавший везде совершенства, он верил, что „Творец ее ему ниспослал". Его пленяла в ней не только внешняя красота, но и ее исключительная правдивость, скромность и нравственная чистота, какими она украшена была в особенности в юности. С этими качествами соединялась глубокая религиозность, заимствованная ею от своей матери Наталии Ивановны Гончаровой (рожденной Загряжской), женщины тяжелого характера, но, несомненно, глубоко верующей, жившей, несмотря на свою светскость, в окружении монахинь и странниц. Последняя воспитывала своих дочерей почти в атмосфере монашеской строгости жизни и безусловного послушания, что отразилось на их характере (М.Л. Гофман. Невеста и жена Пушкина. – Париж: изд. С. Лифаря, 1935. М.Л. Гофман. Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой. Юбилейное изд., 2-е. 1837-1937. Вступительная статья С. Лифаря. – Париж: Изд. С. Лифаря, 1936). Пушкин не напрасно называл свою жену „ангелом". Ее кротость и благочестие нередко умиляли его душу; они вносили в его семейный очаг ту теплоту и благообразие, которые были необходимы для его впечатлительной порывистой натуры и в то же время питали родники его творчества при изображении картин семейной жизни. Если она потом стала слишком увлекаться светской жизнью, то это произошло не без вины мужа, поощрявшего ее на этом пути и страдавшего от этого.

От семьи, как первой ячейки общества, – естественный переход к отечеству и государству.

Высоко ценя и любя семейный очаг, Пушкин не мог не ценить и не любить своего отечества, являющегося как бы домашним очагом целого народа. Он „ни за что на свете (...) не захотел бы, – как он пишет Чаада-

еву, – переменить" его на какое-либо другое. Сама наша история дорога ему как она есть, такая именно, „как к нам Бог ее послал". Эти последние слова, повидимому, указывают на то, что каждый народ имеет свое предназначение и свою судьбу, предуказанную ему свыше.

Самому чувству патриотизма, имеющему общечеловеческий характер, он дает не столько психологическое, сколько религиозное обоснование:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
*По воле Бога Самого**
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящие святыни!
Земля была без них мертва,
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без Божества!

Итак, национальное бытие каждого народа, основанное на живой органической связи его настоящего с его историческим прошлым, не есть только просто факт истории: это есть Закон Божий, воплощенный в общественной жизни человечества.

Вопреки утверждению одного исследователя, будто Пушкину близка только „светская ипостась нашей культуры", что он „чувствовал только Великую, но не Святую Русь"**, следует сказать, что он любил Единую Русь как целостный организм, созданный ее тысячелетнею историей.

---

*Выделено мною. – митр. А.

** См. брошюру Н.А. Цурикова „Заветы Пушкина". Мысли о национальном возрождении России. № 4, Белград, 1937, с. 11, в которой автор возражает по существу вышеупомянутому исследователю.

„Борис Годунов" с его Пименом – это не что иное, как яркое отображение древней Святой Руси: от нее, от ее древних летописцев, от их мудрой простоты, „от их усердия, можно сказать, набожности, к власти Царя, данной от Бога", он сам почерпнул эту инстинктивную народную любовь к русской монархии и русским государям. Его светлый трезвый государственный смысл вместе с благородною правдивостью и честностью сердца, заставлявшими его добросовестно углубляться в изучение родной истории и современной ему иноземной политической жизни, постепенно превратили в нем это полусознательное чувство в сознательное твердое убеждение.

Исходя из принципа suum quique (каждому свое), он находил, что монархический образ правления – это единственный, какой подходит для России. Героическая эпоха 1812 г., осенившая своею славой его детство и юность, „наш Агамемнон", т.е. император Александр I, который был так „велик" и так „прекрасен", как „народов друг", „спаситель их свободы"; чудотворец-исполин Петр I, могучее самодержавие которого он воспевал в „Медном Всаднике" и „Полтаве"; личное обаяние императора Николая I, которому он считал себя так много обязанным в устройстве своей судьбы, – еще более укрепили Пушкина в его монархических взглядах: он исповедовал последние и в своих стихотворениях, посвященных императору Николаю I и императрице Елизавете Алексеевне, и в беседах с друзьями, и в переписке с Чаадаевым, будучи уверен, что его „неподкупный голос" выражает в этом случае не только его личные мысли и чувства, но и служит „эхом русского народа". Даже в дни своей „мятежной юности" – в период своего политического радикализма, приводившего его к столкновениям с правительством, – его „вольнолюбивые мечты" никогда не шли далее конституционной монархии (С. Франк. Пушкин как политический мыслитель. Предисловие и

дополнения П.Б. Струве. Серия „Правда и свобода". Вопросы истории и культуры, № 1. – Белград, 1937, с. 11). Его отношение к декабристам было, как говорит последний, „сложное": сочувствуя им в юности, он отошел духовно от них в более сознательном возрасте (там же, с. 24). Монархический образ мыслей Пушкина, кроме заветов истории и личного опыта, находил себе постоянную поддержку и в глубоко укорененном нравственном сознании поэта. Последнее повелительно внушало ему, как и всему русскому народу, что общественная и государственная жизнь должны строиться прежде всего по Божией правде. Формальное право, как это видно из его „Разговора с англичанином о русских крестьянах", далеко не всегда обеспечивает свободу и правду в общественных отношениях. Совесть – этот неумытный судия, в голосе которой он, по собственному его признанию Тургеневу, услышал и „познал Бога", совесть, дающая непоколебимый душевный покой одним и терзающая, „как когтистый зверь", других, будь это согрешивший царь или покрытый злодеяниями, как проказой, разбойник, эта совесть должна быть главной руководительницей людей в их личной, общественной и государственной жизни. А так как носителем и олицетворением совести для целого народа может быть только живая человеческая жизнь, то верховная власть должна быть воплощена в государе. Полемизируя с Чаадаевым, он перечисляет заслуги государей, создавших величие нашего Отечества. Царь для него – источник и залог „славы и добра" для своего народа. Он служит орудием Промысла, ведущего нашу историю, и действует иногда, как „свыше вдохновенный", каким был Петр на поле Полтавской битвы. Только „по манию Царя" могло пасть, по его убеждению, крепостное право, и история, как мы знаем, оправдала эту надежду. Проф. Франк, взявший на себя задачу изучить историю политического развития Пушкина на основании его произведений и суще-

ствующих биографических данных, приходит к определенному заключению, что в пору своей зрелости Пушкин был убежденным монархистом, и притом сторонником самодержавной монархии, хотя и с расширенным, против обычного, пониманием личной свободы ее граждан (там же, сс. 31, 36). Всегда трезвый и искренний, он стал „певцом русской государственности" и в то же время отвращался от демократии, которой он приписывал „отвратительный цинизм, жестокие предрассудки, нестерпимое неравенство и эгоизм, подавляющий все благородное, все бескорыстное, все возвышающее душу человеческую". Он видел в ней „большинство, нагло притесняющее общество" (Джон Теннер, 1836).

Уравнительный принцип был чужд его аристократической душе, высоко ценившей личное творческое начало в строительстве культурной и общественной жизни. „В сущности неравенство есть закон природы", — говорил Пушкин. „Историю творят „единицы", то есть человеческая личность, а не народные массы" (Франк, упом. пр., с. 32). Признание полной свободы человеческой личности, которая не может быть подавлена или связана никаким насилием и без которой невозможно нравственное преуспеяние общества, вызывало в нем глубокое отвращение ко всяким насильственным общественным переворотам. Французская революция с ее кровавым террором, поправшим всякую свободу и не пощадившим даже поэта Андре Шенье, которого Пушкин оплакивал в посвященном ему стихотворении, была столь же „ненавистна" ему, как и „русский бунт, бессмысленный и беспощадный". И стоя уже на краю гроба, он оставляет через своего героя Гринева следующий незабываемый завет русскому народу:

„Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений".

Ту же мысль, почти в тех же выражениях, он высказывает в „Мыслях на дороге (Возражения на книгу Радищева)"; отсюда мы видим, что этот глубоко христианский взгляд на пути и способы, обусловливающие усовершенствования человеческого общества, был крепким, непоколебимым убеждением поэта.

Таков духовный облик Пушкина, как он определялся к тридцати годам его жизни. Его мировоззрение отличалось тогда уже полною законченностью и последовательною цельностью; таким оно проявилось и в его творениях, и в жизни: он везде оставался верен себе, и как поэт, и как человек. Русское национальное самосознание проникало его насквозь. И так как оно неотделимо от православного миропонимания, то естественно, что в нем осуществился органический союз той и другой стихии; чем более он был русским по душе, тем ярче в нем сквозило сияние нашей православной культуры. Дух последней отпечатлелся на нем гораздо глубже, чем, может быть, сознавал он сам и чем это казалось прежним его биографам.

Пушкин не был ни философом, ни богословом и не любил даже дидактической поэзии. Однако он был мудрецом, постигшим тайны жизни путем интуиции и воплощавшим свои откровения в образной поэтической форме. „Златое древо жизни" ему, как и Гете, было дороже „серой" теории, и хотя он редко говорит нарочито о религиозных предметах, есть „что-то особенно нежное, кроткое, *религиозное,* в каждом его чувстве", как заметил еще наблюдательный Белинский. Этой своею особенностью и влечет к себе его

поэзия, которая способна скорее воспитывать и оживлять религиозное настроение, чем охлаждать его.

Все, что отличает и украшает пушкинский гений: его необыкновенная простота, ясность и трезвость, „свободный ум", чуждый всяких предрассудков и преклонения пред народными кумирами, правдивость, доброта, искренность, умиление пред всем высоким и прекрасным, смирение на вершине славы, победная жизнерадостная гармония, в какую разрешаются у него все противоречия жизни, – все это, несомненно, имеет религиозные корни, но они уходят так глубоко, что их не мог рассмотреть сам Пушкин. Мережковский прав, когда говорит, что „христианство Пушкина естественно и бессознательно" („Вечные спутники", с. 129). О нем можно, кажется, с полным правом сказать, что душа его по природе христианка: православие помогло ему углубить и укрепить этот прирожденный ему высокий дар, тесно связанный с самим его поэтическим дарованием. По свидетельству Мицкевича, который сам отличался большою религиозностью, Пушкин любил рассуждать о высоких *религиозных* и общественных вопросах, говорить о которых и *не снилось* его соотечественникам (В.В. Никольский. Нравственные идеалы Пушкина, с. 530).

Некоторые хотели бы видеть его талант более воцерковленным и сожалеют, что он не встретился лицом к лицу с таким великим светильником благочестия в его время, как преп. Серафим Саровский. Сожалеть об этом, конечно, нужно, ибо непосредственное соприкосновение с этим духоносным мужем – истинным ангелом во плоти – еще более бы оплодотворило творческий гений Пушкина и настроило бы его вдохновенную лиру на еще более высокие мотивы. Но было бы, однако, несправедливо обвинять его в том, что он

„не заметил великого Саровского подвижника", как это делает о. С. Булгаков („Жребий Пушкина", с. 36). При тогдашних путях сообщения посещение отдаленного Сарова могло так же мало зависеть от воли Пушкина, как и посещение Иерусалима и других Святых мест Востока, описание которых он „с умилением и невольной завистью" читал в книге А.Н. Муравьева.

Мы уже указали выше, что монашество в его высоких духовных устремлениях и в его обычном повседневном быту было достаточно знакомо и внутренне далеко не чуждо нашему великому поэту. Святогорский монастырь, в котором была родовая усыпальница Пушкина, находившийся в ближайшем соседстве с Михайловским, имел, несомненно, большое нравственное влияние на поэта. Во время монастырских праздников он проводил здесь целые дни, сливаясь с богомольцами и распевая народные стихи в честь св. Николая, Георгия Храброго – вместе со слепцами. Вследствие близости к этой обители, ему открыта была сокровенная внутренняя жизнь ее насельников.

Пимен, как мы уже говорили выше – это не только классический тип древнего летописца, но, вместе с тем, воплощение идеала старца-подвижника, достигшего бесстрастия и высокого духовного просветления. Он велик своею прозрачной ясностью, простотою и естественностью, и потому представляется нам гораздо более родным и понятным, чем несколько искусственный и потому бледный облик старца Зосимы, с его малоестественным внезапным нравственным перерождением и сентиментально-мистическими поучениями, не весьма доступными народному сознанию.

В отличие от последних, уроки, которые Пимен дает своему мятежному, обуреваемому страстями, ученику Григорию Отрепьеву, дышат истинною духовною муд-

ростью, миром и старческою прозорливостью. Их диалог напоминает страницы древнеотеческой литературы.

Григорий. Ты все писал и сном не позабылся,
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило и враг меня мутил.

. . . . . .

Пимен. Младая кровь играет;
Смиряй себя молитвой и постом,
И сны твои видений легких будут
Исполнены.

. . . . . .

Григорий. Как весело провел свою ты младость!

. . . . . .

Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.

Пимен. Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе Всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь Господь меня привел.

Насколько идеал отрешенного созерцательного настроения был духовно сроден Пушкину, об этом можно судить по тому, что самый образ поэта запечатлен у него своеобразными аскетическими чертами. Поэт, как орел, парит и царит над миром. Ему чужды заботы о „нуждах низких жизни", о практической „пользе" и даже о нарочитом нравственном поучении ближних. „Служение муз" требует самоуглубления и потому „не терпит суеты". Поэт есть „сын небес" – не „червь земли". Его призвание есть служение жреца, который не может забыть „алтарь и жертвоприношенье" для

метлы, чтобы сметать сор „с улиц шумных". Осененный вдохновеньем, он бежит, „дикий и суровый", „на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы...".

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
(„Чернь")

В этих замечательных словах Пушкина, являющихся его поэтической исповедью, он не только напоминает Гёте, видевшего назначение поэта в постоянном созерцании Божественного Лика, но близок и созвучен, помимо своей воли, аскетическому мировоззрению древних подвижников, искавших прежде всего безмолвия в отъединении от мира. Исполненные любви и смирения, последние были, конечно, далеки от гордого аристократизма, который сказывается в презрительных словах поэта, служащих эпиграфом для его стихотворения „Чернь": „Procul este, profani". Но они также ставили созерцание небесных красот выше „внешнего делания", к которому они относили и деятельное служение ближним. Этот последний подвиг доступен многим, а чистое созерцание горнего мира, являющееся венцом иноческого пути, есть удел избранных.

„Господь, – пишет наиболее яркий представитель этого направления иноческой жизни Исаак Сирин, – оставил Себе одних для служения Ему посреди мира для попечения о Его чадах, других избрал для служения пред Ним. Можно видеть различие чинов не только при дворах земных царей, где постоянно предстоящие лицу царя и допущенные в его тайны славнее тех, которые употреблены для внешнего служения, – это же усматривается и у Небесного Царя. Находящиеся непрестанно в таинственном общении и беседах с Ним молитвою – какой свободный доступ стяжали к Нему!" „Проводящим жительство в чине ангельском, в попечении о душе, не заповедано благо-

угождать Богу попечением житейским, то есть заботиться о рукоделии, принимать от одних и подавать другим. И потому не должно иноку иметь попечения о чем-либо колеблющем ум и низводящем его от предстояния пред лицом Божиим". „Когда придет тебе помышление вдаться в попечение о чем-либо по поводу добродетели, отчего может расточиться тишина, находящаяся в твоем сердце, тогда скажи этому помышлению: хорош путь любви и милости ради Бога, но и я ради Бога не желаю его" („Слово" 14).

Однако это не значит, конечно, что подвижник думает только о личном спасении и не радеет о ближних. Чем более иноки приближаются к Богу, тем теснее они объединяются сердцем со своими братьями, хотя бы и удаленными от них пространством. Возносясь в заоблачный мир, эти герои духа всех поднимают к небесам с собою, и сам пример их высокой „ангельской" жизни и их горящая молитва являются лучшим благословением для мира.

То же в известной степени можно сказать и о поэте. В приливе вдохновенья он чувствует трепетно „приближение Бога", как это художественно изобразил Пушкин в своих „Египетских ночах", и тогда он, отрешаясь от земли, невольно влечет с собою читателя к горним высотам.

Самое восприятие мира у поэта, как и у подвижника, носит созерцательный характер. Гений также зрит идеальный мир, хотя и далеко не с такой ясностью и уверенностью, как благодатный аскет, у которого „ведение переходит в видение молитвы", по словам того же Исаака Сирина. Диапазон духовного слуха Пушкина был очень широк: он слышал и „дольней лозы прозябанье", и „неба содроганье", и „горний ангелов полет".

В таинственных глубинах поэтического наследства Пушкина до сих пор еще много не вполне разгаданных

уроков духовной мудрости. Кто такая, например, „смиренная", „величавая жена", „приятным, сладким голосом" беседовавшая с поэтом и его сверстниками в детстве?

Смущенный „строгою красою ее чела" „и полными святыни словесами", он, однако, превратно толковал „про себя" последние и убегал от нее в чужой сад, чтобы созерцать „двух бесов изображенья", влекших к себе его юное сердце своею „волшебною красою", – один из них был „лживый, но прекрасный" в одно и то же время. Мережковский (в „Вечных спутниках") в этой строгой и величественной Наставнице видит Добродетель, а митрополит Антоний (Храповицкий) склонен был разуметь под нею даже вечную Учительницу людей – Церковь, урокам которой неохотно внемлет юность. Вопреки ее предостережениям, последняя, в минуту искушения, нередко подменивает истинную вечную красоту обольстительным призраком.

К концу жизни духовное зрение поэта особенно изощрилось и углубилось. Барант был поражен возвышенностью и проницательностью его суждений по религиозным вопросам. Одною из последних его записей, связанных с мыслью о переезде в деревню, была: „Религия. Смерть". Очевидно, эти два предмета, тесно связанные в его представлении, глубоко занимали его внимание, в то время как его внешняя жизнь кружилась в вихре светской суеты. Разлад между внешним и внутренним человеком все ярче ощущался им по мере приближения к своему исходу. Он рвался из этих гнетущих мелочей жизни, как лев из сетей, всячески стремился сбросить с себя бремя „забот суетного света", но не мог. В этом была трагедия последних дней его жизни. В нем действительно было как бы две души, которые рвались врозь и жаждали разделения. Роко-

вая дуэль с Дантесом, на которую он решился с такою легкостью и даже некоторой видимой поспешностью, и была болезненной попыткой найти какой-нибудь исход из своего невыносимого, как ему казалось, положения. Это был почти порыв отчаяния. Лучше смерть, чем такая жизнь, – вот что означал вызов, брошенный им не только Дантесу, но и самой своей судьбе. Вместе с тем, совесть, этот „незваный гость, докучный собеседник", не переставала терзать его сердце, все еще не освободившееся от власти страстей, которые он ощущал как неискупленный грех. Очевидно, ему нужно было пройти сквозь какое-то огненное горнило, пережить какое-то глубокое нравственное потрясение, чтобы возродиться духовно и очиститься от всех нравственных приражений, тяготивших его душу. Таким очистителем и явились для него тяжкие предсмертные страдания, последовавшие за его несчастною дуэлью. Мы не будем останавливаться на истории последней. Она слишком известна. Кажется, ни о чем не писали так много и с такими скрупулезными подробностями, как об этом роковом событии в его жизненной судьбе. Нам важно лишь установить, какие последствия она имела для его духовной жизни, достигшей большой высоты в последние дни его бытия на земле. Сознание близости смерти, когда он стоял пред нею лицом к лицу, после полученного им ранения, не смутило его духа. Он давно уже чувствовал, что она, как тень, идет за ним по пятам, и давно уже приготовил себе могилу рядом с матерью в Святогорском монастыре. Но смерть не сразу пришла к нему. Если бы он пал на месте поединка или тотчас же после него, то он не только ушел бы из мира с неискупленной виною за свою дуэль, но унес бы с собою действительно неутолимую „жажду мести", как сказал о нем Лермонтов.

Бог оставил ему еще два дня (45 часов) жизни для искупления своего греха и достойного приготовления к вечности. Это была для него подлинно милость Божия, которую не мог не оценить он сам. Как только определилась безнадежность его положения, его домашний доктор, Спасский, предложил ему исполнить последний христианский долг. Он тотчас согласился.

„За кем прикажете послать?" – спросил доктор. – „Возьмите первого ближайшего священника".

Послали за о. Петром, священником Конюшенной церкви, той самой, где потом 1 февраля отпевали поэта. Старик-священник немедленно исповедал и приобщил больного (Словцов. Последние дни Пушкина. – „Последние Новости", № 3801). Он вышел от Пушкина глубоко растроганный и потрясенный и со слезами рассказывал Вяземскому о „благочестии, с коим Пушкин исполнил долг христианский". То же подтверждает и рассказ кн. Мещерской-Карамзиной, записанный у Я. Грота:

„Пушкин исполнил долг христианский с таким благоговением и с таким глубоким чувством, что даже престарелый духовник его был тронут и на чей-то вопрос по этому поводу ответил: „Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, но я скажу, что для самого себя желаю такого конца, какой он имел".

Кто, действительно, дерзнет взять под подозрение искренность этого свидетеля, который один входил во святая святых души великого поэта в то время, когда он стоял на грани вечности.

Раненый Пушкин был привезен в свою квартиру на Мойке 27 января в шесть часов вечера, а только около полночи Арндт привез ему известную записку государя:

„Если Бог не велит нам более увидеться, прими мое прощение, а с ним и мой совет окончить жизнь христианином. О жене и детях не беспокойся. Я их беру на свое попечение".

Следовательно, сама собою отпадает легенда, долго поддерживавшаяся некоторыми биографами Пушкина, будто он причастился пред смертью только по настоянию императора Николая I. Он принял напутствие по собственному желанию и притом с таким глубоким и искренним чувством, какое умилило его духовного отца.

Вяземский в своем письме к А.Я. Булгакову, описав этот трогательный момент, поясняет, что он не явился для друзей поэта неожиданностью.

„Пушкин никогда не был esprit fort, по крайней мере, не был им в последние годы своей жизни; напротив, он имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их".

Страдания Пушкина по временам переходили меру человеческого терпения, но он переносил их, по свидетельству Вяземского, с „духом бодрости", укрепленный Таинством Тела и Крови Христовых. С этого момента началось его духовное обновление, выразившееся прежде всего в том, что он действительно „хотел умереть христианином", отпустив вину своему убийце. „Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином", – сказал он Данзасу.

Утром 28 января, когда ему стало легче, Пушкин приказал позвать жену и детей.

„Он на каждого оборачивал глаза, – сообщает тот же Спас-

ский, – клал ему на голову руку, крестил и потом движением руки отсылал от себя".

Плетнев, проведший все утро у его постели, был поражен твердостью его духа.

„Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим".

Больной находил в себе мужество даже утешать свою подавленную горем жену, искавшую подкрепления только в молитве: „Ну, ну, ничего, слава Богу, все хорошо".

„Смерть идет", – сказал он наконец. – „Карамзину!" Послали за Екатериной Андреевной Карамзиной.

„Перекрестите меня", – попросил он ее и поцеловал благословляющую руку.

На третий день, 29 января, силы его стали окончательно истощаться, догорал последний елей в сосуде.

„Отходит", – тихо шепнул Даль Арндту. Но мысли его были светлы... Изредка только полудремотное забытие их затуманивало. Раз он подал руку Далю и, подымая ее, проговорил: „Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем".

Душа его уже готова была оставить телесный сосуд и устремлялась ввысь. „Кончена жизнь", – сказал умирающий несколько спустя и повторил еще раз внятно и положительно: „жизнь кончена". „Дыхание прекращается", – и, осенив себя крестным знаменем, произнес: – „Господи, Иисусе Христе" (Прот. И. Чернавин. Пушкин как православный христианин, с. 22).

„Я смотрел внимательно; ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тишина, его объявшая, показалась мне успокоением, а его уже не было. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: „Что он?" – Кончилось, отвечал мне Даль.

Так тихо, так спокойно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним, молча, не шевелясь, не смея нарушить таинства смерти...”*.

Так говорил Жуковский, бывший также свидетелем этой удивительной кончины, в известном письме к отцу Пушкина, изображая ее поистине трогательными и умилительными красками. Он обратил особенное внимание на выражение лица почившего, отразившее на себе происшедшее в нем внутреннее духовное преображение в эти последние часы его пребывания на земле.

„Это не было ни сон, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое; нет! какая-то важная, удивительная мысль на нем развивалась; что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубоко-удовлетворяющее знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг?”

Так, очищенная и просветленная душа поэта отлетела от своей телесной оболочки, оставив на ней свою печать – печать видений иного, лучшего мира. Смерть запечатлела таинство духовного рождения в новую жизнь, каким окончилось его короткое существование на земле.

При своем закате он, как солнце, стал лучше виден, чем при своем восходе и в течение остальной жизни. „Великий духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство”, – сказал он (в своем отзыве „Об Истории Русского Народа”, Полевого). „В этой священной истории исчез и обновился мир”. Это мудрое изречение оправдалось и по отношению к нему самому. Возрожденный духовно тою же благодатной стихией, он отошел от земли, как „отходили” до него

---

* См. в „Гранях”, № 51, 1962: „Последние минуты Пушкина. Письмо В.А. Жуковского к С.Л. Пушкину”. – Ред.

миллионы русских людей, напутствованных молитвами Церкви: мирно, тихо, спокойно, просто и величественно вместе, благословляя всех примиренным и умиротворенным сердцем.

Всепрощающая любовь и искренняя вера, ярко вспыхнувшая в его сердце на смертном одре, озарили ему путь в вечность, сделав его неумирающим духовным наставником для всех последующих поколений. Нравственный урок, данный им русскому народу на краю могилы, быть может, превосходит все, что оставлено им в назидание потомству в его бессмертных творениях. Христианская кончина стала лучшим оправданием и венцом его славной жизни.

Милосердия надеюсь.
Успокой меня, Творец!

Эти слова, написанные им в предвидении своей смерти, быть может, были и последнею его молитвою в то время, когда душа его отделялась от тела.

Тот, кто возлюбил много, мог надеяться, что ему отпустится много после того, как он принес искреннее раскаяние во всем перед лицом гроба.

„Чудный сон", предваривший его кончину, исполнен был пророческого значения. Бесприютный „странник", скитавшийся в одиночестве в этом мире, объятый „скорбию великой" и заранее обреченный на смерть, нашел наконец „спасенья узкий путь и тесные врата...".

Через них он вошел в Царство света, чтобы обрести мир и покой и воочию узреть Первообраз вечной Истины и Красоты, лучи которого он прозирал еще на земле в минуты высоких духовных озарений своего гениального творчества.

От редакции: эта статья была написана митрополитом Анастасием (Грибановским) (1873-1965) к столетию со дня смерти А.С. Пушкина. Впервые она была опубликована в издававшемся в г. Нови-Сад журнале „Церковная жизнь" (№ 40, 1939), а затем вышла в свет отдельной брошюрой в Мюнхене (в 1948 г.) и давно уже стала библиографической редкостью. Мы перепечатываем ее с некоторыми – очень незначительными – сокращениями.

При сверке цитат, приводимых митрополитом Анастасием из произведений Пушкина, мы, к сожалению, далеко не всегда могли руководствоваться советскими изданиями, поскольку столкнулись с допущенными в них явными искажениями и фальсификацией авторского текста (по сравнению даже не только с дореволюционными изданиями, но и с „Полным собранием сочинений..." под ред. В.Я. Брюсова. – Москва: Государственное Издательство, 1920). Читателю стоит только сравнить приводимые здесь тексты таких стихотворений, как „Два чувства дивно близки нам", „Таврида", „Странник" и т.п., с текстами Полного собрания сочинений в десяти томах, изд. 2-е. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956-1958, – чтобы увидеть, *как* и *зачем* „устранены некие погрешности" и установлены „более точные чтения отдельных сложных по содержанию" (!) пушкинских произведений. Впрочем, предупредив об этом, составители предисловия к вышеозначенному „Полному собранию сочинений" и не скрывают, что „осуществить подобное издание оказалось возможным только в результате культурной революции в нашей стране...", а „успеху издания содействовала и та научная методология, которой были вооружены советские текстологи в отличие от своих предшественников" (т. I, сс. 5-6).

Философия. Публицистика

В октябре 1975 года в Ленинграде на квартире Марины Недробовой возник семинар по изучению патристики. Для того чтобы встречи не превратились в салонное времяпрепровождение, были приняты довольно жесткие правила: назначался докладчик и оппонент, присутствующие должны были готовиться к очередному занятию.

Вскоре участники перешли к обсуждению актуальных вопросов религиозной жизни. Признанным руководителем религиозно-философского семинара стала Татьяна Горичева, по образованию философ, бывшая заочной ученицей Мартина Хайдеггера. Обладая незаурядным интеллектом, она от экзистенциализма прямо кинулась в христианство, почувствовав именно в нем источник живой воды. Раз в месяц стали проводиться на семинаре дискуссии. Одна из них – „Проблемы нового христианства" – состоялась в начале 1977 года. Надо учесть, что семинар рассчитан на молодых интеллектуалов, которые ищут свой духовный путь в жизни, свой путь к Богу. В общем смысле – это путь от культуры к христианству.

На этом семинаре были прочитаны доклады Евгения Пазухина „Неохристианство" и Бориса Иванова „Современное христианство". Тезисы их докладов были опубликованы в № 9 самиздатского журнала „37", который стал выпускаться в рамках Самиздата с января 1976 г. Первоначальная редколлегия его: Т. Горичева, В. Кривулин, Л. Рудкевич, Н.Кононова (двое последних затем эмигрировали) . К октябрю прошлого года вышло 13 номеров. Его объем примерно 250 машинописных страниц. Содержание журнала разнообразно: он включает в себя современную прозу, поэзию, публицистику, переводы, а также материалы семинаров. До последнего времени это все-таки был светский журнал, и одно из основных его достоинств в том, что он широко представляет творчество молодых и независимых поэтов. Именно здесь впервые были достаточно полно напечатаны стихотворения О. Охапкина, Е. Шварц, С. Стратановского, В. Эрля, Б. Куприянова, А. Миронова, А. Ожиганова – созвездие поэтических талантов.

Одновременно с „37" в Ленинграде выходит альманах „Часы". В зарождении его участвовали: Ю. Вознесенская, Т. Горичева, Б. Иванов, Е. Пазухин, В. Нечаев. Хронологически он был первым из самиздатских изданий в Ленинграде. По своему объему – 450-500 машинописных страниц – он позво-

ляет публиковать повести, воспоминания, пьесы, трактаты. Именно в одном из его номеров (к концу прошлого года их было издано 9) были полностью напечатаны доклады Е. Пазухина и Б. Иванова.

Если вокруг „37" группируются поэты, то вокруг „Часов" – прозаики. В „Часах" были опубликованы рассказы Федора Чирскова и Наля Подольского. На конкурсе им. В Даля в Париже их произведения были отмечены поощрительной премией.

Борис Иванов: 47 лет, детство провел в блокаде, работал на заводе, служил в армии, закончил филологический факультет ЛГУ, был газетчиком, рассказы его печатались в ленинградских журналах, в 1975 году выпустил сборник рассказов в издательстве „Советский писатель". В 1977 после письма в защиту Галанскова и Гинзбурга был исключен из членов КПСС, занесен в „черный список" и печататься перестал. В Самиздате известна его повесть „Подонок", представляющая историко-социологический интерес. Один из активных деятелей культурного движения в Ленинграде.

Евгений Пазухин: 35 лет, закончил филологический факультет ЛГУ, дипломная работа его называлась „Житие протопопа Аввакума – как жанр исповеди", в юности писал стихи. В последние годы проявил себя как талантливый публицист. Активный участник религиозно-философского семинара.

Вадим Нечаев

Борис ИВАНОВ

Современное христианство

Из доклада

II

Новохристианами я называю тех, кто крестился сам. Он не получил знание о Христе через семейное предание, проповедники Иисусовой Истины не искали его, он обрел ее сам. В биографии новохристианина всегда можно найти человека или книгу, которые впервые ему поведали о вечном Боге. И тем не менее он сам выбрал христианскую Истину среди других истин, намеренно и сознательно.

Это ничуть не умаляет чувства благодарности, которое испытывают новохристиане к „сохранившимся" (выражение Н. Я. Мандельштам). Очевидна также роль великой русской литературы в современном христианском просвещении – роль Достоевского, Л. Толстого; русской философии: В. Соловьева, Н. Бердяева, С. Булгакова. Но верующие традиционно реализуют лишь одну из возможностей, открытых нашему современнику. Открыта и церковь...

„Я много раз проходил мимо храма и меня часто тянуло: пойду, зайду, но никак не решался. Как меня примут? Как ко мне отнесутся? Кто я такой, чтобы войти в эти двери? Но когда вошел, я понял, что мое место здесь". Так рассказывает один из новохристиан. И в этом случае необходимо было *собственное реше-*

ние. Нужно было перешагнуть некую невидимую черту. Здравый смысл остерегает от сего шага, ибо здесь не продают и не распределяют. В христианской вере ищут ответа на духовные запросы.

III

Можно говорить о *предрасположенности* к христианству – и не только с психологической точки зрения. По моим наблюдениям, среди тех, кто крестился сам, значительную часть составляют люди, пережившие глубже других скептицизм и нигилизм. Чем фундаментальнее отрицание злободневного существования, тем настойчивее поиск абсолютной истины, абсолютных ценностей, абсолютного Образа Человека.

Можно говорить о моральной одаренности многих новохристиан, но существеннее то, что в христианстве человек находит духовную оформленность и как *традицию,* и как *культуру,* и как *образ жизни.* Немаловажно также то, что эта культурная традиция, образ жизни имеют национальные корни. Иначе говоря, христианство возвращало родину не как физическое тело, а как поле духовного посева и жатвы.

Христианство предрасположен выбрать тот, кто склонен к духовному максимализму, который не может быть удовлетворен одним или двумя ответами на все проблемы бытия, – христианство склоняет к себе тех, кто готов и способен к пути на „длинную дистанцию", чтобы таким образом преодолеть разрыв между собой и миром, историей и биографией.

IV

Вера, обретенная по *личному* выбору, – *волюнтаризм новохристиан,* вызывает и объясняет существен-

ные, на мой взгляд, особенности современной веры. С внешней стороны, новохристианин существует в атмосфере свободных разговоров о том, что является в сущности священным. Эта свобода проникает внутрь мирочувствования новохристианина теми же путями, какими он сам некогда совершил свой свободный выбор. Однако есть новая экзистенциальная точка, как поворотный момент в биографии, которая остается укрытой от чужого профанирующего разговора, но вместе с тем она является опорной в вере новохристианина — „основным доводом", констатирующим при некоторых обстоятельствах интенцию проповеди и самооценки. Волюнтаризм обнаруживает себя не только тем, что новохристианин свободен называть себя православным, протестантом, евангелистом, толстовцем, баптистом, католиком, он не испытывает *ужаса перед ересью*... Невозможно призвать к отчету волю, благодаря которой я есть то, что есть, и это обретение полагается мной истинным.

V

К типологическим последствиям религиозного волюнтаризма я отношу: а) неверие в личное бессмертие, б) слабость проповеднической интенции, в) манихейство в терминах власти и неофициальности, г) недоверие к авторитету исторической Церкви, д) сомнение в необходимости исповеди и покаяния. Говоря об этих следствиях, я не имею в виду манифестируемые высказывания — их я вывожу из исследования высказываний, оценок, которые в экзистенциальных ситуациях обнаруживаются как *само собой разумеющееся,* упреждая и оттесняя на задний план то, что „принято" в традиционной христианской вере считать само собой разумеющимся.

а. Неверие в личное бессмертие

Чем больше проникаешься самочувствием новохристиан, тем яснее: новохристиане не знают, не ощущают, „забывают" о том, что „бывшие" христиане – будь то Владимир Соловьев или простой житель деревни, – всегда знали: конца нет, их душа бессмертна. Христианин не только не сомневался в этом, но и не мог быть христианином, если не жил перед лицом вечности.

Следует сказать еще резче: он только тогда был подлинно верующим, когда бессмертие души переживалось им как сама собой подразумеваемая истина. Даже Бог не мог лишить человека души. Бог налагает на человеческую душу испытания, но не дает человеку надежду, что смерть „все спишет", „умрешь – трава вырастет".

Новохристианин существует с этой забывчивостью о бессмертии своей души, в этой Вселенной Творца с „белым пятном". Вопрос о бессмертии души застает новохристианина врасплох. Он выражает само собой разумеющееся часто так, что бессмертие души – это то, на что претендовать он не смеет. Он слишком греховен, слишком смертен, бессмертие его души представляется подобием святотатства – или наградой – в то время как вечность души вовсе не означает вечное блаженство, это и возможность вечных мук.

Само собой разумеющееся: *я смертен.* Этот экзистенциальный (не теоретический) вывод следует из хода приобщения к эпохе, из опыта самопознания себя как индивидуальности и личного выбора христианства. Смертный человек может выбрать Вечного Бога, но он не может выбрать бессмертие своей души, – это логическая бессмыслица. Но если я смертен, – все вовлекается в иное рассмотрение, по меньшей мере, в масштабах человеческой жизни, невозможно предпринять то, что предполагает масштаб бесконечного.

Тогда он неспособен, подобно толстовскому Пьеру Безухову, в страшный мороз, полураздетым, в окружении охраны, рассмеяться на всю Вселенную: „Кто может лишить меня бессмертной души!"*

б. Слабость проповеднической интенции

Выражение духовной обоснованности веры, то, что можно назвать классической христианской проповедью, превращается у новохристианина или в тактические соображения, или в ссылки на глубоко личный опыт, не поддающийся универсализующему развертыванию. Доверительная атмосфера эксплицирует исповедь, обнаружение пути „в себя", а не к другому, пути не в пространстве, а измерении времени своего личного духовного становления.

Не существуя в пространстве, а пространство для христианина – это прежде всего пространство распространения и „держания" Истины Иисуса, – новохристианин не существует и в истории, что оформляется в критике истории как таковой. Новохристианство – это биографии индивидов; как общение – это поверительные сообщения интимных признаний. Художественное творчество поэтов и прозаиков прямодушно демонстрирует это. Это не означает, что новохристианин – затворник, затворено лишь „христианское содержание", „мирской" слой сознания не смешивается или почти не смешивается с этим содержанием. Двойная этика, двойное понимание мира, двойное самооправдание, – все это свидетельствует о глубоком своеобразии веры новохристиан, которые, если прибегнуть к языку христианской истории, – близки к манихейской ереси.

---

* Анна Ахматова была последним поэтом, у которого есть этот глубинный христианский мотив. Не заметив его, мы не можем постичь самый высокий строй ее поэзии.

в. Манихейство в терминах власти и неофициальности

Официальная идеология относится к христианству как к профаническому – к деструктивному остатку невежественных и „чуждых" представлений. Какие бы причины ни побудили человека сохранить веру отцов или обратиться к ней, он оказывается маркированным этим идеологическим клише, независимо от его профессиональных и моральных достоинств. Последнее побуждает человека скрывать свою принадлежность к христианству, как свой „социальный грех", и таким образом конституировать двойничество – как итог реалистического осмысления той ситуации, в которую он не по своей вине заброшен. Такая позиция нелегальных христиан ищет евангельского оправдания и находит – в сечении мира на Богово и кесарево.

Власть – это творение дьявола – такой вывод делали доконстантиновские христиане, считая Нерона, и не только Нерона, – антихристом, врагом Бога, господином земли. Русские раскольники продолжали эту традицию, обличив царскую власть в сговоре с Сатаной, нарекли Петра I антихристом и бежали от власти – ее слуг – на пустоши и в леса. Идеологическое клише навязывает сии представления. Так возрождается манихейская ересь, согласно которой мир разделен между Богом и дьяволом, как двумя началами, как между двумя богами, но с той разницей, что дьявол фиксируется в институтах власти, а Богово – за пределами официальности. И в этой картине мира некоторые новохристиане усматривают тот же самый реализм, что и „нелегальные христиане".

Для каждого, кто пытается в Новом Завете найти ответ на вопрос о власти, власть предстает в такой сложности, которая не позволяет христианам говорить о власти как о чем-то особом с точки зрения добра и зла, как о предметной фиксированности духовных ценностей вообще. Власть не отрицается, ибо власть, как

сущее, – творение Бога, как не отрицается долг и закон. Более того, Христос учит апостолов говорить как „власть имеющих", – и власть может быть истинной.

Христос говорит о власти, как о человеке, который может быть и достойным, и греховным. Власть полагает свою истину в субъективности, помечая ее именами императоров или политических лидеров, организаций, а стремление к благу отождествляя с их субъективной волей. Христос говорит о подчинении власти, но поклоняться ей? – Нет. Согласно Иисусу Христу, суть не в том, кому власть принадлежит, суть не в том, какие атрибуты она себе присваивает, а в том, что власть обязана действовать в сторону добра.

Власть, как форма господства над человеком, искушается возомнить о себе как о вечной, всегда справедливой и благой, она искушается самомнением о своем бессмертии, в усилиях к самоувековечиванию. Но меняются портреты, и старые пьедесталы служат новым бюстам. Для Христа властитель остается лишь человеком: „От себя ли ты говоришь?" – задает Он вопрос Пилату. Никакой приказ не может оправдать злого или незаконного поступка. В мире Христа нет личной безответственности, нет алиби, нет социальных ролей, с которыми зло может быть отождествлено.

Страх новохристиан перед действительностью „конкурирует" со страхом Божьим. Новохристиане, как и Церковь, плохо слышат: „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". Для того, чтобы преодолеть этот дуализм, следует всей душой возлюбить мир этот и принять за него ответственность, только так верующие могут единяться в делах спасения.

г. Недоверие к авторитету исторической Церкви

Новохристиане знают, что не Церковь пришла к ним, а они пришли к ней. Это не забывается. Если священник заговорил со мной после того, как я домогался встречи с ним, это тоже не забывается. Церковь не знает личностно того, кто пришел к ней, следовательно, нет адекватного встречного движения. Люди соединяются в храме во Христе, но они не соединяются между собой и уходят одинокими. Иногда говорят о „мистической Церкви", которую не могут затронуть грехи этого мира, однако христианская община не может воплотить Истину Иисуса без тепла любви и доброго дела. Официальная Церковь не выполняет апостольского призвания. Она лишена социального пространства и существует также лишь во времени – в чередовании обрядов, – подобно тому, как новохристианин живет во времени личных переживаний и настроений.

В мире, в котором все авторитеты были потрясены, всякая безличность становится знаком недостоверности, но и доверие к авторитетам понимается как личная интенция, а не как сакральное свойство избранного авторитета.

д. Сомнение в необходимости исповеди и покаяния

Исповедь и покаяние совершаются в мире, где есть третий. Если в отношениях человека с Богом Церковь утрачивает авторитет, и исповедь, и покаяние тоже теряют смысл. Молитвы протестантства глубоко входят в веру новохристиан, духовно ревизуют традиционную православную веру.

Покаяние и исповедь, и совершаясь, не становятся теми событиями в жизни новохристианина, которые способны кардинально касаться всех проблем его со-

циальной и личностной ориентации. Эти проблемы решаются в стороне от свидетельствования перед Церковью, в то время как исповедь и покаяние в традиционной вере касались именно этой стороны жизни верующего.

Душевная потребность в очищении реализуется или в критических оценках (даже в доверительных признаниях), или в творчестве – перед анонимным миром. „Я пишу, чтобы очиститься", – так заявляют многие поэты и прозаики. Сфера высшей доверительности и открытости полагает себя или *вне таинств,* или *наряду с таинствами.*

VI

Я хочу продолжить тему особенностей веры новохристиан в тех точках, в которых она достигает наиболее очевидного разрыва с традицией, наиболее веского личностного звучания, где вера в Единого Бога и атеизм сходятся с такой близостью, что это может вызвать как ужас, так и веселье рискованного озорства (выразительно – у Ф. Достоевского). Продолжить это – значит говорить на темы экзистенциального христианства.

Экзистенциальная вера берет начало не в посте и покаянии, а в глубоком *одиночестве человека в мире.* В этом одиночестве человек осторожен, он не спешит кивать и заимствовать язвы безличностного и традиционного доктринирования. Здесь встречи с ближним удерживаются не успокоительным доверием к признанному, а тревогой возможностей, которые открываются здесь и сейчас в умножении конгениальных переживаний. Мораль для одинокого человека – это та плоскость, на которой следует удержаться не потому, что падать ниже слишком опасно, а потому, что человеческая гордость и достоинство не допускают че-

ловека пасть на тот уровень, когда мораль и закон начнут демонстрировать над ним свое безличное превосходство.

Я убежден, что экзистенциальная христианская вера есть неизбежный итог встречи одинокого человека с Христом, даже в том случае, если встреча была задумана человеком как альтернативная. Но преображение возможно лишь тогда, когда человек способен на *честную встречу* с Богом. Известен атеистический экзистенциализм. Не говорю о Ницше. Он избрал объектами своих нападок „холодное чудовище" — государство и христианствующего обывателя, — но он не решился на встречу с Иисусом Христом. Обратим внимание на Мартина Хайдеггера — на то, как в одну-две фразы он полагает вместить весь смысл и весь дух Евангелия (см. статью „Теория и метафизика"). К встрече со Христом человек может подойти с потребностью пошатнувшейся веры Кьеркегора, с гордыней Ницше, с морализмом Ренана, с психологичностью Тилиха. Но встреча должна быть честной, и только от этой честности зависит, обретет человек веру или нет.

Среди атеистов, наивных атеистов, которые не сделали атеизм профессией (а их подавляющее большинство), мы встречаем, как правило, тех, кто говорят об Истине и Пути Христа с чужих слов или прочитав Евангелие, как читают старый журнал. Нужна встреча в искании правды, а не в пополнение своей информированности. В Сыне Человеческом ищущий правды узнает свою заброшенность в абсолютно чужое время, как заброшен был Иисус в толпу фарисеев и книжников, законнических и торжественных формул и праздников, как Новый Завет был заброшен в Старый. Это предельно обостренное сечение времени: *Я пришел,* — мера абсолютной событийности личного существования, необходимое усилие встречи и честного диалога с Евангелием. Это я хочу, чтобы алчущие насытились, не только Он. А если я не хочу? А если я не хочу, я дол-

жен быть готовым на предельно альтернативный диалог с выводом: „Пойду и буду говорить противоположное Тебе". Но я должен признать, что и Он сказал: „Не хлебом единым жив человек"... Каковы бы ни были мои устремления, я не могу ни мысленно, ни мечтательно превзойти Его. Вот неизбежный итог этой встречи. Я не могу превзойти и не могу вместить то бытие, которое Он явил с избытком. Эта превозмогающая полнота остается, за вычетом всех пониманий, как Божественный Счет Его Личности, дарующий мне свободу и путь. Я узнаю, что Христос больше любит меня, чем я себя. То, что я люблю в себе, слишком ничтожно.

В экзистенциальной вере, мне думается, богопознание сосредоточивается на целостном образе Христа – как явлении абсолютной духовности. В Нем христианин черпает образ мира будущего. И в Его полноте он получает ответ, погруженный в актуальное...

В силу ряда причин (об этом в статье „Экзистенциализм..." – „37" № 6) экзистенциальное христианство, по моему мнению, не получит в России достаточно чистого теоретического развития, что означает, что современный тип веры не обретет ни развитого характера, ни адекватного его выражающего языка. Поскольку герменевтика является коррелятом экзистенциализма, т. е. законченный субъективизм с необходимостью требует развитых форм завершенного понимания другого, постольку вряд ли можно рассчитывать на то, что новохристиане, как и те наши современники, которые избрали путь гуманизма и демократизма, сумеют достигнуть во взаимоотношениях такой ясности, которая необходима для конструктивного взаимодействия.

Однако новохристианство, как и другие современные духовные тенденции в целом, значительно изменило духовную атмосферу, в которой существует творческая интеллигенция. По сравнению с другими тенденциями, в новохристианстве наиболее глубоко пре-

одолен „социальный фетишизм"*, оно „философичнее" по характеру своих убеждений, его критический дух менее политичен**. У новохристиан аскетизм – не следствие исторической ситуации, а необходимое основание человеческой духовности. Их способ мыслить менее зависит от травм социального существования, ибо земной путь человека – это не только путь радости, но и путь страстей. Страдание для христианина не может выступить фигурой устрашения, помрачающей вселенную Бога.

---

* Эта мысль рассматривается в статье Е. Пазухина – „Архив", № 1.

** В качестве принципиального положения эта особенность характеризует позицию редакции журнала „37".

Е. ПАЗУХИН

Неохристианство

Я хотел бы дать выход всем своим сомнениям. Я попытаюсь предупредить критику современного христианства, сам взглянув на него с достаточной долей скепсиса.

Такая эксцентрическая попытка взгляда из вражеского лагеря, может быть, окажется полезной. Она будет способствовать экзистенциальной постановке проблемы, расчистит путь свободному анализу.

Подобному взгляду прежде всего открывается то, что раздробленность, деструктивность современного сознания коснулись также и религиозной сферы, трансформировали язык христианства. Я имею в виду не только современную теологическую литературу, но и такие „знаки" сокровенной христианской жизни, как мораль, эстетические переживания, быт и прочее.

Жизнь современного верующего представилась бы средневековому христианину сплошным кощунством. Ну а, скажем, собрание христиан с целью потанцевать или послушать джазовую музыку в стенах храма, несомненно, представилось бы ему бесовским радением и „мерзостью запустения".

Такой реликтовый тип религиозного сознания считается чуть ли не единственной формой современного христианского миросозерцания.

Для носителя подобной религиозности характерны абсолютная убежденность в истинности своего исповедания, внутренняя цельность, безупречность этических принципов, проповеднический пафос.

В нем присутствует непоколебимая убежденность в том, что Слово Божие, Предание Святых не должны подвергаться ни малейшим изменениям. В своих религиозных трактовках он оперирует обоюдоострыми антитезами аналитика. Он всегда умеет отделить одно от другого: Божественное от сатанинского, церковное от мирского, истину от соблазна, спасающегося от погибающего и т.п. (Например, в современном протестантском издании Евангелия от Иоанна – цитирую – жирными линиями подчеркнуты места, в которых говорится о нашем спасении, которое , являясь даром Божиим, не заслуживается, а дается по благодати. „... Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился...” (Еф., 2, 8-9).

Тонкие линии подчеркивают места, относящиеся к нашей христианской жизни и ответственности. Все те, кто верою принял дарующееся ему Господом Богом спасение, само собой разумеется, должны стремиться вести себя впредь согласно святой и мудрой воле Господней, Его о ней спрашивать и ей подчиняться. „... Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять...” (Еф. 2, 10).

То, что оба эти отрывка являются одним и тем же текстом и развивают единую мысль, издателей-аналитиков совсем не тревожит.

Рассматриваемый тип религиозного сознания обладает безусловным иммунитетом в отношении *всех ис-*

кушений и обольщений, мирских горестей и отрад, дурных сообществ, светского искусства.

Но, избрав языковую адекватность единственным критерием истинности христианского исповедания, этот тип сознания тем самым невольно впадает в явную модернизацию. Он не замечает, что, произнося отрывки чужих текстов, все равно продолжает говорить на своем языке, ибо не владеет языком религиозного миросозерцания апостолов, первых христиан, отцов Церкви.

Логика не проникает в живое бытие, в живые связи, возникающие внутри эпохи. Только синтезирующая мысль, рассматривающая каждое слово Писания или Предания в контексте религиозного мышления христиан данного времени, приоткрывает нам истины первоначального христианства. Как и в случае любого перевода, для точного воспроизведения смысла текста необходима радикальная смена системы знаков. Только отдавшись нескончаемому вращению герменевтического круга, мы можем надеяться на успех. Хотя он никогда не будет полным. Не все написано, не все дошло до нас. Но главное, что христианство, опирающееся лишь на историко-теософский анализ, стало бы чисто теоретическим, кабинетным, литературным. „Буква убивает, а дух животворит". Источники – это фундамент, почва веры, но возрастает она в благодатном веянии духа и питается общением христиан.

Предположим, что большинство из нас собралось для такого общения. Кто мы – современные христиане? Но, по-видимому, я смогу говорить в первую очередь о себе, как, впрочем, и многие другие. Таким образом, я надеюсь, никого не обижу. Я принадлежу к религиозному типу людей колеблющихся, с весьма подвижными моральными критериями, скорее пороч-

ных, чем добродетельных, постоянно движущихся между экзальтированной религиозностью и самым глубоким отчаянием и скепсисом; и, что самое главное, подчас весьма не бескорыстно исповедующих христианство.

Тщеславие, стремление к оригинальности или, напротив, нежелание выделяться, малодушие, – да мало ли посторонних по отношению к вере моментов, способных заставить человека называть себя христианином!

Не берусь определить в своем христианстве величину дроби: Вера/Корысть, но думаю, что во мне, почти как в каждом, много званого, а мало избранного .

Впрочем, вместо христианского раскаяния я впадаю в приятный грешок интеллигентской рефлексии.

Когда мне было лет десять, я на даче стоял у калитки и ел хлеб с медом. Меня попросили дать им поесть (их было трое), но я сказал, что не дам. Они ушли, говоря друг другу, что у них есть еще мелочь купить кусочек булки. Я уже не помню, почему я тогда заплакал и почему ужас этого воспоминания тряс меня потом несколько лет. Может быть, это было посещение Бога? Но почему Он не дал о Себе ясного знака?

Мы можем знать твердо о Боге даже не то, что Он существует, а то, что мы покинуты Им.

В ужасе ли мы познаем Бога или из ужаса созидаем Его?

Как нам ответить на этот страшный вопрос?

Как христианин находит Бога? Есть, конечно, очень много форм религиозного обращения. Но я бы хотел остановиться на одной из них, как мне кажется, наиболее характерной. Во всяком случае, соответствующей моему опыту и опыту некоторых моих знакомых. Я позволю себе привести два литературных отрывка, ко-

торые помогут точнее определить рассматриваемый феномен.

1. ...То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть – как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.

Вдруг луч внезапный посетил
Мой ум... то голос птички был.
Он умолкал; он снова пел;
И мнилось, с неба он летел;
И был утешно-сладок он.

(Байрон. „Шильонский узник", пер. Жуковского)

В этом отрывке, на мой взгляд, воспроизводится и „модель" религиозного обращения.

2. „Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучало меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше, страшно было. „Да что это за глупость, – сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь". „Меня, – неслышно отвечал голос смерти. – Я тут". Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог бы испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытал-

ся стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорили то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене – ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Что меня сделало? Бог, говорят, Бог. Молиться, вспомнил я. Я давно, лет двадцать, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться. Господи помилуй, Отче наш, Богородицу. Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят... И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня".

(Л. Толстой. „Записки сумасшедшего")

А это „Арзамасский ужас" Толстого – скрупулезное описание состояния перед обращением.

Аналоги этого состояния можно обнаружить в титанических картинах страха в „Премудростях Соломона", в плаче Августина в саду, в смертной тоске, пережитой индийским исповедником христианства Саду Сундарг Синга. Именно такие переживания зачастую становятся предвестниками благодати. И вот я здесь сам начинаю ощущать страх. Уж не рушу ли я того, на чем зиждется моя вера? А может быть, я впервые стал думать о Боге?

Характерно, что перед обращением человек как раз о Нем всего чаще не думает. Он думает о себе. Да и о чем вообще может думать человек, для которого небытие представляется единственным возможным благом?! Разве можно назвать мыслями о Боге то, что переживал Толстой в свою арзамасскую ночь? Характерно при этом, что суицидные попытки в подобном состоянии весьма редки. Есть как будто предчувствие другого варианта, присутствует некоторая запрограммированная двусмысленность.

Поразительный пример такой двусмысленности обнаруживает все та же саморазоблачающаяся рефлексия Толстого. Он пишет, что прятал от себя веревку, чтобы не повеситься. Можно подумать, что все дело тут в лицемерии и малодушии. Но мне кажется, что это не так.

Дело в специфике данного состояния. Ведь на языке человеческом его нельзя назвать иначе, чем смертью. Тут уже нет страдания, нет жизни. Тьма становится не отсутствием света, а собственно *тьмой,* тьмой сущностной, которую можно мыслить находящейся лишь за пределами жизни, в измерении ада. „Бездна пустоты" это и есть пространство ада „без протяженья и границ".

Именно как метафору состояния человека перед обращением воспринимаю я гениальную 17 гл. „Премудростей Соломона". Там говорится о людях, застигнутых внезапным страхом в процессе самых обыденных повседневных дел, заключенных в „неразрешимые узы тьмы". И вот они в эту „истинно невыносимую и из глубин нестерпимого ада исшедшую ночь" располагаются уснуть обычным человеческим сном. (Действительно, все обычно: арзамасская гостиница, посапывание слуги за дверью. Чем эта ночь отличается от любой другой?) Но это совсем не та ночь, в которой спят в соседних комнатах те же, что и вчера, привычные лю-

ди. Эта ночь принадлежит только тебе, и только ты заточен в эту одиночную „темницу без оков". И эту нежизнь, мерцающую отблесками „самих собою горящих костров, полных ужаса", не угасить обычной человеческой смертью.

Конечно, не обходится без самообмана. Но он не в том, что человек не убивает себя, а в том, что думает о самоубийстве и, кончая с собой, совершает еще больший самообман, убивая себя рассудочно, безумно, по-кирилловски.

Именно такое самоубийство должно быть признано с точки зрения христианства грехом. Самоубийство же, совершаемое по непосредственному эмоциональному импульсу, в сущности, не самоубийство, а продолжение жизни, проявление предельной экзистенциальной напряженности.

Но отбрасывая вариант самоубийства, человек находит другой. И этим вторым вариантом оказывается „вариант чуда". – „Вдруг луч внезапный посетил мой ум... то голос птички был".

„Вдруг" здесь запрограммированное. Это не простая случайность, а чаемая, долгожданная, *чудесная*. Это „вдруг" безусловно присутствует в каждом случае обращения: вдруг – голос, вдруг – свет, вдруг – образ, вдруг – видение.

Конечно, это дает материал для самых скептических выводов, но может свидетельствовать также о специфической природе христианского чуда.

Вспомним чудеса Христа. Он отвергает предложение сатаны доказать Свою Божественность с помощью факирского трюка. Чудо Христа не фокус, а действительность. Действительность немедленного милосердия: чудо превращения воды в вино, чудо насыщения голодных, чудо исцеления и чудо воскрешения. И, нако-

нец, чудо обращения: „Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна". Слова эти исполнены самого проникновенного сострадания. Но здесь почва опять уходит из-под ног. Опять мы вступаем в область самой соблазнительной двусмысленности. Ведь в случае с героем Жуковского-Байрона мы явно имеем дело с галлюцинаторным явлением, с безумием. Кому не известно, что экзальтированная психика способна порождать призраки. Но нет ли в этом безумии и другой какой-то, „нормальной" стороны? Ведь и Толстой называет свою повесть-исповедь „Записки сумасшедшего". Я не стану сейчас говорить о призыве Павла стать безумными, о „кредо" Тертуллиана. Это все достаточно хорошо известно. Я хочу рассмотреть это явление на сугубо психологическом уровне.

Безумие – реакция субъективная, основанная на инстинкте самосохранения, на потребности защититься от разрушительного стресса.

Но радость-то объективна. Когда все душевные силы сосредоточены на переживании страдания, где-то в подполье сознания копится чистая, беспримесная радость.

Это говорит о какой-то гармонии, присутствующей в мире. Но гармония не означает ли присутствие Бога? Во всяком случае в гармонию нельзя верить религиозно. В религии необходимо присутствие страха Божия. Правда, слово „страх" в данном случае лишь запутывает, ибо отражает, да и то неточно, только эмоциональную сторону состояния верующего. Религиозный страх – это способ познания тайны Бога. Чем больше проникаешь в нее, тем глубже становится тайна. (Это мысль не моя, а еп. Антония Сурожского). Страх этот близок к изумлению и приблизительно может быть обозначен словом „благоговение".

Но как же быть тогда со страхом обращающегося: настоящим, жестоким, животным страхом? Будем ли мы его третировать, как что-то низменное, бездуховное? Может быть, мы напрасно с таким презрением относимся к безрелигиозному страху? Он, как мы убедились, может приготовить путь страху Божьему, так же, как любовь человеческая может размягчить сердце для принятия Божественной любви. (Еп. Антоний Сурожский говорил о том, как одна девушка с глубоким религиозным проникновением рассказывала ему о своей любви к жениху.)

Но снова „мысль ужасная". А что если, как утверждают атеисты, и страх Божий и христианская любовь – лишь сублимация обычных человеческих страха и любви? Все зыбко, все непрочно, все мучительно двоится.

Меня тревожит еще одно понятие в христианстве – понятие награды. Многие склонны ожидать от религии вознаграждения за перенесенные скорби. Но ведь и труд, и страсти, и страдания, то, из чего состоит жизнь, – это явления одного и того же порядка. Земная история человека начинается со слов Бога: „В поте лица Твоего будешь есть хлеб". Вся жизнь представляет собой *труд* – постоянное физическое и психологическое изнурение. Даже о юности Соломон говорит: „Лучшие годы: труды и болезни".

Причем все переносимые человеком скорби абсолютно бессмысленны. Человек обречен вечной участи Сизифа, ибо не унесет в могилу плоды трудов своих. А чем лучше страсти? Даже самая сильная и приносящая наибольшее наслаждение позорно механистична и бессмысленна. Это та же повинность, которую человек отбывает на жизненном поприще. „Радость человеческая причисляется к страданию теми, кто умеет рас-

суждать", – гласит древнеиндийская мудрость. Жизнь и страдание – синонимы. Не должно быть не только смерти, как говорит герой – автор „Записок сумасшедшего", – но, главное, не должно быть и жизни. Потому что то унизительное и безобразное шутовство, которое мы так именуем, не может быть награждено ничем. Нам не нужно блаженства как награды. Мы „почтительнейше возвращаем" билет.

Но на каких условиях мы все-таки согласимся принять его?

Помню, когда я работал две недели в Псково-Печерском монастыре, меня пригласил о. Алипий и дал мне в конверте двести рублей. Это была не плата за труд (который, конечно, не стоил такой суммы), это был дар „благословения". Так же и блаженство не зависит от житейских трудов, оно не награда, а *благословение.* „ ...кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек", – говорит Христос.

И приходящий не ищет награды, он просто отдает себя Христу. А будучи принят Христом, перестает жить. Неважно: будь то духовное состояние человека в мире или полный уход от мира. Можно сказать так: „Если ты не блажен, значит ты еще не уверовал". Хотя блаженство может вовсе не выражаться в каких-то конкретных, понятийных, доступных внешнему восприятию формах. Блаженство во Христе как бы полностью освобождает человека из-под законов мира. Именно поэтому христианин может продолжать жить по этим законам. Правда, скорее всего он не захочет этого, ибо зачем ему обрекать себя на „скорби по плоти". В такой свободе от награды и возмездия хотела бы жить душа. Только ее способна принять она от Бога без изысканного карамазовского жеста. Это, конечно, рассуждение, лишенное благочестия, но даже величай-

шие из христиан (тот же Достоевский) мучались подобными сомнениями. Какой же выход возможен из этой зыбкой игры ума? Мне кажется, что он намечается в очень интересном наблюдении князя Мышкина. – Сколько он ни говорил с атеистами о религии, ему всегда казалось, что как бы верно и хорошо они ни говорили, но все „не о том". Так о чем же говорить, когда речь заходит о вере?

Атеизм, рациональное сознание, действует в соприкосновении с верою наподобие поршня, который давит на жидкость и все время теснит, поднимает ее, но никак не в состоянии в нее погрузиться. Он последовательно уничтожает все аргументы веры; но она, полностью утрачивая смысловой параметр, становится от этого как бы еще более обоснованной.

Может быть, именно критика ее логических основ и есть единственный верный способ ее утверждения? И никогда нельзя говорить „о том", так как не существует слов для его выражения. И может быть, современный атеист, говорящий о вере, проповедует ее лучше, чем современный христианин, то и дело твердящий: „верую". Мне кажется, что эта мысль близка к новейшим теологическим исследованиям – в частности, тому, что на предыдущем семинаре говорила Татьяна Горичева.

Мышкинское *„то"*, может быть, единственно возможное определение религиозного мировосприятия, единственная точка равновесия на этом коромысле двусмысленностей. Ни дела, ни проповедь, ни даже любовь не являются объективными свидетельствами истинности нашего христианства. Все это может быть христианничание, камуфляж, восприятие себя как христианина. „Христианство – великолепная афера, не правда ли?" – говорит один из героев Голсуорси.

Сейчас весьма распространен тип христианства духовно богатого, обладающего немалым запасом духовных ценностей. Он уже царствует в мире сем: председательствует, выступает, проповедует. Но его так же, как нищего и невежественного, ожидают игольные уши.

„ ...пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне", – говорит Христос (Мф.19,14).

Только детское, непосредственное, недосягаемое для любого вида корысти сможем пронести мы в Царствие Небесное.

Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ

Судебная ошибка?

(К 100-летию „дела Засулич")

Это – начало болезней.
Мк. 13:8

1

Тринадцатого июля 1877 года в петербургском Доме предварительного заключения на Шпалерной произошло событие, которому суждено было стать первым звеном в цепи иных, роковых, событий в истории России...

В этот день, едва заключенные вышли, как обычно, на прогулку в тюремный двор, туда пожаловал петербургский градоначальник генерал-адъютант Ф.Ф. Трепов. Поравнявшись с арестантом А.С. Боголюбовым (Емельяновым, осужденным по делу о демонстрации у Казанского собора, 6.12.1876), с возгласом „Шапку долой!", он сбил с него шапку и приказал дать ему за непослушание двадцать розог...

В своих „Воспоминаниях о деле Веры Засулич" знаменитый юрист (и председатель суда по упомянутому делу) Анатолий Федорович Кони указывал, что тем са-

мым был нарушен закон, согласно которому „телесному наказанию за дисциплинарные нарушения приговоренные к каторге (подобно Боголюбову. – В.Ч.) подлежат лишь по прибытии на место отбытия наказания или в пути, при следовании этапным порядком..."[1].

Нельзя не отметить и то, что незаконные действия Трепова поддержал министр юстиции граф Пален. На вопрос Кони, знает ли граф о происшедшем, Пален ответил:

„Знаю и нахожу, что он (Трепов. – В.Ч.) поступил очень хорошо; он был у меня, советовался, и я ему разрешил высечь Боголюбова... надо этих мошенников *так!* – и он сделал энергический жест рукой..."[2].

2

Прошло примерно полгода. „Боголюбовская история" казалась забытой. Бывшего студента Ветеринарного института Боголюбова отправили на каторгу (а впоследствии перевели в Белгородский централ, где он сошел с ума). Но неожиданно, 24 января следующего, 1878, года о нем напомнили. В этот день на прием к градоначальнику явилась в числе прочих просителей некая Козлова и выстрелила в него.

По странному стечению обстоятельств, именно в этот день вице-директор департамента Министерства юстиции А.Ф. Кони вступил в новую должность председателя Петербургского окружного суда. Это выглядело как нечаянный подарок – через четыре дня Анатолию Федоровичу исполнялось тридцать четыре года! Отныне перед молодым талантливым энергичным работником, тяготившимся, по собственному признанию, „ролью советника при графе Палене", открывал-

ся „широкий горизонт благодарного судейского труда": увы, к сожалению, праздничное настроение было испорчено вмешательством его величества Случая: сообщили о покушении на Трепова.

Войдя в приемную градоначальника (который был ранен, но жизни которого не угрожала опасность), Кони тотчас увидел покушавшуюся. Ее словесный портрет, нарисованный мастерской рукой замечательного мемуариста, заслуживает того, чтобы привести его целиком:

„Тут же, в приемной, – вспоминает Кони, – за длинным столом, против следователя Кабата и начальника сыскной полиции Путилина, сидела девушка среднего роста, с продолговатым бледным, нездоровым лицом и гладко зачесанными волосами. Она нервно пожимала плечами, на которых неловко сидел длинный серый бурнус, с фестонами внизу по борту, и, не смотря прямо перед собою, даже когда к ней обращались с вопросами, поднимала свои светло-серые глаза вверх, точно во что-то всматриваясь на потолке. Этот взор, возведенный „горе", из-под нахмуренных бровей, сжатые тонкие губы над острым выдающимся подбородком и вся повадка девушки носили на себе отпечаток решимости и, быть может, некоторой восторженной *рисовки*... Это была именовавшая себя Козловою, подавшая прошение Трепову и выстрелившая в него в упор из револьвера-бульдога... Она заявляла, что решилась отомстить за незнакомого ей Боголюбова, о поругании которого узнала из газет и рассказов знакомых, и отказывалась от дальнейших объяснений. Это была *Вера Засулич*..."[3].

Вера Ивановна Засулич (1849-1919) была дочерью капитана в отставке, обедневшего дворянина Гжатского уезда Смоленской губернии. После его ранней смерти воспитывалась, по желанию матери, у состоятельных родственников. Окончила закрытый пансион в Москве, выдержав экзамен на звание домашней учительницы, но такое полузависимое существование ее не привлека-

ло и она пошла работать писцом в мировой суд в Серпухове. Потом уехала в Петербург и поступила в переплетно-брошюровочную мастерскую. В столице на одной из сходок она познакомилась с С.Г. Нечаевым, который вскоре, уезжая за границу, попросил ее дать ему свой адрес для корреспонденции. По делу Нечаева – факт немаловажный в свете ее будущего „дела" – ее впервые и арестовали, в 1869 году. Отсидев два года, она была выслана – Крестцы Новгородской губернии, Тверь, Солигалич, наконец, Харьков, где она прожила до 1875 года под надзором полиции, потом стала нелегальной, примкнув в Киеве к кружку „Южных бунтарей". Летом 1877 года она снова в Петербурге, где узнает из газет о телесном наказании Боголюбова (как уже упоминалось, лично знакома с ним она не была). Тогда-то, совместно с М.А. Коленкиной, она и задумывает покушение на Трепова, хотя ей известно, что за ним, с той же целью, уже ведет слежку группа „Южных бунтарей". Было решено стрелять по жребию: выбор пал на Засулич (Коленкина должна была в тот же день стрелять в прокурора Желеховского: он ее не принял).

И вот 24 января 1878 года на всю страну прогремел выстрел, который уже после суда идеолог народничества Н.К. Михайловский назвал началом политической борьбы в России. И хотя впоследствии Вере Засулич суждено было занять в этой борьбе отнюдь не самую „левую" позицию (в 1879 году она присоединилась к народническому „Черному переделу", в 1883-м, вместе с Плехановым и другими, организовала в Женеве группу „Освобождение труда", а позднее стала меньшевичкой и членом плехановского „Единства", враждебно встретившего Октябрь), она была одной из тех, кто посеял ядовитые семена терроризма, эхо которого миллионнократно отозвалось в Великом терроре.

3

Кони свидетельствует, что „имя Трепова не вызывало в эти последовавшие за покушением дни ничего, кроме жестокого безучастия и совершенно бессердечного любопытства". Что же касается Засулич, то к ней отношение было трояким: в высших сферах, где ее считали „мерзавкой" и любовницей Боголюбова, – скорее с оттенком любопытства; в среднем сословии – с симпатией и даже с восторгом – как к „заступнице за правду и справедливость", лишь считаных, наиболее проницательных и дальновидных людей пугала, по словам Кони, „доктрина кровавого самосуда, просвечивавшая в действиях Засулич", – пугала и отталкивала „как опасный прецедент"[4].

Но характеризовало ли такое умозаключение позицию самого Кони? Вряд ли. Анатолий Федорович делал акцент на другом. Так, на обращенный к нему вопрос славянофила генерала Кареева, что делать, чтобы Засуличи не повторялись, Анатолий Федорович однозначно и лапидарно ответил: „Не сечь!", – чем вызвал негодование генерала. Явно нравились Анатолию Федоровичу и такие ходкие в те дни стишки:

„Грянул выстрел-отомститель,
Опустился Божий бич,
И упал градоправитель,
Как подстреленная дичь!.."

Между тем либеральнейший Анатолий Федорович сам же указывает, что возбуждение общества было вызвано искусственно, так сказать, подогрето, ибо то же самое общество довольно равнодушно отнеслось к се-

чению Боголюбова и вскоре успело о нем позабыть. Теперь же толпа с нетерпением ждала начала процесса, назначенного на 31 марта. Дело Засулич, из коего следствие постаралось вытравить политическую окраску, было передано для слушания суду присяжных как любое обычное дело. (Для проверки „лояльности" нового суда? Кони и сам теряется в догадках о причинах этого.)

На вопрос Палена, не может ли он – как председатель – поручиться за обвинительный приговор, Анатолий Федорович ответил, что за присяжных поручиться не может. Такой ответ взбесил министра, и он пригрозил, что предложит государю передать дело Особому присутствию сената, хотя это была лишь пустая угроза (Особое присутствие гражданскими делами не занималось)... Сейчас о подобных препирательствах просто смешно читать – теперь сделали бы, что надо, и – точка! Но ведь то было столетие назад, во времена пореформенного суда! Тогда судья (должность коего была несменяемой!) мог вполне серьезно заявить министру: „Все, за что я могу ручаться, это – за соблюдение по этому делу полного беспристрастия и всех гарантий правильного правосудия..." Тогда судья мог осмелиться „не понять" более чем прозрачный намек: „...по этому проклятому делу правительство вправе ждать от суда и от вас особых услуг..." Тогда он мог дерзко сослаться на известного французского юриста прошлого, Дагессо, который заявил Людовику XIV: „Сир, суд выносит приговоры, а не оказывает услуги"[5]. Но все это было тогда...

Анатолий Федорович вспоминает, что у него и впрямь были серьезные основания сомневаться в результатах судопроизводства, „ибо вся нетвердость, поспешность и переменчивость общественного настрое-

ния" могли повлиять на присяжных, чьи приговоры, по его словам, всегда отличались искренностью, „но далеко не всегда удовлетворяли чувству строгой правды"[6]. Упомянутое же общественное настроение во многом определялось не совсем удачными итогами русско-турецкой войны „за освобождение славян", шумными политическими процессами и не менее шумной революционной пропагандой, в коей не последнюю скрипку сыграла и недавно вышедшая тургеневская „Новь". Ее героиня Марианна повлияла не только на воображение Засулич („подвиг" которой, по-видимому, вдохновил Тургенева на стихотворение в прозе „Порог"), но и на всех тех, кому „борцы за свободу" представлялись „Светочами Нерона" с картины Семирадского, „просмоленными и подожженными христианами, умирающими за то, во что они верят..."[7].

4

Именно в такой накаленной атмосфере и начался процесс...

Обвинитель, товарищ прокурора К.И. Кессель, сказал:

„Я обвиняю подсудимую Засулич в том, что она имела заранее обдуманное намерение лишить жизни градоначальника Трепова и что 24 января, придя с этой целью к нему на квартиру, выстрелила в него из револьвера. Кроме того, я утверждаю, что Засулич сделала все, что было необходимо для того, чтобы привести свое намерение в исполнение"[8].

Ссылаясь на заявление Засулич о том, что она не нашла другого способа обратить внимание общества на происшедшее с Боголюбовым, Кессель воскликнул:

„...нужно удивляться, что находятся еще люди, которые предполагают, что при помощи безнравственных средств можно достигнуть нравственных целей (...). Нужно удивляться, как не хотят понять, что дурное средство, употребленное для достижения благой будто бы цели, само является фактом, требующим уничтожения"[9] (поразительно современная мысль! – В.Ч.).

Подчеркнув, что Засулич не имела никакого права на самосуд, то есть на то, чтобы соединить в своем лице и прокурора, и защитника, и судью, вынесшего смертный приговор, Кессель заявил:

„Я утверждаю, что, обвиняя Засулич, я защищаю жизнь человека, и заключаю свою речь теми же словами, которыми окончила Засулич: „Страшно поднять руку на жизнь человека"[10].

На бедного Кесселя прогрессисты вешают всех собак, обзывают его ничтожным, серым, посредственным человеком, будто бы и загубившим все „дело". Конечно, Кессель не обладал и сотой долей того красноречия, каким обладал защитник Веры Засулич П.А. Александров, но зададим себе вопрос: мог ли иной, более красноречивый, обвинитель по-другому решить исход суда над первой русской террористкой? Вряд ли, ибо все решило в конечном счете пресловутое общественное мнение, подогретое теми либеральными, прекраснодушными дамами и господами, которые, вкупе с Кони, явно или тайно аплодировали Александрову и поспешили объявить Кесселя посредственностью, дабы свалить на него свой затаенный грех, грех подавленных, „вытесненных" желаний.

А ведь если подойти к делу объективно, то Кессель еще до начала процесса оказался в положении третьего лишнего: два товарища прокурора Петербургского окружного суда – С.А. Андреевский и В.И. Жуковский –

отказались быть обвинителями по делу Засулич. (В скобках добавим, что за такое открытое фрондерство первый был – всего навсего! – причислен к Министерству юстиции, а затем, выйдя в отставку, стал присяжным поверенным, а заодно „поэтом и критиком"; второго же перевели товарищем прокурора в Пензу. Сравните-ка с нынешними временами!..)

Анатолий Федорович саркастически пишет, что, узнав о „вынужденном" согласии Кесселя выступить в роли обвинителя (последнего, мол, „обуял малодушный страх" перед мнением общества в связи с отказом Андреевского и Жуковского), он „живо представил, какую бесцветную, слабосильную и водянистую обвинительную речь услышит Петербург". И тут же добавляет, что сам же ему советовал проводить обвинение „спокойно, без задора и громких фраз", хотя прекрасно понимал, что „воспрещение обсуждать действия Трепова лишь затруднит его *и без того трудную задачу*"[11] (впрочем, Кони не воспрепятствовал *такому обсуждению,* которое было на руку защитнику Александрову).

Вот так и получилось, что Кессель стал своего рода козлом отпущения, хотя он и пытался обороняться, направив 24 апреля того же, 1878, года кассационный протест в Уголовный кассационный департамент Правительствующего сената. В этом протесте Кессель указывал, что решение присяжных и основанный на этом решении приговор следует признать неправильными и подлежащими отмене, ввиду нарушения в ходе рассмотрения дела „существенных форм судопроизводства"[12].

5

Спор о том, „кто виноват" в оправдательном вердикте, не утих по сю пору. Любопытно сравнить некоторые оценки – современников и потомков...

„Причин подобного явления, – писал в гектографической статье, посвященной исходу дела Засулич, известный ученый-правовед, профессор Московского университета Б.Н. Чичерин, – следует искать не в обстоятельствах второстепенного свойства, в слабой речи прокурора, в недостаточной настойчивости председателя, как думают некоторые... Коренная ошибка заключалась в предоставлении чисто политического дела присяжным, которые всегда склонны увлекаться более естественными чувствами, нежели соображениями общественной пользы..."[13].

Автор предисловия к отдельному советскому изданию „Воспоминаний о деле Веры Засулич" Кони, видный старый большевик (вскоре ликвидированный) Ив. Теодорович пишет, что „в настроении присяжных сказалось дыхание еще очень далекой, но уже пророчившей страшный огонь революции, и они, к досаде и растерянности либералов, к бешенству крепостников, сказали: „не виновна", то есть осудили только произвол, только реакцию, не осудив революции"[14]. Более того, по словам Ив. Теодоровича, Кони осуждает присяжных, которым „явно подсказывал... *обвинительный* приговор в таких выражениях: „быть может, ее скорбная молодость объяснит вам накопившуюся в ней горечь... и вы найдете основания для *снисхождения*"[15] (то есть, мол, виновна, но заслуживает снисхождения!).

Однако один из современных исследователей наро-

довольчества, М.Г. Седов (в книге „Героический период революционного народничества"), придерживается на этот счет иной точки зрения. Он считает, что объяснение оправдательному вердикту „надо искать прежде всего в том, что к концу 70-х годов образовалась общая антиправительственная оппозиция, а председатель суда Кони принадлежал к ней" [16].

Итак, три человека – три мнения! Либерал Чичерин, как бы защищая Кони от монаршьего гнева*, подчеркивает его порядочность и „незаинтересованность". Теодорович, видя в „казусе Кони" казус российского либерализма, нападает на Анатолия Федоровича „слева". Седов же делает из него чуть ли не революционера.

Конечно, Анатолий Федорович „красным" не был, но вот „розовым", думается, был. Даже такой умный и тонкий человек, как покойный К.И. Чуковский, в своих воспоминаниях о Кони подтверждает это (о чем косвенно свидетельствует и советский период жизни Анатолия Федоровича).

„Ярче всего, – писал Чуковский, – его боевая натура выразилась в конце семидесятых годов, когда присяжные под его председательством оправдали революционерку Веру Засулич, стрелявшую в градоначальника Трепова. *Этот оправдательный приговор был подсказан им Анатолием Федоровичем* (выделено мною. – В.Ч.). И царь, и министр юстиции требовали, чтобы он в своем напутственном слове непременно внушил присяж-

---

* А.Ф. Кони и в самом деле „пострадал": уйдя со своего поста „по собственному желанию", он в 1881 г. был назначен председателем гражданского департамента Санктпетербургской судебной палаты; в 1885 году – обер-прокурором уголовного кассационного департамента Правительствующего сената. С 1900 г. он почетный академик.

ным, что Вера Засулич должна быть приговорена, если не к смертной казни, то к сибирской каторге. Кони не пожелал подчиниться их требованиям и *повел дело так* (выделено мною. – В.Ч.), что вызвал негодование царя и бешеные нападки реакционной печати"[17].

И в самом деле, если внимательно вчитаться в напутственное слово Кони присяжным, а также всмотреться в самый процесс судоговорения, – так оно и было. Чтобы не утомлять читателя излишними подробностями, приведем лишь несколько выдержек из конивского „напутствия"...

Прежде всего Анатолий Федорович поставил перед присяжными два вопроса, кои они должны были себе уяснить: „*кем* совершено деяние и *что* именно совершено"? И затем: *для чего* и *из каких побуждений* оно совершено. Будучи незаурядным психологом и оратором, он постепенно укрепил присяжных в мысли (высказанной до него защитником Александровым), что „указание Засулич на желание отомстить (за Боголюбова. – В.Ч.) еще не указывает на ее желание непременно убить генерал-адъютанта Трепова"[18]. Он подчеркивал, что присяжным придется ответить на два возникающих из дела вопроса: было ли деяние Засулич предумышленным, заранее обдуманным покушением на убийство или только попыткой нанесения раны? Он предлагал также присяжным подумать о том, стреляла ли Засулич в Трепова „в состоянии вызванного в ней незадолго перед тем раздражения и гнева", и если да, то значит „без обдуманного намерения".

При этом Кони напомнил, „что по общему юридическому и нравственному правилу всякое сомнение толкуется в пользу подсудимого". И в заключение сказал:

„Обсуждая основания для снисхождения, вы припомните раскрытую перед вами жизнь Засулич. Быть может, ее скорбная, скитальческая молодость объяснит вам ту накопившуюся в ней горечь, которая сделала ее менее спокойною, более впечатлительною и более болезненною по отношению к окружающей жизни, и вы найдете основания для снисхождения"[19]...

Из приведенных примеров видно, что (говоря на современном западном жаргоне) Кони был *симпатизирующим*. Это не укрылось от такого наблюдателя, как государственный секретарь Е.А. Перетц. По его словам, „от обстоятельного воспроизведения происходившего (речь идет о расследовании на суде поведения Трепова. – В.Ч.) и сказанного на суде вышло новое усиление обвинения против Трепова и повод к оправданию Засулич"[20].

Немалую роль в последнем сыграл, как это явствует из анонимного письма одного из присяжных в III отделение, страх присяжных за свою жизнь (!) и боязнь публичного скандала (в случае вынесения обвинительного приговора)[21]...

6

То, что произошло 31 марта 1878 года, отрицательно отразилось не только на судьбе судебных учреждений (как полагал Анатолий Федорович), но прежде всего на отношении так называемого общества к государственной власти и к тем, кто эту власть стремился взорвать.

„Покойный император, – записывал в своем „Дневнике" Е.А. Перетц, – понял очень хорошо все промахи судебного ведомства по этому несчастному делу, послужившему сигналом для дальнейшего покушения со стороны социалистов"[22].

В цитированной выше книге „Героический период революционного народничества" М.Г. Седов по сути делает аналогичный вывод, говоря, что „на путь индивидуального террора революционеры становились крайне осторожно. Прежде всего им недоставало данных о том, как эти акты будут восприняты обществом (...) Процесс над Верой Засулич рассеял колебания и укрепил решимость идти путем не только обороны, но и нападения" [23]. Так и случилось: 16 августа того же года, средь бела дня, на Михайловской площади в Петербурге Сергей Кравчинский ударом кинжала убил шефа жандармов Мезенцова и скрылся. А 2-го апреля 1879 года Александр Соловьев неудачно повторил неудачную попытку Каракозова совершить цареубийство (через два года осуществленное народовольцами). „У меня, как и у Веры Засулич, явилось желание чем-нибудь ответить на все зверства", – сказано в его показаниях[24]. Так в России началась – закономерно – эскалация насилия.

В восторженном реве отечественных и зарубежных голосов, ликовавших по поводу оправдания Засулич, почти потонул тихий предостерегающий голос Достоевского. Уже 18 апреля он откликнулся на процесс (на котором, кстати, он присутствовал) в связи с событиями, происшедшими 3 апреля в Москве. В этот день примерно полтораста студентов собралось на Курском вокзале для встречи своих киевских собратьев, высылаемых под надзор полиции. За каретами, перевозившими киевлян в пересыльную тюрьму, и двинулась вся эта толпа, которую в Охотном ряду встретили побоищем, которое „Московские ведомости" назвали ответом „русского народа" на скандал „избранной публики", бывший 31 марта в Петербурге [25] (имеется в ви-

ду демонстрация в честь оправданной Засулич у Окружного суда).

Вслед за этим группа из пяти московских студентов-филологов (в том числе П.Н. Милюков и некоторые другие будущие кадеты) обратилась к Достоевскому с письмом-вопросом, на которое он и ответил 18 апреля. В своем ответе Достоевский сокрушенно пишет, что „после дела Засулич народ у нас опять назвал уличных револьверщиков студентами. Скверно то, что народ их уже отмечает, что начались ненависть и разлад. И вот вы сами, господа, называете московский народ „мясниками" вместе со всей интеллигентской прессой. Что же это такое? Почему мясники не народ? Это народ, настоящий народ, мясник был и Минин". Достоевский видел выход в том, чтобы идти к народу, но не так, как народническая молодежь, которая „ненавидит и презирает его основы и несет ему лекарства, на его взгляд дикие и бессмысленные"[26].

Через два года, продолжая размышлять о „деле Засулич" и последствиях его для России, Федор Михайлович писал К.П. Победоносцеву по поводу своей предстоящей Пушкинской речи, внутренне отмежевываясь от другого докладчика, Тургенева: „...славить Пушкина и проповедовать „Верочку" я не могу"[27]. И в записной тетради 1880-81 гг. вновь возвращался к той же теме: „Засулич – „тяжело поднять руку пролить кровь", – это колебание было нравственней, чем само пролитие крови"[28].

В письме к студентам Достоевский воскликнул: „Мы живем в мучительное время, господа!" И в этом восклицании была не только констатация факта, – в нем слышалось прорицание грядущих бед. Ибо, как никто другой, писатель ощутил „начало болезней", которое обнаружилось, быть может, в тот день, когда

петербургский суд под председательством Кони оправдал Веру Засулич. („Это больше чем преступление, это – ошибка", – сказал Анатолий Федорович о поступке Трепова словами Фуше (приписываемыми также Талейрану). Слова эти можно отнести и к нему самому...)

* * *

В заключение хотелось бы добавить, что „болезни", о которых упоминалось выше, отнюдь не привилегия России. Запад ныне переживает полосу тех же „болезней", подтверждая, увы, старую горькую истину: история учит тому, что она ничему не учит. А может быть, дело не только в этом, а в „природе вещей"?

„Революционеры, – писал В.В. Розанов, – берут тем, что они откровенны. „Хочу стрелять в брюхо", – и стреляет. До этого ни у кого духа не хватает. И они побеждают (...) И победа революционеров (...) основывается на том, что они – бесчеловечны, а „старый строй", которого – „мерзавца" – они истребляют, помнит „крест на себе" и не решается совлечь с себя образ человеческий"[29].

И в этом трагический урок дела Засулич.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. К о н и А.Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич. – Academia, 1933, с. 38.
2. Там же, с. 39.
3. Там же, с. 61.
4. Там же, с. 65.
5. Там же, с. 72.
6. Там же, с. 74.
7. Там же, с. 80.

8. Там же, с. 145.
9. Там же, с. 159.
10. Там же, с. 160.
11. Там же, с. 87-88.
12. Там же, с. 385.
13. Там же, с. 377.
14. Там же, с. XXXV.
15. Там же, с. XXXIV.
16. Седов М.Г. Героический период революционного народничества. – М., 1966, с. 68.
17. Чуковский Корней. Современники. Портреты и этюды. – Серия ЖЗЛ, М., 1963, с. 194.
18. Кони А.Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич, с. 204.
19. Там же, с. 210.
20. Там же, с. 522.
21. Там же, с. 522.
22. Там же, с. 548.
23. Седов М.Г. Героический период революционного народничества, с. 67.
24. „Былое", № 1, январь 1918 г., с. 147.
25. Цит. по изд.: Ф.М. Достоевский. Письма, т. IV. – М., 1959, с. 354.
26. Там же, сс. 18-19.
27. Там же, с. 144.
28. Литературное наследство. Неизданный Достоевский. – М., 1971, с. 676.
29. Розанов В.В. Опавшие листья. Запись от 9 декабря 1912 года. Цит. по изд.: Василий Розанов. Избранное. – А. Нейманис, 1970, с. 411.

Редакция „Граней" с прискорбием сообщает, что автор этой статьи (как и многих других публикаций в нашем журнале), Владимир Чернявский, скоропостижно скончался 2 сентября с.г.

П.А. СТОЛЫПИН

Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности

При ближайшем участии П.А. Столыпина был выработан Высочайший указ 9 ноября 1906 года о порядке закрепления за крестьянами, владеющими надельною землею, принадлежащей им части земли в личную собственность. Новый закон крупного государственного значения, изданный во время междудумья, положил начало раскрепощению крестьян от давления общинных порядков и послужил основанием для работ Государственной Думы третьего созыва по крестьянскому вопросу.

На заседании Государственной Думы второго созыва, 10 мая 1907 г., после заявления председателя о том, что на очереди прения по аграрному вопросу, слово было предоставлено Председателю Совета министров, гофмейстеру П.А. Столыпину, который сказал следующее:

„Господа члены Государственной Думы! Прислушиваясь к прениям по земельному вопросу и знакомясь с ними из стенографических отчетов, я пришел к убеждению, что необходимо ныне же, до окончания прений, сделать заявление как по возбуждавшемуся тут вопросу, так и о предположениях самого правительства. Я, господа, не думаю представлять вам полной аграр-

ной программы правительства. Это предполагалось сделать подлежащим компетентным ведомствам в аграрной комиссии. Сегодня я только узнал, что в аграрной комиссии, в которую не приглашаются члены правительства и не выслушиваются даже те данные и материалы, которыми правительство располагает, принимаются принципиальные решения. Тем более я считаю необходимым высказаться только в пределах тех вопросов, которые тут поднимались и обсуждались. Я исхожу из того положения, что все лица, заинтересованные в этом деле, самым искренним образом желают его разрешения. Я думаю, что крестьяне не могут не желать разрешения того вопроса, который для них является самым близким и самым больным. Я думаю, что и землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных – вместо голодающих и погромщиков. Я думаю, что и все русские люди, жаждущие успокоения своей страны, желают скорейшего разрешения того вопроса, который несомненно, хотя бы отчасти, питает смуту. Я поэтому обойду все те оскорбления и обвинения, которые раздавались здесь против правительства. Я не буду останавливаться и на тех нападках, которые имели характер агитационного напора на власть, я не буду останавливаться и на провозглашавшихся здесь началах классовой мести со стороны бывших крепостных крестьян к дворянам, а постараюсь отнестись совершенно беспристрастно, даже более того – бесстрастно – к данному вопросу. Постараюсь вникнуть в существо высказывавшихся мнений, памятуя, что мнения, несогласные со взглядами правительства, не могут почитаться последним за крамолу. Правительству тем более, мне кажется, подобает высказаться в общих чертах, что из бывших здесь прений, из бывшего предварительного

обсуждения вопроса ясно, как мало шансов сблизить различные точки зрения, как мало шансов дать аграрной комиссии определенные задания, очерченный строгими рамками наказ. Переходя к предложениям разных партий, я прежде всего должен остановиться на предложении партии левых, ораторами которых выступали здесь прежде всего господа: Караваев, Церетели, Волк-Карачевский и др. Я не буду оспаривать тех, весьма спорных, по мне, цифр, которые здесь представлялись ими. Я охотно соглашусь и с нарисованной ими картиной оскудения земледельческой России. Встревоженное этим, правительство уже начало принимать ряд мер для поднятия земледельческого класса. Я должен указать только на то, что тот способ, который здесь предложен, тот путь, который здесь намечен, поведет к полному перевороту во всех существующих гражданских правоотношениях, он ведет к тому, что подчиняет интересам одного, хотя и многочисленного, класса — интересы всех других слоев населения. Он ведет, господа, к социальной революции. Это сознается, мне кажется, и теми ораторами, которые тут говорили. Один из них приглашал государственную власть возвыситься в этом случае над правом и заявлял, что вся задача настоящего момента заключается именно в том, чтобы разрушить государственность с ее помещичьей, бюрократической основой и на развалинах государственности создать государственность современную, на новых культурных началах. Согласно этому учению, государственная необходимость должна возвыситься над правом не для того, чтобы вернуть государственность на путь права, а для того, чтобы уничтожить в самом корне именно существующую государственность, существующий в настоящее время государственный строй. Словом, признание национализации земли при условии

вознаграждения за отчуждаемую землю или без него поведет к такому социальному перевороту, к такому перемещению всех ценностей, к такому изменению всех социальных, правовых и гражданских отношений, какого еще не видела история. Но это, конечно, не довод против предложений левых партий, если это предложение будет признано спасительным. Предположим же на время, что государство признает это за благо, что оно перешагнет через разорение целого, как бы там ни говорили, многочисленного образованного класса землевладельцев, что оно примирится с разрушением редких культурных очагов на местах – что же из этого выйдет? Что, был бы – по крайней мере, этим способом – разрешен, хотя бы с материальной стороны, земельный вопрос? Дал бы или нет возможность устроить крестьян у себя, на местах? На это ответ могут дать цифры, а цифры, господа, таковы: если бы не только частновладельческую, но даже всю землю, без малейшего исключения, даже землю, находящуюся в настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян, владеющих ныне надельною землею, то в то время, как в Вологодской губернии пришлось бы всего, вместе с имеющимися ныне – по 147 десятин на двор, в Олонецкой – по 185, в Архангельской – даже по 1309, в четырнадцати губерниях недостало бы и по 15, а в Полтавской пришлось бы лишь по 9, в Подольской всего по 8 десятин. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям не только казенных и удельных земель, но и частновладельческих. Четвертая часть частновладельческих земель находится в тех двенадцати губерниях, которые имеют надел свыше 15 десятин на двор, и лишь седьмая часть частновладельческих земель расположена в десяти губерниях с наименьшим наделом, то есть по 7 десятин на

один двор. При этом принимается в расчет вся земля всех владельцев, то есть не только 107.000 дворян, но и 490.000 крестьян, купивших себе землю, и 85.000 мещан, а эти два последние разряда владеют до 17.000.000 десятин. Из этого следует, что поголовное разделение всех земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на местах; придется прибегнуть к тому же средству, которое предлагает правительство, то есть к переселению; придется отказаться от мысли наделить землей весь трудовой народ и не выделять из него известной части населения в другие области труда. Это подтверждается и другими цифрами, подтверждается из цифр прироста населения за десятилетний период в пятидесяти губерниях Европейской России. Россия, господа, не вымирает, прирост ее населения превосходит прирост всех остальных государств всего мира, достигая на 1.000 человек 15,1 в год. Таким образом, это даст на одну Европейскую Россию, всего на пятьдесят губерний, 1.625.000 душ естественного прироста в год, или, считая семью в пять человек, 341.000 семей; так что для удовлетворения землей одного только прирастающего населения, считая по 10 десятин на один двор, потребно было бы ежегодно три с половиной миллиона десятин. Из этого ясно, господа, что путем отчуждения, разделения частновладельческих земель, земельный вопрос не разрешается. Это равносильно наложению пластыря на засоренную рану. Но, кроме упомянутых материальных результатов, что́ даст этот способ стране, что́ даст он с нравственной стороны? Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, та необходимость подчиняться всем одному способу ведения хозяйства, необходимость постоянного передела, невозможность для хозяина с инициативой применить к временно находя-

щейся в его пользовании земле свою склонность к определенной отрасли хозяйства, – все это распространится на всю Россию. Всё и все были бы сравнены, земля стала бы общей, как вода и воздух. Но к воде и к воздуху не прикасается рука человеческая, не улучшает их рабочий труд – иначе на улучшенные воздух и воду несомненно была бы наложена плата, на них установлено было бы право собственности. Я полагаю, что земля, которая распределялась бы между гражданами и отчуждалась бы у одних и предоставлялась бы другим местным социал-демократическим присутственным местом, – что эта земля получила бы скоро те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, да, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому лицу, – этого никто не стал бы делать. Вообще, стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена. Каждый гражданин – а между ними всегда были и будут тунеядцы – будет знать, что он имеет право заявить о желании получить землю, приложить свой труд к земле, затем, когда занятие это ему надоест, бросить ее и пойти опять бродить по белу свету. Все будет сравнено – приравнять всех можно только к низшему уровню. Нельзя человека ленивого приравнять к трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин-изобретатель – самою силой вещей будет лишен возможности приложить свои знания к земле. Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот, и человек даровитый, сильный, способный – силою восстановил бы свое право на собственность, на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность имела всегда своим основанием силу, за

которою стояло и нравственное право. Ведь раздача земли при Екатерине Великой оправдывалась необходимостью заселения незаселенных громадных пространств, и тут была государственная мысль. Точно так же право способного, право даровитого создало и право собственности на Западе. Неужели же нам возобновлять этот опыт и переживать новое воссоздание права собственности на уравненных и разоренных полях России? А эта перекроенная и уравненная Россия – что́ – стала бы она и более могущественной и богатой? Ведь богатство народов создает и могущество страны. Путем же переделения всей земли государство, в своем целом, не приобретет ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены, конечно, будут культурные хозяйства. Временно будут увеличены крестьянские наделы, но, при росте населения, они скоро обратятся в пыль, и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата. Но, положим, что эта картина неверна, что краски тут сгущены, – кто же, однако, будет возражать против того, что такое потрясение, такой громадный социальный переворот не отразится, может быть, на самой целости России? Ведь тут, господа, предлагают разрушение существующей государственности, предлагают нам среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины – для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неведомое нам отечество. Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед, но путем разложения не пойдет, потому что где разложение – там смерть.

Теперь обратимся, господа, к другому предложенному нам проекту, проекту партии народной свободы. Проект этот не обнимает задачи в таком большом

объеме, как предыдущий проект, задающийся увеличением пространства крестьянского землевладения. Проект этот даже отрицает, не признает и не создает ни за кем права на землю. Однако я должен сказать, что и в этом проекте для меня не все понятно, что и он представляется мне во многом противоречивым. Докладчик этой партии в своей речи отнесся очень критически к началам национализации земли. Я полагал, что он логически должен, поэтому, прийти к противоположному, к признанию принципа собственности. Отчасти это и было сделано. Он признал за крестьянством право неизменного, постоянного пользования землей, но вместе с тем, для расширения его владений, он признал необходимым нарушить постоянное пользование его соседей-землевладельцев и вместе с тем он гарантирует крестьянам ненарушимость их владений в будущем. Но раз признан принцип отчуждаемости, то кто же поверит тому, что, если понадобится со временем отчуждение земли крестьян, она не будет отчуждена? – и поэтому мне кажется, что в этом отношении проект левых партий гораздо более искренен и правдив, признавая возможность пересмотра трудовых норм, отнятие излишка земли у домохозяев. Вообще, если признавать принцип обязательного количественного отчуждения, то есть принцип возможности отчуждения земли у того, у кого ее много, чтобы дать тому, у кого ее мало, – надо знать, к чему поведет это в конечном выводе, – это приведет к той же национализации земли. Ведь если теперь, в 1907 году, у владельца, скажем, трех тысяч десятин будет отнято две тысячи пятьсот и за ним останется пятьсот десятин культурных, то ведь с изменением понятия о культурности и с ростом населения, он несомненно подвергается риску отнятия остальных пятисот десятин. Мне кажется, что и кре-

стьянин не поймет, почему он должен переселяться куда-то вдаль, ввиду того только, что его сосед не разорен, а имеет, по нашим понятиям, культурное хозяйство. Почему он должен идти в Сибирь и не может быть направлен, по картинному выражению одного из ораторов партии народной свободы, на соседнюю помещичью землю? Мне кажется ясно, что и по этому проекту право собственности на землю отменяется; она изъемлется из области купли и продажи. Никто не будет прилагать свой труд к земле, зная, что плоды его трудов могут быть через несколько лет отчуждены. Докладчик партии прикидывал цену на отчуждаемую землю, в среднем, по 80 рублей на десятину в Европейской России. Ведь это не может поощрить к приложению своего труда к земле, скажем, тех лиц, которые за землю год перед тем платили по 200-300 рублей за десятину и вложили в нее все свое достояние. Но между мыслями, предложенными докладчиком партии народной свободы, есть и мысль, которая должна сосредоточить на себе самое серьезное внимание. Докладчик заявил, что надо предоставить самим крестьянам устраиваться так, как им удобно. Закон не призван учить крестьян и навязывать им какие-либо теории, хотя бы эти теории и признавались законодателями совершенно основательными и правильными. Пусть каждый устраивается по-своему, и только тогда мы действительно поможем населению. Нельзя такого заявления не приветствовать, и само правительство во всех своих стремлениях указывает только на одно: нужно снять те оковы, которые наложены на крестьянство, и дать ему возможность самому избрать тот способ пользования землей, который наиболее его устраивает. Интересно еще в проекте партии народной свободы другое провозглашаемое начало. Это начало государственной помощи.

Предполагается отнести на расходы казны половинную стоимость земли, приобретаемой крестьянами. Я к этому началу еще вернусь, а теперь укажу, что оно мне кажется несколько противоречащим провозглашаемому принципу принудительного отчуждения. Если признать принудительное отчуждение, то как же наряду с этим признать необходимость для всего населения, для всего государства, для всех классов населения прийти на помощь самой нуждающейся части населения? Почему наряду с этим необходимо с этой целью обездолить 130 000 владельцев – и не только обездолить, но и оторвать их от привычного и полезного для государства труда? Но может быть, господа, без этого обойтись нельзя? Прежде чем изложить вам в общих чертах виды правительства, я позволю себе остановиться еще на одном способе разрешения земельного вопроса, который засел во многих головах. Этот способ, этот путь – это путь насилия. Вам всем известно, господа, насколько легко прислушивается наш крестьянин-простолюдин к всевозможным толкам, насколько легко он поддается толчку, особенно в направлении разрешения своих земельных вожделений явочным путем, путем, так сказать, насилия. За это уже платился несколько раз наш серый крестьянин. Я не могу не заявить, что в настоящее время опасность новых насилий, новых бед в деревне возрастает. Правительство должно учитывать два явления: с одной стороны, несомненное желание, потребность, стремление широких кругов общества поставить работу в государстве на правильных, законных началах и приступить к правильному новому законодательству для улучшения жизни страны. Это стремление правительство не может не приветствовать и обязано приложить все силы для того, чтобы помочь ему; но наряду с этим существует и

другое: существует желание усилить брожение в стране, бросать в население семена возбуждения смуты — с целью возбуждения недоверия к правительству, с тем чтобы подорвать его значение, подорвать его авторитет, для того чтобы соединить воедино все враждебные правительству силы. Ведь с этой кафедры, господа, была брошена фраза: „Мы пришли сюда не покупать землю, а ее взять". Отсюда, господа, распространялись и письма в провинцию, в деревни, письма, которые печатались в провинциальных газетах, почему я о них и упоминаю, письма, вызывавшие и смущение, и возмущение на местах. Авторы этих писем привлекались к ответственности, но поймите, господа, что́ делалось в понятиях тех сельских обывателей, которым предлагалось, ввиду якобы насилий, кровожадности и преступлений правительства, обратиться к насилию и взять землю силой. Я не буду утруждать вас, господа, ознакомлением с этими документами, я скажу только, что при наличности их — и я откровенно это заявляю, так как русский министр и не может иначе говорить в русской Государственной Думе, — можно предвидеть и наличность новых попыток приобретения земли силою и насилием. Я должен сказать, что в настоящее время опасность эта еще далека, но необходимо определить ту черту, за которой опасность эта, опасность успешного воздействия на население в смысле открытого выступления, — становится, действительно, тревожной. Государство, конечно, переступить эту черту, этот предел не дозволит, иначе оно перестанет быть государством и станет пособником собственного своего разрушения. Все, что я сказал, господа, является разбором тех стремлений, которые, по мнению правительства, не дают того ответа на запросы, того разрешения дела, которого ожидает Россия. Насилия допущены не

будут. Национализация земли представляется правительству гибельною для страны, а проект партии народной свободы, то есть полуэкспроприация, полунационализация, — в конечном выводе, по нашему мнению, приведет к тем же результатам, как и предложения левых партий. Где же выход? Думает ли правительство ограничиться полумерами и полицейским охранением порядка? Но прежде чем говорить о способах, нужно ясно себе представить цель, а цель у правительства вполне определенна: правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода.

Но для этого необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину правительство обязано помочь советом, помочь кредитом, то есть деньгами. Теперь же надлежит немедленно браться за незаметную черную работу, надлежит сделать учет всем тем малоземельным крестьянам, которые живут земледелием. Придется всем этим малоземельным крестьянам дать возможность воспользоваться из существующего земельного запаса таким количеством земли, которое им необходимо, и на льготных условиях. Мы слышали тут, что для того, чтобы дать достаточное количество

земли всем крестьянам, необходимо иметь запас в 57 миллионов десятин земли. Опять-таки говорю, я цифры не оспариваю. Тут же указывалось на то, что в распоряжении правительства находится только 10 миллионов десятин земли. Но, господа, ведь правительство только недавно начало образовывать земельный фонд, ведь Крестьянский банк перегружен предложениями. Здесь нападали и на Крестьянский банк, и нападки эти были достаточно веские. Была при этом брошена фраза: „Это надо бросить". По мнению правительства, бросать ничего не нужно; начатое дело надо улучшать. При этом должно, быть может, обратиться к той мысли, на которую я указывал раньше, — мысли о государственной помощи. Остановитесь, господа, на том соображении, что государство есть один целый организм и что если между частями организма, частями государства начнется борьба, то государство неминуемо погибнет и превратится в „царство, разделившееся на ся". В настоящее время государство у нас хворает: самой больной, самой слабой частью, которая хиреет, которая завядает, является крестьянство. Ему надо помочь. Предлагается простой, совершенно автоматический, совершенно механический способ: взять и разделить все 130.000 существующих в настоящее время поместий. Государственно ли это? Не напоминает ли это историю Тришкина кафтана — обрезать полы, чтобы сшить из них рукава? Господа, нельзя укреплять больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда организм осилит болезнь; в этом должно, несомненно, участвовать все государство, все части государства должны прийти на помощь той его части, которая в настоящее время является сла-

бейшей. В этом смысл государственности, в этом оправдание государства как одного социального целого. Мысль о том, что все государственные силы должны прийти на помощь слабейшей его части, может напоминать принцип социализма; но если это принцип социализма, то социализма государственного, который применялся не раз в Западной Европе и приносил реальные и существенные результаты. У нас принцип этот мог бы осуществиться в том, что государство брало бы на себя уплату части процентов, которые взыскиваются с крестьян за предоставленную им землю. В общих чертах дело сводилось бы к следующему: государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли, которые вместе с землями удельными и государственными составляли бы государственный земельный фонд; при массе земель, предлагаемых в продажу, цены на них при этом не возросли бы; из этого фонда получили бы землю на льготных условиях те малоземельные крестьяне, которые в ней нуждаются и действительно прилагают теперь свой труд к земле, и затем те крестьяне, которым необходимо улучшить формы теперешнего землепользования; но так как в настоящее время крестьянство оскудело и ему не под силу платить тот сравнительно высокий процент, который взыскивается государством, то последнее и приняло бы на себя разницу в проценте, выплачиваемом по выпускаемым им листам, и тем процентом, который был бы посилен крестьянину, который был бы определяем государственными учреждениями; вот эта разница обременяла бы государственный бюджет; она должна была бы вноситься в ежегодную роспись государственных расходов. Таким образом вышло бы, что все государство, все классы населения помогают крестьянам приобрести ту землю, в которой они нуждают-

ся. В этом участвовали бы все плательщики государственных повинностей, чиновники, купцы, лица свободных профессий, и те же крестьяне, и те же помещики. Но тягость была бы разложена равномерно и не давила бы на плечи одного немногочисленного класса в 130 000 человек, с уничтожением которого уничтожены были бы, что́ бы там ни говорили, и очаги культуры. Этим именно путем правительство начало идти, понизив временно проведенным по 87-й статье законом проценты платежа Крестьянскому банку. Способ этот более гибкий, менее огульный, чем тот способ повсеместного принятия на себя государством платежа половинной стоимости земли, которую предлагает партия народной свободы. Если бы одновременно был установлен выход из общины и создана таким образом крепкая индивидуальная собственность, было бы упорядочено переселение, было бы облегчено получение ссуд под надельные земли, был бы создан широкий мелиоративный землеустроительный кредит, – то, хотя круг предполагаемых правительством земельных реформ и не был бы вполне замкнут, но виден был бы просвет. При рассмотрении вопроса в его полноте, может быть, и в более ясном свете представился бы и пресловутый вопрос об обязательном отчуждении. Пора этот вопрос вдвинуть в его настоящие рамки, пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед; средство это представляется смелым потому только, что в разоренной России оно создает еще класс разоренных вконец землевладельцев. Обязательное отчуждение, действительно, может явиться необходимым, но, господа, в виде исключения, а не общего правила, и обставленным ныне ясными и точными гарантиями закона. Обязательное отчуждение может быть не количественного характера, а

только качественного. Оно должно применяться, главным образом, тогда, когда крестьян можно устроить на местах. Для улучшения способов пользования ими землей – оно представляется возможным тогда, когда необходимо, при переходе к лучшему способу хозяйства, устроить водопой, устроить выгон, устроить дороги, наконец, избавиться от вредной чересполосицы. Но я, господа, не предлагаю вам, как я сказал ранее, полного аграрного проекта. Я предлагаю вашему вниманию только те вехи, которые поставлены правительством. Более полный проект предполагалось внести со стороны компетентного ведомства в соответствующую комиссию, если бы в нее были приглашены представители правительства для того, чтобы быть там выслушанными.

Пробыв около десяти лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этот вопрос нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия".

Эта речь П. А. Столыпина взята из книги: Председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин. Составлено Е.В. по сообщениям прессы за три года (8 июля 1906 – 8 июля 1909 г.). Издание составителя. С-Петербург, 1909.

В 1980 году в издательстве „Посев" выйдет сборник всех думских речей П. А. Столыпина, взятых как из названной книги, так и из Стенографических отчетов Государственной Думы. – Ред.

А. АВТОРХАНОВ

У истоков ленинской деспотии

Ортодоксальный русский марксизм с самого начала своего возникновения объявил борьбу на два фронта: внутри рабочего движения против так называемого „экономизма" и в русском обществе против либерализма. В этом была не только своя глубокая логика, но это явилось как бы предзнаменованием перерождения русского свободолюбивого марксизма* в совершенно новое деспотическое движение – в большевизм. Борьба против экономизма в рабочем классе и против либерализма в русском обществе именно и выросла из общей философии большевизма: „личность – ничто, коллектив – все". Антигуманистический характер этой философии выясняется, как только мы обратимся к предмету спора между экономистами, либералами и марксистами. Сейчас же после разгрома петербургского „Союза борьбы за освобождение рабочего класса" (1895 г.) в Петербурге был создан „Комитет с.-д.". Во главе его стояли люди, которые называли себя социал-демократами „нового направления" (Кричевский и

* Вероятно, автор имеет в виду русский марксизм, начавшийся с Плеханова, Струве, группы „Освобождение труда" и продолженный далее социал-демократией в лице меньшевизма. – Ред.

др.). Вот это новое направление в социал-демократии марксисты-ортодоксы объявили „экономистами". За что же?

За то, что в передовой статье нелегальный орган нового направления – газета „Рабочая мысль" (№ 1, октябрь 1897 г.) – писала:

„Политика всегда послушно следует за экономикой и в общем итоге политические оковы разбиваются попутно. Борьба за экономическое положение, борьба с капиталом на поле ежедневных насущных интересов и стачки, как средство этой борьбы, – вот девиз рабочего движения... Пусть рабочие ведут борьбу, зная, что борются они не для каких-то будущих поколений, а для себя и своих детей, пусть помнят, что каждая победа, каждая пядь, отбитая у врага, есть пройденная ступень лестницы, ведущей к их собственному благополучию".

Вот за это требование, чтобы социал-демократы в первую очередь боролись за улучшение материального положения рабочего класса, организаторы „Рабочей мысли" и плехановцами и ленинцами были объявлены оппортунистами-экономистами, „предателями рабочего класса", так как, мол, они отказываются от политической борьбы. Это было ложное обвинение. В сентябре 1899 г. та же газета „Рабочая мысль" призывала рабочих присоединиться и к участию в общей борьбе против самодержавия. Газета писала:

„Мы призываем всех рабочих к этой борьбе, сознавая, что всякая действительно общественная борьба – каким бы классом она ни велась, всякая действительно общественная самодеятельность, какому бы общественному слою она ни принадлежала – уже по самому заключенному началу общественности (по своему демократизму) – противна самодержавному началу нашего бюрократического правительства" (Приложение к „Рабочей мысли", сентябрь 1899, СПБ).

Но у руководителей „Рабочей мысли" была одна ве-

дущая идея, которую они взяли у основоположников марксизма: дело освобождения рабочего класса есть дело самого рабочего класса. „Рабочая мысль" писала по этому поводу:

„Для того, чтобы такая политическая борьба могла бы вестись рабочими вполне сознательно и самостоятельно, необходимо, чтобы велась она самими рабочими организациями, чтобы эти политические требования рабочих выражали осознанные ими общие политические интересы".

Где же тут „экономизм", „оппортунизм"? В глазах Ленина оппортунизм „экономистов" заключался в том, что они борьбу за свободу рабочих связывали с борьбой за свободу всех классов, а не с борьбой за утопический социализм Ленина. Более того. Они отрицали гегемонию над рабочими кучки интеллигентных фанатиков, которых вовсе не интересовало материальное положение русского пролетариата, но зато весьма интересовал сам пролетариат как инструмент своей стратегии захвата власти. Вот почему Ленин писал:

„Ведь в сущности вся программа „Рабочей мысли" клонится к тому, чтобы оставить русских рабочих в их неразвитости и раздробленности и чтобы сделать их хвостом либералов".

Поэтому Ленин даже стачки рабочих за улучшение своего материального положения считал бесцельными, плодом злокачественного оппортунизма и стихийности, если они не переводились на политические рельсы, то есть не подчинялись революционерам.

Второй фронт марксизма-большевизма был направлен против русского либерально-демократического движения. Либерал и либерализм – самые поруганные термины в публицистике Ленина и ленинцев. Больше того. В эти термины ленинцы вкладывают диаметрально противоположные понятия, расходящиеся как с их

подлинным смыслом, так и с историей либерализма. Ведь в переводе на обыкновенный русский язык „либер" – это значит „свободный", „либерал" – „свободомыслящий", а „либерти" – это значит „свобода". Почему же эти термины, олицетворяющие собою начало великой эпохи эмансипации человека и человеческого духа, гибели деспотий и образования правовых государств, стали ругательными на жаргоне ленинцев? Я думаю, что ответ станет ясным, если мы сначала обратимся к истокам борьбы за свободу и гражданские права в истории.

Здесь важно отметить три великих документа о свободах и правах, которые были порождены тремя великими революциями. Первый документ – результат так называемой „бескровной" английской революции 1689 года – „Английская декларация прав", переработанная потом в знаменитый „Билль о правах". Второй документ – результат американской революции – „Декларация независимости 1776 года", впервые в истории человечества сформулировавшая основные положения о смысле жизни человека и его фундаментальных свободах и правах. В своем обращении к гражданам СССР по поводу двухсотлетия США бывший президент Форд так охарактеризовал эти свободы и права:

„Когда представители тринадцати американских колоний собрались в Филадельфии двести лет тому назад, чтобы провозгласить независимость, они обязались придерживаться принципа, что все люди созданы равными и все имеют право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью. Наша революция была уникальной, потому что борьба в ней велась исключительно за идею – идею свободы. Наша революция была также экспериментом. Понятие о том, что политическая власть исходит от народа и основная задача правительства – защищать права граждан, звучало радикально в 1776 г., оно продолжает оставаться революционным вплоть до наших дней".

Третий документ. Из Великой Французской революции 1789 г. вышла „Декларация прав человека и гражданина", на которой лежит яркий отпечаток влияния не только идей Монтескье и Руссо, но и Американской декларации независимости, принятой за 13 лет до этого. В ней провозглашалось:

„Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах... Цель каждого государственного союза – составляет обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Такова свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению".

Позднейшее либеральное движение как в Европе, так и в России питалось из этих трех источников. Причем в центре всегда стоит свобода личности против любой тирании, в том числе и тирании большинства над меньшинством. Человеческая личность должна быть ограждена против деспотизма. Основоположник европейского либерализма французский юрист и ученый Бенжамен Кондак писал:

„Под свободой я разумею торжество личности как над авторитетом, который вздумал бы управлять с помощью деспотизма, так и над массами, которые присвоили бы себе право подчинять меньшинство большинству".

Вот как раз то, что отвергали либералы, – деспотизм и произвол во имя торжества гражданских прав и духовных свобод – было прямо противопоказано большевизму еще на заре его рождения. Ибо его собственные планы на будущее были планами организации всеобщей социальной деспотии на основе воинствующей *антисвободы.* Между тем у самого русского либерализма до и после возникновения русского марксизма была богатая традиция и богатая литература. Та-

кова родословная русского либерализма – Программа декабриста „Русская правда" Пестеля, „Конституция" Муравьева, произведения западников (Белинского, Грановского, Герцена). Само русское государство, хоть и с опозданием на целое столетие, тоже вступило на путь либерально-демократического развития, основы которому положили „Великие реформы" Александра II и „Манифест 17 октября 1905 г.". Передовая русская общественность принимала самое активное участие в этом великом процессе превращения России абсолютистской в Россию конституционную. Достаточно указать на платформу либерального земского движения, журнал „Освобождение" Струве, программу „Партии народной свободы", произведения плеяды русских философов – Бердяева, Булгакова, Лосского, Франка, Карсавина, Зеньковского, Шестова, Сорокина, программу „Прогрессивного блока" в Четвертой думе, программу Временного правительства, в эру которого, по свидетельству Ленина в его „Апрельских тезисах", Россия была „самой свободной страной в мире". Вот здесь, я думаю, мы и находим ответ на вопрос, почему ленинский второй фронт был направлен против русского либерализма. В логическом конце развития русского либерализма стояла самая свободная страна в мире – февральская Россия, как в логическом конце развития русского экономизма стояли бы самые обеспеченные в мире рабочие – то и другое не устраивало людей, которые под лозунгом „диктатуры пролетариата" собирались установить деспотическую диктатуру партийной олигархии и над страной, и над самим пролетариатом.

О РУССКОМ МАРКСИЗМЕ

(К статье А. Авторханова „У истоков ленинской деспотии")

В помещенной выше небольшой исторической статье, известный историк коммунистической партии и непревзойденный знаток механизма партократии А.А. Авторханов фокусирует внимание на „болевой точке" пересечения трех направлений общественной мысли и политической активности, какими были в России в десятилетие, предшествовавшее событиям 1905 года, экономизм, либерализм и марксизм.

Середина 90-х годов прошлого века – это кульминационный пункт в распространении марксистских идей в России. Еще в начале 90-х годов марксизм не находил себе пристанища в прогрессивных русских журналах, со страниц которых он подвергался нападкам. И только с 1894 года марксизм прорывается в легальную печать почти одновременным выходом в свет двух книг – Н. Бельтова (Г.В. Плеханова) „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю" и П.Б. Струве „Критические заметки". И после этого пошло-покатилось. Почти все до тех пор отличавшиеся своим относительно либерально-демократическим духом издания – „Новое Слово", „Русская Мысль", „Мир Божий", „Жизнь", „Начало" и др. – открывают свои страницы статьям, работам и книгам легальных марксистов. Почти та же тенденция быстрого расползания марксизма проявилась и в нелегальной печати.

Естественно, вставал вопрос: что позволяло демократии – буржуазной и интеллигентской, – ощущавшей в то время контраст между пролетарским движением и собственным бессилием, не видеть, не чувствовать до поры до времени неудобство гегемонии марксизма и не искать самостоятельных путей? Известный русский социал-демократ А. Потресов ответил на этот вопрос через полтора десятка лет так:

„Без всякого сомнения: элементарность легального марксизма (достаточно сравнить уровень хотя бы ленинских статей того периода с трудами руководителей группы „Освобождение труда". – Ек. Б.) ... Пролетариат-освободитель! Но этот в то время признанный тезис еще не получил своей конкретизации и не возбуждал – пока что – дальнейших программных и организационных вопросов; не возбуждал потому, что эта „идеализация" пролетариата, облаченная в марксистскую идеологию, отражала лишь элементарный процесс пробуждения рабочего класса да еще неопределенное брожение в среде демократиче-

ской интеллигенции, для своего выражения еще не нашедшее самостоятельной формы"*.

Необходимо отметить то обстоятельство, что уже в первые три года своего необычайного успеха марксизм показал себя способным к ассимиляции по существу инородных ему элементов демократии, – это то свойство марксизма, которое много позднее польский марксист А. Ставар назовет одной из сильнейших сторон марксизма вообще: способность к интеграции чужих идей. За первый период русский легальный марксизм успел утилизировать и поглотить в себе неортодоксального экономиста М. Туган-Барановского, С. Булгакова с его неокантианством, П. Струве и многих других. Но именно на ассимиляции этих элементов марксизм и споткнулся, то есть и эта его способность оказалась хотя и сильной, но не безграничной. По сути дела, это были самые главные ферменты разложения тогдашнего марксизма. Думается, что если Ленин и всегда до этого относился с подозрением и недоверием к либерализму, то после известного поворота общественно-философской мысли „от марксизма к идеализму", совершенного как раз теми людьми, чье неортодоксальное мышление, казалось, уже было приспособлено марксизмом к своим нуждам, неприязнь Ленина ко всякого рода проявлениям либерализма перерастает у него в до конца дней его сохранившуюся ненависть.

Но марксизм поджидала опасность и из его собственной среды. В той части интеллигенции, которая непосредственно соприкасалась с рабочим движением, начинала слагаться теория, известная под названием „экономизм". Эта часть демократической интеллигенции поняла, что в целях действительно насущных чаяний российского пролетариата необходимо разорвать ту искусственно созданную марксизмом в ее представлении связь, соединявшую пролетариат как „растущую силу современной действительности" с задачей политического освобождения России. К необходимости разрыва этой „связи" они пришли под собственным впечатлением от элементарности, стихийности и малой сознательности первых шагов рабочего движения. Практический же вывод из этого обстоятельства означал отказ от фактического участия в разрешении очередных политических задач России во имя повседневной борьбы рабочего класса за частичные улучшения в его экономическом

---

* „Общественное движение в России в начале XX-го века". Под ред. Л. Мартова, П. Маслова и А. Потресова. Т. 1. – С.-Петербург, 1909, с. 582.

и юридическом быте, на почве существующего политического строя. Этот вывод и сделала в свое время газета „Рабочая мысль".

Либерализм и экономизм по сути дела не противоречили друг другу. С определенными оговорками, экономизм можно было бы считать несколько суженной экономической программой либерализма, в части, касающейся положения рабочего класса. Нельзя отказать Ленину в одном качестве – в остром политическом чутье: для него и либерализм и экономизм были „врагами", так или иначе разлагавшими его „ортодоксальный марксизм".

Ек. Брейтбарт

Библиография

НОВЫЕ ЗАПИСКИ О МОСКОВИИ
(Хедрик Смит. „Русские"*)

„Что делает личину Советского государства намного более обманчивой, чем внешние обличья других стран, это отсутствие открытых дебатов в обществе и источников независимой информации, которые могли бы вносить свои коррективы. Тщетно будет всматриваться зарубежный гость в электростанции, автозаводы или частные автомобили, пытаясь понять Советскую Россию. Она не монолит, но всячески старается сохранять видимость монолитности, так что за внешним фасадом приезжий может вовсе не заметить те невидимые, спрятанные механизмы, которые делают ее народ и ее саму столь отличными от Америки, Запада и даже Восточной Европы" (с. 32).

Хедрик Смит не пытается заверить читателя, будто за три года (1971-74), проведенные им в Москве в качестве корреспондента газеты „Нью-Йорк таймс", ему удалось проникнуть во все тайны современной России и разобраться в скрытых пружинах, ею управляющих. Но книга его, безусловно, выходит за рамки обычной журналистики, ограничивающей себя фактом, сценой, событием, портретом, цифровыми данными. Автор предстает перед нами живым, исполненным сочувственного интереса наблюдателем, постоянно стремящимся заглянуть за поверхность явлений. Причем не ради сенсаций или разоблачений, а ради того, чтобы понять человеческую судьбу, понять, что это такое – жить в Советской России в 70-е годы XX века. Мы становимся невольными соучастниками его драматических поисков правды о стране и народе и поэтому читаем книгу с неослабевающим интересом.

КГБ, „Интурист", специально подобранный обслуживающий персонал делают все возможное, чтобы окружить иностранных журналистов и дипломатов, живущих в СССР, незримой стеной, отделить их от непосредственного общения с советскими гражданами. С неиссякаемым упорством и изобретательностью Смит многократно проникает за эту стену, ищет и находит возможности говорить с людьми. И не только с дис-

* Hedrick Smith. The Russians. – Sphere Books, 1976, 639 p.

сидентами и интеллигенцией, которые уже научились преодолевать свой страх перед „связью с иностранцем".

Он едет к Ржевским баням, чтобы своими глазами увидеть, как продрогшие москвичи часами толкутся на рынке обмена жилой площади.

В день смерти Хрущева он выходит в ночную Москву и спрашивает у прохожих, что они помнят и что они думают о бывшем главе государства.

При поездках в провинцию иностранных гостей спаивают и опекают особенно старательно, но и здесь он ухитряется вырваться хоть на несколько минут, переброситься словом с кем-нибудь из местных.

Видимо, обликом своим он так мало выделяется из толпы, что его иногда принимают за своего. Однажды в Сибири, в аэропорту, какая-то женщина, измученная многодневным ожиданием своего рейса, предложила ему пойти вместе пожаловаться в местный райком. Дети Смитов ходят в обычную московскую школу, и заботливый отец посещает родительские собрания, читает учебники и может благодаря этому оценить масштабы гигантской пропагандистской машины, хватающей человека чуть ли не у колыбели, пытающейся заставить его говорить „Ленин" раньше, чем „мама".

У Хедрика Смита замечательное чутье на ложь.

Он вроде бы и не сердится на потоки вранья, обрушиваемые на иностранных гостей, но просто старается не замечать их, не тратить попусту время. Фанерные декорации Всесоюзной Показухи не могут заслонить от него реальную жизнь. Он знает, что там, где на лицевой стороне сияют улыбками и медалями передовики производства, на оборотной стороне проступают контуры иезуитской системы принуждения к более интенсивному труду, штурмовщина, постоянное увеличение норм, так называемое „подтягивание массы до уровня передовых". Если на поверхности – хвастовство стабильными ценами на транспорт, жилье, хлеб, картофель, мясо, то в глубине – постоянное исчезновение дешевых товаров, замена их дорогими, удвоение цен на „предметы роскоши" – кофе, автомобили, меха, спиртное, полным ходом идущая инфляция. Бесплатное медицинское обслуживание повсеместно прославляется как главное достояние коммунизма; но сами прославители прилагают все силы, чтобы лечиться в спецбольницах, и как огня боятся обычных районных поликлиник с их давкой, многочасовыми очередями, отсутствием элементарных лекарств и оборудования, измотанными, перегруженными врачами.

Трудно писать об экономическом положении государства, не приводя никаких общих цифр. Смит знает, что данными со-

ветской статистики можно пользоваться весьма и весьма осторожно и, как правило, избегает приводить их. Он предпочитает ссылаться на работы американских экономистов и социологов, пишущих об СССР. И тут замечаешь, что профессиональные советологи часто гораздо менее критичны, чем он.

Так, на стр. 269 приведены данные ЦРУ: суммарный национальный продукт в Советском Союзе возрос с 555 биллионов долларов в 1968 году до 722 биллионов в 1974. То есть рос почти вдвое быстрее, чем в США. Но откуда могли взяться исходные данные для определения этих цифр? Из отчетов того учреждения, что находится в Москве, на улице Кирова 39 и именуется Центральным Статистическим Управлением? Но ведь это всегда заведомая ложь. Даже не уточняя методики расчета и корректировок „на пропаганду", вводимых экономистами из ЦРУ, можно сразу сказать, что измерение мощностей нерыночной (советской) экономики в денежных единицах просто лишено всякого основания, ибо она строится на произвольном ценообразовании и ни в рублях, ни в долларах оценена быть не может.

Почти во всех тех случаях, где советская система дезинформации все же ловит Хедрика Смита в свои сети, она делает это с помощью его более доверчивых соотечественников, не сумевших оценить настоящего размаха деятельности „министерства Правды".

Например, число работающих в СССР определено в 122 миллиона человек. Но мы знаем, что у нас не работают только дети до 16 лет и городские пенсионеры. При средней продолжительности жизни в 70 лет это должно составить примерно 30% населения. То есть армия работающих (оставшиеся 70%) должна быть как минимум 170 миллионов – вдвое больше, чем в США.

Или вот еще: новейшее американское исследование приводит рекордные данные о числе врачей и больничных коек в СССР (сс. 96-97). Думается, советские больные, ждущие месяцами и годами места в больнице даже в больших городах, или те, к кому „скорая помощь" приехала через пять-восемь часов после вызова, только горько усмехнулись бы, читая эти цифры. И хотя Смит описывает весьма красочно реальное положение с медицинским обслуживанием, поставить под сомнение цифровые данные все же не решается. Других-то нет.

Будучи хорошим психологом, Смит отдает себе отчет в том, что в тоталитарном государстве лжет не только пропаганда, но часто привирают и рядовые граждане – даже в разговорах с глазу на глаз. Одному хочется покрасоваться перед иностранцем, „утереть нос", другой стесняется „выносить сор из избы", третий побоится, что слова его так или иначе станут из-

вестны начальству. Но врут при этом так наивно, неискушенно, что легко выдают себя и после этого часто срываются на искренние признания. Талант журналиста, может, в том и состоит, чтобы подхватывать и собирать эти человеческие свидетельства с таким вниманием и терпеливой доброжелательностью, как это делает Смит.

За последние десять лет появилось несколько интересных книг, написанных иностранцами о современной России. Давид Бонавиа описал диссидентский мир Москвы начала 70-х. Книга Артура Миллера, снабженная прекрасными фотографиями, сделанными его женой, представляет западному читателю наиболее заметных деятелей литературы и искусства. Райт Миллер в книге „Кто такие русские?" пытается воссоздать быт и нравы. Генри Мортон сосредотачивает свое внимание на жилищных условиях.

Смит идет дальше и не ограничивает себя какой-либо частной проблемой. Он дает разрез общества в целом – от всемогущей партийной элиты до бедного и бесправного крестьянства отдаленных районов. Он описывает промышленность, образование, частную жизнь, торговлю, информацию, левый бизнес, сельское хозяйство, взгляды, идеи, предрассудки, характер. И делает это с такой горячей заинтересованностью, глубиной понимания, в такой живой и увлекательной манере, что книга его заслуженно пользуется все большей популярностью, расходится в сотнях тысяч экземпляров. Она выходит уже и в других странах, а в Америке была удостоена премии Пулитцера.

Да, западному читателю Хедрик Смит открывает много нового – это бесспорно.

Ну, а русскому?

Казалось бы, для нас, во всяком случае для тех, кто регулярно читает Самиздат, все, описанное в его книге, должно было выглядеть повторением уже известного. И тем не менее в России ее тоже читают взахлеб. Привлекает широта картины? Свежий взгляд, непредвзятый подход? Любопытно, как мы выглядим со стороны?

Конечно, со стороны кое-что оказывается виднее. Взять хотя бы жизнь партийной элиты. Партийный функционер, как правило, тщательно таит свой быт, привилегии и благосостояние от собственного народа. Но перед иностранцем он не считает нужным так уж скрываться. Он даже склонен похвалиться: „Вот как у н а с живут!" Иностранному корреспонденту приходится очень много времени проводить в обществе высокопоставленных чиновников, и Смит использовал эту возможность как нельзя лучше.

Загородные дачи и закрытые резиденции, в которых проживают наши правители, заграничное оборудование, которым они

начиняют свои квартиры, „ЗИЛы", „Чайки" и спецпоезда, в которых они разъезжают, спецснабжение и спецобслуживание – обо всем этом мы когда-то слыхали. Но дух, зримая деталь, атмосфера – их может воссоздать только очевидец. Никогда бы рядовому советскому гражданину не удалось подглядеть, как путешествует на теплоходе „Литва" партийная знать, как тратит в портах Средиземного моря неизвестно за что полученную валюту. Или узнать, кому достается не обычная газетная жвачка, а специальный бюллетень для избранных – „Белый ТАСС". Или проследить, как распределяются билеты на премьеры и хоккейные матчи, в каких закрытых залах демонстрируются знаменитые западные фильмы, запрещенные к показу в Союзе, где расположены отделения „кремлевской больницы" и закрытые распределители.

Другая тема книги, привлекающая внимание русского читателя: подробное описание двойственности бытия в Советской России, четкой разграниченности между частной и официальной сторонами жизни. Нам кажется вполне привычным и естественным, что доверять мы можем только узкому кругу друзей, что человек не говорит при посторонних того, что скажет при близких, что на собраниях он может аплодировать тому, что в душе глубоко презирает, что, внешне подчиняясь бесчисленным запретам и ограничениям, он не питает к ним в душе никакого почтения и всеми силами ищет обходных путей и лазеек для обеспечения себе мало-мальски сносного существования. Но когда посторонний наблюдатель многократно возвращается к этому устоявшемуся разделению как к некоему феномену, мы с новой остротой начинаем ощущать его противоестественность.

Надо отдать должное Смиту: он не становится в позу обвинителя, разоблачающего наш конформизм и приниженность в сфере общественного поведения. Основная интонация у него – восхищение человечностью отношений в другой, в личной сфере. Его трогает сердечность и прочность дружеских связей, готовность, с которой люди кидаются помочь, посидеть у постели больного, одолжить деньги, пустить ночевать, достать лекарство, устроить на работу, просто утешить в горе. Хотя он и отдает себе при этом отчет, что дружба в России приобретает особую ценность благодаря доверию, а ценность доверия так велика из-за удушающей атмосферы слежки и доносительства, но при этом тонко ощущает, что здесь речь идет не просто о солидарности соседей по тюремной камере. Ведь сокамерников, в отличие от друзей, не выбирают. „Друзья – это единственное, в выборе чего мы свободны", – говорит один из собеседников Смита.

И это важнее, чем просто характерная черта местных нра-

вов. Это свидетельство того, что честность, сострадательность, искренность, верность, отзывчивость не были убиты в нас шестьюдесятью годами власти бесчеловечного режима. Что они только отступили в последнее прибежище – в глубину человеческой души, в личные отношения с близкими и ждут там своего часа.

Наконец, третье, что делает книгу привлекательной для нас: с Хедриком Смитом интересно говорить и думать об исторической судьбе России, о ее Вчера, Сегодня и Завтра.

Нет, это не значит, что с ним можно во всем соглашаться.

Допустим, он отчасти прав в некоторых частных наблюдениях, например, в том, что большевики строят свои отношения с Западом на тех же принципах, что и цари: „... извлекать из него самую лучшую технологию и отбрасывать критический склад ума и образ жизни, которые только и могли создать эту технологию" (с. 615). Но вообще увлечение параллелями с монархическим прошлым заводит его слишком далеко. Если зверства Ивана Грозного, самовластье Петра, шпицрутены Николая I должны были навеки предопределить политическую судьбу русских, то непонятно, почему это правило теряет силу для других народов, скажем, для французов. Террор и грабежи Филиппа Красивого, жестокость последних Валуа, безжалостность Людовика XIV, самовластье и агрессивность обоих Наполеонов, казалось бы, должны были исключить возможность демократической и республиканской Франции. А между тем она недавно отпраздновала столетие своего существования и не собирается сворачивать с избранного пути.

Психологическое чутье, безусловно, изменяет Смиту, когда он говорит, что в среднем советские люди удовлетворены своим материальным положением, ибо сравнивают его с тем, что было 30-40 лет назад. 40 лет назад люди могли оглядываться на нэп и дореволюционные времена, когда жилось не в пример лучше, но все равно у приезжавших в СССР Фейхтвангера и Бернарда Шоу оставалось впечатление, что все всем довольны. Ибо тогда, как и сейчас, люди не только боялись открыто роптать, но и старались не растравлять себя м е ч т а м и о б е з н а д е ж н о м . Попытка удовлетвориться тем, что есть, – естественная защитная реакция нашей психики, когда нам кажется, что недовольство ничего не даст, кроме бесплодных терзаний.

То же самое относится и к политическому состоянию умов. Главная задача коммунистической власти – создать у подданных впечатление о полной безнадежности любых попыток протеста. Ни в чем это не выражается так наглядно, как в несоразмерной свирепости, с которой преследуются диссиденты. Западные наблюдатели порой склонны к количественному под-

ходу: открыто протестующих – горстка, следовательно, значение их невелико. Партократия знает свой народ лучше и понимает, что каждый диссидент – горящий фитиль к невидимой пороховой бочке народного недовольства. Неважно, что устремления диссидентов могут не найти поддержки в широких массах, что народ не созрел до осознания важности борьбы за права человека. Страшен сам факт открытого противодействия, ибо он размывает плотину безнадежности, окружающую сознание людей.

В главе „Ведущие и ведомые" Хедрик Смит интересно рассказывает о том, как многие его собеседники в Советском Союзе в разговорах об Уотергейте проявляли полное непонимание основ государственного устройства Соединенных Штатов, механизма американской политической машины. Но и он, в свою очередь, часто оказывается слишком в плену демократических традиций, проявляет непонимание природы тоталитаризма. Он не может отказаться от представления о том, что верховная власть и гражданское общество в конечном итоге всегда имеют общие интересы, не признает противопоставленности власти и общества в СССР.

Исходя из такого допущения, можно впасть в опасные ошибки.

Психологи с большим вниманием изучают в последние годы те стремительные переломы психики, которые случались у людей, попадавших в качестве заложников в руки бандитов. Буквально на второй, на третий день плена они начинали проклинать полицейских, пытавшихся спасти их, просили удовлетворить требования террористов, не делать им ничего плохого, даже отпустить их вместе. Желание понравиться тому, кто держит в своих руках нашу жизнь и смерть, отождествить его интересы со своими, даже полюбить его бывает так же неодолимо, как желание найти форму примирения с неизбежным, сказать искреннее „да" тому, что стало твоим уделом, твоей судьбой. В этом психологическом феномене и надо искать объяснения подавляющего большинства тех одобрительных высказываний в адрес тоталитарной власти, которые доводится слышать иностранцам в разговорах с советскими гражданами.

Иначе, действительно, придется объяснять советский милитаризм и гонку вооружений, как это делает Смит, свойствами национального характера русских, стремящихся якобы компенсировать свой традиционный комплекс неполноценности перед Западом (с. 288). Если б такой комплекс и был (нас еще принято обвинять в излишней самоуверенности, в „шапками закидаем", в преувеличении собственной роли, в „русоцентризме"), то и тогда вряд ли бы народ согласился ради него погружаться в нищету и тратить 40-60% своих усилий на ар-

мию. Это может делать только всесильная партократия, вопреки самым насущным интересам управляемого ею общества, ради единственной цели: укрепления и распространения своей власти.

Хедрик Смит умеет видеть любой предмет с разных сторон. Поэтому ему возражаешь, как возражают интересному и умному собеседнику, то есть в полной уверенности, что твоя точка зрения и твои аргументы могут быть услышаны и приняты к сведению. Некоторые особо сложные моменты социальной и культурной жизни в России он так и описывает: не от своего лица, а в перекрестном свете высказываний разных людей, с которыми ему доводилось общаться.

Сейчас уже ясно, что советской пропаганде не удалось, несмотря на все старания, упрятать русскую историю последних шестидесяти лет за колючую проволоку официальной версии.

Нашлись свидетели, нашлись исследователи, нашлись летописцы.

Вся машина партийной власти и тотального подавления граждан детально разобрана в трудах А. Авторханова и Р. Редлиха. Мир подконвойный увековечен пером Солженицына. Надежда Мандельштам, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Юрий Мальцев описали жизнь творческой интеллигенции. Судьба науки представлена в книгах Л. Владимирова и М. Поповского, экономика – у А. Федосеева и И. Земцова, трагедия православной Церкви – А. Красновым-Левитиным и Л. Регельсоном. Самиздатский альманах „Память" и Всероссийская мемуарная библиотека, основанная недавно Солженицыным, открывают двери для всенародного участия в великом деле возрождения национального самосознания.

Но в жизни любого народа есть черты и особенности, ускользающие от внимания его собственных историков и летописцев, хотя бы из-за своей привычности. Чтобы подметить и запечатлеть их, нужен обязательно человек со свежим взглядом, пришелец со стороны. Много книг было написано о России иностранцами, посетившими ее за последние пять веков, и некоторые из них стали классикой русской историографии. Невозможно сейчас представить себе историка, который смог бы изучать эпоху Василия III без книги Герберштейна, правление Федора Иоановича и Бориса Годунова – без Джиля Флетчера, царствование Михаила Романова – без Адама Олеария...

У „Русских" Хедрика Смита есть все основания занять место в этом ряду.

Полнота охвата, обилие фактического материала и, одновременно, – искусство отбора наиболее ярких и характерных деталей, живая наблюдательность, ясность суждений, строгое стремление к достоверности приводимых сведений, объектив-

ность, психологическая убедительность и, наконец, человечность и неравнодушие к судьбам описываемых людей – все эти достоинства не только делают книгу интересной для современного читателя, но и превращают ее в весомое свидетельство о нашей эпохе. Свидетельство, мимо которого не сможет пройти ни один будущий исследователь, решивший заняться 1970-ми годами истории Государства Российского.

И. Ефимов-Московит

ИСПОВЕДЬ СОУЧАСТНИКА

„Перед вами красный флаг,
Он на палке белой,
Понесет его в руках
Тот, кто самый смелый!" (с. 119)

Да, помню, как мы, октябрята, внучата доброго дедушки Ленина, распевали эту славную песенку...

Владимир Николаевич Гусаров – сын крупного партаппаратчика. Правда, не правительственного масштаба: „Хотя мой отец и является кавалером трех или четырех орденов Ленина (и обладателем других подобных сувениров), известен он лишь в правящих кругах: широкая публика больше знакома с Геннадием Гусаровым, футболистом из „Динамо" (с. 8). А. Авторханов, живописуя поножовщину между двумя тогдашними временщиками – Ждановым и Маленковым, сообщает: „Заодно первый секретарь ЦК Белоруссии, член Московского ЦК маленковец Пономаренко был заменен *никому не известным* (курсив мой. – Ю.И.) инструктором аппарата ЦК Гусаровым, учеником Жданова". (А. Авторханов. Загадка смерти Сталина. Франкфурт-на-Майне: „Посев", 1976). Тем не менее, „никому не известный" дружески якшался с самыми высшими представителями партэлиты, ну хотя бы с и-примкнувшим-к-ним-Шепиловым и „донецким слесарем" Ворошиловым. Вот в этой среде, с детства вкушая блага закрытых распределителей, правительственных дач и персональных машин, и вырос замечательный писатель, талантливый актер, серьезный шахматист, а нынче – пожилой грузчик овощной базы Владимир Николаевич Гусаров.

Владимир Гусаров. Мой папа убил Михоэлса. – Франкфурт-на-Майне: „Посев", 1978.

Необычная книга А. Гусарова столь же ярка и разнообразна, как и сам автор. Ее трудно (да и не нужно это!) подогнать под какой-нибудь литжанр: это и автобиография, и бытопись, и лирика не без эротики, и философия, и политический памфлет. Пропитанная иронией и юмором, пересыпанная анекдотами и частушками, – она читается легко, несмотря на свое в сущности трагическое содержание.

Необычно уже само название: „Мой папа убил Михоэлса". Впрочем, автор поясняет: „Именно в годы правления моего отца в Минске был убит Михоэлс. Подробности этого убийства мне неизвестны. Вполне возможно, что его убил не папа, а министр МГБ Цанава, племянник Берия, а может, и еще кто, но дело не меняется от этого. Сам я в Белоруссии никогда не бывал, мы уже не жили с отцом, но и я причастен" (с. 8). Вот это ощущение причастности к общей вине (как и в „Искуплении" Юлия Даниэля) чувствуется на протяжении всех 435-ти страниц – сквозь некоторую игривость повествования, подчас нарочитую.

Володя, как уже говорилось, был сыном сановника: „...я был единственным сыном наместника и так привык ко всякого рода подобострастию, что не видел в этом ничего странного" (с. 80). „Мне все было дозволено: я ругался с высшими чинами милиции, обзывал их сыщиками, и всегда безнаказанно" (с. 86). Тем не менее, толковый и любознательный мальчик начал пристально присматриваться к отцу. „В Перми я получил возможность чаще видеть своего могущественного папу, и медленно-медленно в душу мою стало закрадываться сомнение – чем же он так замечателен, отчего подчиненные так восторгаются им? Дома восторгаться было вроде нечем: отец часто пил, в нетрезвом виде подолгу гонялся за кошкой, требуя, чтобы ее положили ему в постель, что бесило маму, и издавал непристойные звуки" (сс. 39-40); „...отец любил петь, особенно частушки. Вот его любимая:

С неба звездочка упала
Прямо на нос петушку –
Петушку неловко стало,
Он вскричал ку-ка-реку!" (с. 43).

(Я знаю эту частушку с армейских лет: „на нос" – явный эвфемизм, там не „на нос"...)

„Теперь отец частенько, увлекшись, начинает называть меня на „вы" – будто на партийной конференции выступает..." (с. 27).

И, действительно: за что чтить такого отца?

А вот о матери: „Моя мама в детстве усердно молилась и

постилась до обмороков. После революции перестроилась... В дальнейшем кончила три института и раз десять законспектировала „Краткий курс"..." (сс. 11-12); „За свою жизнь мама успела переписать всех марксов и энгельсов, набралась гора толстых тетрадей. Я собрал их и вместе с источниками отнес в приемный пункт макулатуры. На что убита жизнь!.." (с. 316). Воистину марксобесие!

И все же: „Мама, белая голубушка, поживи, родная!.." (с. 314).

Еще для характеристики родителей писателя: „Родители хотели дать мне имя Будимир, еще Спартак, помирились на вожде мирового пролетариата" (с. 13).

Заодно процитирую: „...у начфина обкома Поспелова рос довольно шкодливый и трусливый отпрыск по имени Интернационал (сокращенно Интер, во дворе его звали Пойнтер)" (с. 17).

Школа... „...школу до сих пор не могу вспомнить без отвращения..." (с. 43). Чему удивляться: „Многовековая мировая история замечательно пригодилась для иллюстрации классовой борьбы. Соответственно заучивались стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова и внушалось, что Пушкин называл Пугачева разбойником по цензурным соображениям" (с. 16).

„В третьем классе я неожиданно включился в активную антисоветскую деятельность" (с. 17) – это по поводу дразнилки:

Ленин, Троцкий и Чапай
Ехали на лодке,
Ленин, Троцкий утонул,
Кто остался в лодке?

А вокруг был советский быт. И „сын наместника" отлично знал, что „...те, кому хватало на молоко и масло для детей, считались сверхобеспеченными..." (с. 27). „И совсем не задумываться об этом как-то не получалось" (с. 28).

И совсем естественно, что – уже не мальчик Володя, в Владимир Николаевич – схлестнулся с советской властью. Это пришло не сразу. Сперва было так: „Нет, я не мог согласиться. Капитализм обречен. Союзники нашей кровью победили Гитлера. Сталин не вечен, а дело Ленина бессмертно. – Вы меня не поколеблете! – кричал я. – По своим убеждениям я коммунист!" (с. 181). А потом так (это – поэту-песеннику М. Вершинину): „Замолчи, лакей! Тебя посадили, а ты все восторгаешься! ...Коммунизмом он восторгается! Трусливая кодла!.." (с. 274).

Жизнь Владимира Гусарова сложилась сложно. Кем он толь-

ко не был: актером, натурщиком, грузчиком. Где только не побывал: на телевидении и в киносъемочной группе, в столице и в захолустье, в армии и в тюрьме, в кремлевской больнице и в психушках. И все это – в книге. Анекдоты из веселой (ох, какой невеселой!) актерской жизни перемежаются жуткими свидетельствами о тюрьмах и психбольницах. И мне обо всем хочется упомянуть, одних цитат я подобрал 128 штук! Но для этого нужна не рецензия, а обширная статья, а то и монография. А впрочем, нужна ли? Ведь он сам обо всем прекрасно написал! И в частности: „И вот наконец я работал, окунулся в трудовые будни, но до чего же несчастные, бесправные и запуганные люди окружали меня" (с. 132). И еще – о себе: „Я тоже вскормлен от этого корыта... Что я делал? – Ленина играл? Водку жрал? Паясничал..." (с. 167).

Так что я ограничусь лишь некоторыми аспектами книги. Многое, притом существенное, – опущу. В том числе и тему сталинского и послесталинского юдофобства – к этой теме Владимир Гусаров часто возвращается – с отвращением.

Автор раскусил не только своих железобетонных родителей, но и их партдрузей, всех этих „патриотов красной и черной икры" (с. 413), – со всей их фальшью, ложью, убожеством. Вот, например, „друг боевой – Ворошилов!" поучает сына своего подопечного (когда тот попросился на фронт): „ – Я вот Тимура Фрунзе отпустил, знал, что больше недели он не провоюет, так и вышло – на пятый день погиб. Теперь поставят ему памятник, а памятник по сравнению с жизнью – тьфу! Ерунда это по сравнению с жизнью... – и все отправились на дачу, где стали играть в биллиард" (с. 67-68). И в полном соответствии с этим наркомовским кредо: „Где-то на оккупированных немцами территориях находился партизанский край, но его командующий, полковник Тужиков пребывал по эту сторону линии фронта – дабы не рисковать чрезмерно своей персоной" (с. 78).

А вот культурные запросы ответственных товарищей: „В конце войны в доме появилось „трофейное" пианино, но играл на нем лишь однажды и то задом (перепив) заведующий отделом искусств С.И. Гительман, ныне директор Пермской драмы, да еще кошка ходила иногда по клавишам, и я одним пальцем пытался подобрать песенку герцога „Сердце красавицы" (с. 49); „...гости и хозяева предпочитали слушать похабные частушки в исполнении министра здравоохранения Белецкого..." (с. 51).

Ну, а каковы же деятели искусства и литературы, кому культура, так сказать, положена по штату? „...Кочетов и Шевцов и теперь стращают нас, что вот вернутся купцы и промыш-

ленники и заберут под банк и ресторан резиденцию нашей родной Лубянки..." (с. 68). „Мы все давно отвыкли от моральных критериев, никто не откажется от роли по моральным соображениям..." (с. 331). „Потому-то в провинции выживали только самые всеядные и настырные актеры и самые бессовестные и конъюнктурные режиссеры" (с. 128). „Если бы он чокнулся в духе генеральной линии партии, из него получился бы замечательный современный редактор или цензор, никакой подтекст не остался бы невыявленным" (с. 207, об одном сумасшедшем). „Редакторы, как правило, люди безграмотные, о режиссерах уже не говорю, хотя, возможно, кто поумней, тот помалкивает. Редактор Марголин, человек как будто прямой и не глупый, говорил, что „Пережитое" Дьякова выше, чем „Иван Денисович" (с. 361, речь идет о телевидении). „Заведующий учебной частью сказал мне (по поводу открытия литературного факультета при Заочном народном университете искусств. – Ю.И.): – Бросьте эту идею: вас графоманы завалят такой антисоветчиной – рады не будете. Мы знаем, что собой представляет вольное творчество – или бред, или антисоветчина..." (с. 366).

Не потому ли московские остряки окрестили „Советскую культуру" „Советской халтурой", а „Советское искусство" – „Советским паскудством"?

Одна из центральных тем рецензируемого сочинения – женщина или, скажем, секс. (Замечание в скобках: тема эта в ханженском „нашем обществе" запретная; вероятно, дети рождаются по постановлению партии и правительства, в идеале деторождение нужно бы планировать, как и прочую продукцию – и с тем же успехом: валенки – в Ялту, купальники – в Мурманск. Прямо по Евг. Замятину: разовые „розовые талоны" на любовные объятия. И по Дж. Орвеллу: строго регламентированный половой акт – „долг перед партией". Но пока что процветает неорганизованная проституция, правда, московских проституток называют „марксистками", поскольку их биржа – у подножия Основоположника.)

Владимир Гусаров пишет о любви – о физической любви – предельно откровенно, пожалуй, лучше сказать – обнаженно, еще почище Г. д'Аннунцио (имею в виду его роман „Огонь"). Автор сам признается: „...меня упрекают некоторые читатели в смаковании секса и прочих грехах" (с. 287). Понятно, сначала, в мальчишестве, было так: „ – Господи! Если Ты есть, сделай так, чтобы Нина Анисимова стала моей женой!.. Детей, конечно, у нас не будет, лучше будет много игрушек и одинаковые велосипеды. Всякие гадости, как делают взрослые, мы делать не будем – мало ли что это считается необходимым

и даже приятным, но как же я смогу после этого любить ее?" (с. 30), хотя наряду с этой идиллией: „Влияние кузена сказалось в том, что он научил меня шахматным ходам и мальчишескому греху, с которым он познакомил меня с большим рвением" (сс. 14-15). А дальше... „...я не стану рассказывать о первой женщине, но там было все нормально: мне было шестнадцать, ей двадцать восемь" (сс. 104-105). „В праздники моя мать всегда с раннего утра и до позднего вечера на демонстрации... А мы, пользуясь ее отсутствием, целый день барахтаемся на полу, застеленном одеялом, под жизнеутверждающую музыку сводных духовых оркестров" (с. 107).

И я скажу: все нормально.

Последняя цитата относится к будущей жене Владимира Гусарова (первой; их было три), Эде. И еще о ней же: „18 ноября для меня повеяло весною – я повел Эду в загс (прямо из чужой постели)" (с. 109).

А вот о другой жене (второй или третьей): „У Гали, кроме интересной внешности, светлых волос и неописуемого словами зада, была еще раскладушка и чемодан" (с. 392).

Впрочем, автор не то просто устанавливая факт, не то с горечью – записывает в дневнике: У нас нет традиций платонической любви, они остались другим классам и другим эпохам" (с. 341). Действительно, какие уж там традиции: „В августе шестьдесят седьмого я так „раздышался", что поехал в Химки купаться и присмотрел себе на пляже жену – очень красивую женщину, киевлянку" (с. 391). Как говорили в двадцатые годы: без черемухи (вроде и роман под таким названием был тогда выпущен).

Сам бы я так о женщинах писать не стал, но тем не менее меня ото всего этого не коробит (коробит меня от другого – от советской власти!), но, возможно, подобный „душевный стриптиз" (с. 392) не всякому по вкусу.

По отношению к себе самому автор беспощаден, я скажу – даже жесток. Как к своей общественной, так и к личной жизни он относится чаще всего отрицательно – в частности, к своему пьянству, не прячась за печальный факт, что „...это, так сказать, патология всеобщая" (с. 349). „День ото дня мне все меньше хотелось торопиться после занятий домой, а попадавшиеся по пути забегаловки манили все сильней. Когда я, наконец, переступал порог квартиры, перед глазами у меня плавал туман, и выяснялось, что что-то потеряно – то шарф, то шапка..." (с. 125). „Я слушал песню и рыдал – не знаю, была ли это пьяная истерика или очищение искусством..." (с. 312). И вот полное отчаяния резюме: „Мои слезы, мои клятвы – два восемьдесят им цена..." (с. 314).

Говоря упрощенно, Владимир Гусаров – атеист. Нет, не воинствующий безбожник, а скорей просто человек, равнодушный к Божественной сущности, „наплевист", что ли. „...лампадки (его бабушки. – Ю.И.) горят днем и ночью... Правда, должен признаться, я от них же, от этих лампадок, прикуриваю – но только когда она не видит" (с. 26). Кощунство? Конечно же!

Если автор и попадает в церковь, то спьяну. „Однажды, набравшись как следует, мы (с Сергеем Штейном. – Ю.И.) забрели в церковь, не сговариваясь, бухнулись на колени, принялись подпевать хору и класть земные поклоны – крестясь и целуя пол (с. 121). Спьяну-то спьяну, но... И вот еще: „...когда просыпаюсь, смотрю на стены, тоскую, молюсь неведомому Богу..." (с. 314). Что же, и этому – цена два восемьдесят?

Любопытна и такая запись: „Странно было прогуливаться по маленькому городку со священником, но я дорожил этими встречами, в его обществе я чувствовал себя гораздо приятнее и легче, чем с нашими преферансистами, поддерживающими „честь советского коллектива" (личной чести давно не осталось...)" (с. 295).

Я думаю, что атеизм Гусарова – не его вина, а его беда. И, думаю, что это не его личная беда, а беда всего нашего поколения, – рожденного в мутных 20-х годах и взошедшего под солнцем сталинской конституции. Не забудем, что антихристов выродок Ленин начал разрушение России с уничтожения храмов и „упразднения" священства и монашества!

Что касается атеизма государственного (госатеизма!), то „атеист" Гусаров пишет с бесстрашной насмешкой: „Нужно, чтобы люди ни под каким видом не верили в Бога – содержится крупный штат, который монотонно доказывает, что Бога нет, поскольку вода кипит при 100° Цельсия, а прямой угол содержит 90°, и партия неустанно учит нас..." (с. 395).

Я не подсчитал, сколько сотен имен – и звонких, всемирно известных, как, например, Александр Солженицын и Петр Григоренко, или Вольф Мессинг, и никому не известных (актеров, стихотворцев, администраторов, партийных и беспартийных уголовников и психопатов) – содержится в книге Владимира Гусарова. Упомянуть их все в рецензии – невозможно. Но на одном задержусь – на бабушке Фене, „которая тоже народ" (с. 20) и которая „кончила три класса приходской школы. В этой же школе она работала уборщицей, а когда брат-учитель запивал, то и учительницей. Свекру она красила гробы, снимала мерку с покойников, даже в рифму эпитафии писала, но, главное, шила" (с. 10). „Пока родители где-то вдалеке поднимали сельское хозяйство на новой осно-

ве, бабушка как могла подымала внука...” (с. 26). Язык „бабы Фени” чист и образен – недаром им восхищается придирчивый Солженицын: „...какая музыкальная речь! Мы же не говорим, а каркаем...” (с. 351). Эта речь по-народному мудра и иронична: „А потом и церковь сломали, и кладбище срыли для культуры и отдыха” (с. 359). Автор ни о ком не пишет – на протяжении всех 435-ти страниц – с такой любовью и теплотой, с таким почтением, как о „бабе Фене”. (Я помню: в наших нескончаемых застольях чаще всего всплывала бабушка; меньше же всего сообщал мне Володя о своих любовницах.)

И сколь замечательна (и знаменательна) такая сцена: „...открылась дверь – и вошла бабушка Федосья Петровна, я уже не чаял видеть ее в живых, ей было за восемьдесят (сейчас ей девяносто четыре). Она медленно подошла к моей кровати, увидела рядом со мной девицу (студентку циркового училища) и спросила: – А это кто? – Девочка... – ответил я смущенно. Баба Феня помолчала, словно в раздумье... и громко плюнула: – Тьфу!” (с. 322).

Я познакомился с Владимиром Гусаровым где-то в дебрях 50-х годов, на Арбате 44, в квартире 22, у поэта Николая Глазкова. („Арбат 44, квартира 22, живу в своей квартире тем, что пилю дрова”. Н. Глазков.) Квартира была полукоммунальной: каждая семья имела свой индивидуальный отсек – в соседнем жил неоднократно упоминаемый в книге актер Сергей Штейн – даже с отдельной кухонькой, но нужник был общий, а входная дверь – вся в звонковых кнопках, как в бородавках.

Через – прикидочно – полтора десятилетия я неожиданно встретил Владимира Гусарова в совсем другой ипостаси: у Петра Якира. Мы сдружились. Вот сейчас прочел его книгу – и явно услышал обаятельный голос Володи, словно мы вновь за столом, за бутылкой прозрачной „Московской” и бидоном мутного „Жигулевского”.

Может быть, некий литературовед, разделенный с автором материками и десятилетиями, напишет о нем беспристрастнее меня. Мне же это трудно: мы современники и собутыльники.

И – мы еще чокнемся, Володя! В Москве. В свободной Москве. А не придется... Что ж, чокнутся наши внуки.

А от красного флага останется одна белая палка.

Без этой надежды не стоит жить.

Юрий Иофе

ДУХ, ДУША, ТЕЛО

Так называется книга архиепископа Луки, где он изложил свои религиозно-философские взгляды. Книга эта (собственно магистерская диссертация) до сих пор нигде не публиковалась, но пользовалась широкой известностью в религиозных и вообще мыслящих кругах России, давно циркулируя в Самиздате. С другой стороны, многие антирелигиозники, в том числе М. Шахнович, в своей книге „Современная мистика в свете науки" (1965 г.), упорно полемизировали с архиепископом Лукой, ссылаясь на экземпляр, находящийся в рукописном отделе Музея истории, религии и атеизма в Ленинграде. И вот теперь рукопись, наконец, попала на Запад и вышла в виде книги в издательстве „Жизнь с Богом" в Брюсселе.

Профессор Войно-Ясенецкий (в монашестве Лука, под конец жизни архиепископ Крымский и Симферопольский) – автор многочисленных медицинских трудов и публицистических статей. „Дух, Душа, Тело" – своего рода кредо автора, где он синтезирует свои теологические и медицинские познания. Появление книги на Западе совпало с определенным расцветом парапсихологии во всем мире и потому было встречено с большим интересом, хотя некоторые взгляды автора не вполне отвечают данным современной науки.

В коротком предисловии М. Поповский приводит биографию архиепископа и историю возникновения его книги. В частности, мы узнаем, что автор работал над этим произведением длительное время и в военные годы, а завершил его в 1945-47 гг.

В этой книге архиепископ Лука утверждает, что человек состоит из трех элементов: духа, души и тела.

Дух, по мнению автора, есть внематериальная сущность человека, главные функции которой – вера в Бога, любовь, совесть, чувства и эмоции. Разум – это только проявление Духа. Дух же бессмертен.

Душа есть „совокупность органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но без обязательного участия в этом комплексе высших проявлений духа, несвойственных животным и некоторым людям". Душа связана с телом, в первую очередь с мозгом, и

Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Дух, душа, тело. – Брюсель: „Жизнь с Богом", 1978.

разрушается после смерти. И, наконец, тело – это чисто материальный элемент, оживляемый душой.

В первой главе архиепископ Лука обсуждает характерные черты материалистического мировоззрения с точки зрения современной науки. Он говорит о революции в физике после открытия составных частей атома и других элементарных частиц. „Протоны могут переходить в нейтроны и обратно; электроны, соединяясь с позитронами, могут прекращать свое существование в виде частиц, превращаясь в электромагнитное излучение". Возможны и обратные процессы. В конечном счете элементарные частицы оказываются сгустками энергии. Таким образом, старинный спор: что первично, материя или энергия? – разрешается в пользу энергии. С этим не спорят даже современные материалисты, говоря, что электромагнитное поле с его квантами тоже материально. Указывая на различные, ранее не известные и теперь еще мало изученные виды энергии, автор утверждает, что материалисты не вправе отрицать чисто духовную энергию, которая, по его мнению, является основой мироздания. Эти положения, блестяще изложенные архиепископом Лукой, получили за последнее десятилетие новые подтверждения..

Во второй главе архиепископ противопоставляет сердце, как орган духовных процессов, мозгу, являющемуся вместилищем различных физических центров. „Мышление не ограничивается деятельностью мозговой коры и в ней не заканчивается", – пишет он. Эти положения близки к философии А. Бергсона (1859-1941), который часто цитируется в книге. Такие мысли встречаются не только в Библии и Писаниях святых отцов – они занимали умы теологов всех времен.

Автор приводит два случая из своей медицинской практики, при которых разрушение большей части мозговой ткани не привело к сколько-нибудь заметным изменениям психики и мыслительных функций.

Однако новейшие исследования в области физиологии и патологии сердца, включая и опыт пересадки сердца, скорее опровергают утверждение автора о роли сердца как духовного органа.

С другой стороны, психоневрологи отошли от топографической модели мозга, согласно которой каждой группе нервных клеток присуща определенная функция. Установлена широкая заменяемость одних групп нервных клеток другими, одних участков мозга другими, что как раз и подтверждают приведенные архиепископом Лукой случаи из медицинской практики (кстати, люди, читавшие рукопись диссертации еще в Москве, говорят, что в ней описывалось больше подобных случаев, чем в рецензируемой нами книге).

„Никому не известны центры радости и печали, гнева и страха...” – пишет архиепископ. Между тем, ныне эти центры обнаружены. Таким образом, если мозг и не служит единственным вместилищем духовной энергии, то нет веских оснований приписывать ее какому-либо другому отдельному органу.

В последующих главах архиепископ Лука говорит главным образом о Духе во всех его проявлениях во Вселенной, в человеческом, животном и растительном организме и, наконец, вне человека – после его смерти. Большое значение придает он так называемым трансцендентальным духовным способностям, таким, как телепатия, ясновидение, телекинез, предсмертное состояние с необъяснимой ясностью и быстротой мысли и т.д.

Сначала даются выдержки из Священного Писания, затем архиепископ приводит данные из книг Рише, Крукса и других ученых. Как известно, Шарль Рише (1850-1935), французский физиолог, лауреат Нобелевской премии, и Вильям Крукс (1832-1919), физико-химик, изучали также спиритические и оккультные явления. Послевоенная разруха и оторванность от заграницы привели к тому, что автор не упомянул таких серьезных исследователей в области мистики и оккультизма, как К. Фламмарион, В. Биттнер, С. Франк и Т. де Шарден.

Тем не менее, мировоззрение архиепископа Луки имеет целостный и ясный характер. Дух, или духовная энергия, пронизывает Вселенную, творит материальные формы, творит жизнь и, наконец, превращает человека в духовное существо. Тело не только не первопричина Духа, но и в некотором смысле препятствует проявлению высших духовных способностей. „Когда... угасает нормальная деятельность мозга и свет феноменального сознания, тогда вспыхивает свет сознания трансцендентального”, – пишет архиепископ.

В преодолении тела и телесных страстей происходит развитие „внутреннего человека’ – человека-ангела, каковыми были святые, столпники, постники. Еще выше стоят бестелесные ангелы и, наконец, Господь, или Дух Божий, господствующий над всей Вселенной. Автор не отрицает и существования Сатаны. „Дух Сатаны родился из потери любви к Богу... Если допустить, – пишет он, – что во вселенной, во времени и пространстве, которым подчинена наша рудиментарная психология, существуют одаренные разумом силы, вмешивающиеся в нашу жизнь, то мы получим гипотезу для полного объяснения фактов, изложенных в этой книге”.

Наука и религия, возникшие в глубокой древности как одно целое, неоднократно расходились в разные стороны, а

потом снова сходились, дополняя одна другую. Недаром Б. Паскаль сказал: „Малые знания отводят от Бога, большие приводят к Нему". В книге архиепископа Луки глубокая вера и большие знания слились в гармоническое произведение, которое вносит значительный вклад в христианскую мистику и парапсихологию. Кроме того, оно показывает, что богословская мысль в России не переставала жить и развиваться даже в самые мрачные перииоды сталинизма.

В.Флеров

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор **Н. Б. Тарасова**

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt/M., 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

— *передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*

— *просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*

— *просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

— *используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

A. Kandaurow c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»

☐ Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
☐ Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
☐ Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
☐ Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70

Редакция

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 48 н. м.
через магазины — 60 н. м.

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

и

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ

В издательстве: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 75 н. м.
«Посев» (12) — 60 н.м.

Через магазины: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 90 н. м.
«Посев» (12) — 72 н. м.

Доплата за воздушную доставку:

«Посев» и «Вольное слово» зона I — 24 н. м.
зона II — 36 н. м.
«Посев» зона I — 20 н. м.;
зона II — 30 н. м.
I зона — Северная Америка и Ближний Восток
II зона — Южная Америка и Дальний Восток

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

«ГРАНИ» — 15 н. м. «ПОСЕВ» — 6 н. м.
«Вольное слово» — 6 н. м.

В США и КАНАДЕ, при теперешнем курсе доллара около двух марок, следует цены, для определения их в местной валюте, делить на два

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.